

Н. М. КАРАМЗИН

Советский
писатель



БИБЛИОТЕКА ПОЭТА

ОСНОВАНА М. ГОРЬКИМ

Большая серия

Второе издание

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

Н. М. КАРАМЗИН

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СТИХОТВОРЕНИЙ

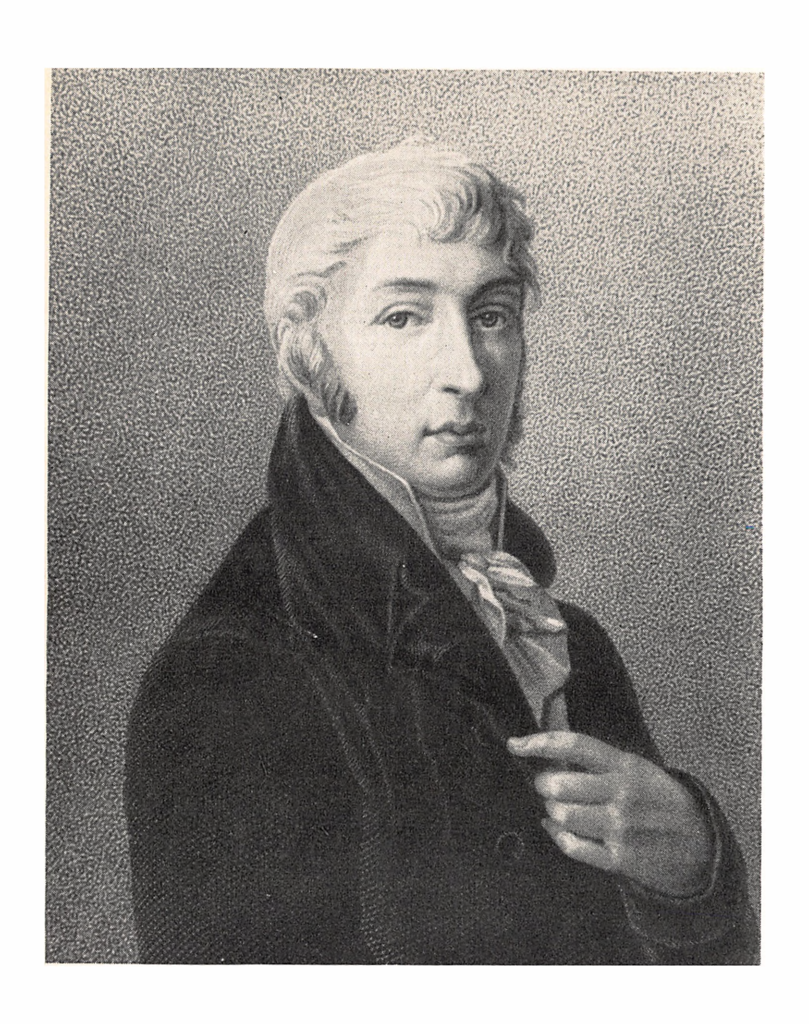
Вступительная статья,
подготовка текста и примечания
Ю. М. Лотмана

МОСКВА — ЛЕНИНГРАД · 1966

Р 1
К 21

Настоящее издание является полным собранием стихотворных произведений Н. М. Карамзина. Карамзин — не только замечательный прозаик, но и крупный поэт; он внес в стихи новые темы, реформировал литературный язык. Именно в его творчестве были намечены те принципы лиризма, которые разрабатывались в дальнейшем Жуковским, Батюшковым и другими поэтами начала XIX века. Творчество Карамзина, высоко оцененное Пушкиным, представляет интерес как значительное явление русской культуры конца XVIII — начала XIX века. Настоящее издание приурочено к 200-летию со дня рождения Н. М. Карамзина.

7—4—1
411—66



ПОЭЗИЯ КАРАМЗИНА

Есть писатели, чьи художественные создания для многих поколений остаются живыми, полными современности и обаяния. Имена этих писателей известны всем, а книги их многие века привлекают читателей. Однако культура — это не только определенное количество результатов, достижений, которыми пользуются все, а литература — не просто сумма гениальных произведений, выдержавших испытание временем. Живая культура — это движение, связывающее прошедшее с будущим, это, по выражению одного из поэтов XVIII века, радуга, которая

Половиной в древность наклонилась,
А другой в потомстве оперлась.

Великие произведения искусства — предмет наслаждения для читателей разных поколений — не появляются неожиданно. Они органически вырастают в потоке движения, в котором главную массу составляют писатели и книги, быстро забываемые потомками. Но без понимания роли и значения этих не гениальных, забытых писателей теряется живое восприятие искусства. Оно превращается в собрание шедевров, гениальных в отдельности, но не связанных между собой логикой культурного движения.

К числу литераторов, направлявших в свое время развитие культуры, но далеких от эстетических представлений современного читателя, принадлежит и Карамзин. Даже образованный человек наших дней знает Карамзина только как автора чувствительной и архаичной «Бедной Лизы», а его «Историю» помнит по нескольким пушкинским эпиграммам. Канонизированный гимназическими и школьными учебниками «мирный» образ Карамзина противоречит тому, что мы знаем об исторической судьбе его наследия. Он не объяснит нам, почему

на протяжении многих лет, перейдя за грани жизни писателя, творчество его вызывало страстное поклонение и пылкое осуждение, любовь и ненависть.

Молодой Пушкин осыпает Карамзина эпиграммами, а в 1836 году пишет: «Чистая, высокая слава Карамзина принадлежит России, и ни один писатель с истинным талантом, ни один истинно ученый человек, даже из бывших ему противниками, не отказал ему дани уважения глубокого и благодарности». [1]

Современники, боровшиеся за окончание «карамзинского периода», отчетливо видели его недостатки, так же как они видели недостатки дворянского периода литературы в целом. Но не следует забывать ни того, что дворянский период русской литературы дал ей Пушкина, Грибоедова и декабристов, ни того, что у истоков этого периода стоял Карамзин.

Но значение Карамзина шире и сравнительно узких рамок «карамзинского периода», и дворянской эпохи в литературе. Карамзину по праву принадлежит место в ряду лучших представителей русской интеллигенции XIX века. Историк европейской цивилизации не колеблясь поставит ее в ряд с такими вершинными общественными явлениями, как кружки философов XVIII века во Франции и великих гуманистов эпохи Возрождения. Писатель-профессионал, один из первых в России имевший смелость сделать литературный труд источником существования, выше всего ставивший независимость собственного мнения, видевший в этой независимости гражданское служение, Карамзин заставил окружающих, вплоть до Александра I, уважать в себе не придворного историографа и действительного статского советника, а человека пера и мысли, чье мнение и слово не покупаются ни за какую цену. Именно поэтому Пушкин называл Карамзина одним «из великих наших сограждан», [2] а его политические оппоненты из числа декабристов — Н. Тургенев, М. Орлов и другие — питали к нему глубокое уважение.

Жизнь Николая Михайловича Карамзина (1766—1826) была небогата внешними событиями. Он родился в семье симбирского дворянина, учился грамоте у сельского дьячка, а потом был отдан в московский пансион Шадена. Затем наступила служба в гвардии. Здесь

---

[1] Пушкин, Полн. собр. соч., т. 12, Изд. АН СССР, 1949, с. 72.

[2] Пушкин, Полн. собр. соч., т. 11, Изд. АН СССР, 1949, с. 167.

он познакомился с уже писавшим стихи И. И. Дмитриевым. В 1784 году Карамзин вышел в отставку с незначительным чином поручика и уехал на родину. Встреча со старым знакомым их дома масоном И. П. Тургеневым резко переменила ход его жизни: Карамзин переселился в Москву, вошел в круг сотрудников Н. И. Новикова, занялся литературной деятельностью. Четыре года, проведенных им в обществе московских масонов (1785—1789), оказались важнейшим периодом его творческого развития. Влияние нравственных идей и общественных убеждений Н. И. Новикова, философии А. М. Кутузова дополнялось широким знакомством с литературой европейского предромантизма. К этому же времени относятся первые выступления Карамзина в печати, среди которых следует отметить его сотрудничество (совместно с А. Петровым) в журнале «Детское чтение».

Разрыв с масонами и отъезд в 1789 году за границу положил начало новому периоду жизни Карамзина. Путешествие молодого писателя по Германии, Швейцарии, Франции и Англии стало наиболее выдающимся событием в его жизни. Потратив год с небольшим на путешествие (в Петербург он вернулся осенью 1790 года), Карамзин снова поселился в Москве и предался чисто литературной деятельности. В 1791—1792 годах он издавал «Московский журнал», в котором печатались «Письма русского путешественника», «Бедная Лиза» и другие повести, принесшие ему литературную славу. Находясь с 1792 года на положении опального литератора, он издал, однако, в 1795 году альманах «Аглая» (кн. 1—2), а с 1796 по 1799 годы три поэтических сборника «Аониды». Стремление Карамзина к журнальной деятельности смогло реализоваться только после изменения цензурного режима, последовавшего за гибелью Павла и воцарением Александра I. В 1802—1803 годах Карамзин издавал журнал «Вестник Европы». С 1803 года до самой смерти он работал над «Историей Государства Российского».

Если «внешняя» биография Карамзина небогата событиями и отличается спокойной размеренностью, столь часто вводившей в заблуждение как современников, так и исследователей, то его внутренняя жизнь как мыслителя и творца была исполнена напряжения и драматизма.

* * *

Мировоззрение Карамзина, переживавшее на протяжении его жизни существенную эволюцию, развивалось в сложном притяжении к двум идейно-теоретическим полюсам — утопизму и скептицизму — и отталкивании от них.

Утопические учения мало привлекали внимание русских просветителей XVIII века. Это явление легко объяснимо. Русская просветительская мысль XVIII века усматривала основное общественное зло в феодальном насилии над человеком. Возвращение человеческому индивиду всей полноты его естественной свободы должно, по мнению Радищева, привести к созданию общества, гармонически сочетающего личные и общие интересы. Законы будущего общества возникнут сами из доброй природы человека. Радищев считал трудовую частную собственность незыблемой основой прав человека. Этике его был чужд аскетизм — она подразумевала гармонию полноправной личной и общественной жизни. Такое умонастроение могло питать интерес к жизни «естественных» племен, к борьбе за свободу личности и народа. Стать основой интереса к утопическим учениям оно не могло.

Русский утопизм XVIII века возникал в той среде, которая, отрицая окружающие общественные отношения и боясь революции, жаждала мирного решения социальных конфликтов и вместе с тем искала средств от зла, порождаемого частной собственностью. Эта двойственная позиция была слабой и сильной одновременно. Она была лишена и боевого демократизма просветителей, и их оптимистических иллюзий. Это была позиция, характеризовавшая то направление в русском дворянском либерализме XVIII века, к которому принадлежали Н. И. Новиков и А. М. Кутузов.

Первые шаги Карамзина как мыслителя были связаны именно с этими общественными кругами. Нравственное воздействие Новикова и Кутузова на молодого Карамзина, видимо, было очень глубоким.

Устойчивый интерес к утопическим учениям Карамзин сохранил и после разрыва с масонами. Борьбу между влечением к утопическим проектам и скептическими сомнениями можно проследить во взглядах Карамзина на протяжении многих лет. Так, в мартовской книжке «Московского журнала» за 1791 год он поместил обширную и весьма интересную рецензию на русский перевод «Утопии» Томаса Мора. Карамзин считал, что «сия книга содержит описание идеальной... республики, подобной республике Платоновой», и тут же высказывал убеждение, что принципы ее «никогда не могут быть произведены в действо». [1]

Рецензия эта представляет для нас большой интерес. Во-первых, она свидетельствует, что для Карамзина мысль об идеальном обществе переплеталась с представлениями о республике Платона. Это

[1] «Московский журнал», 1791, ч. 1, с. 359.

было очень устойчивое представление. Позже, в 1794 году, характеризуя свое разочарование во французской революции, Карамзин писал:

Но время, опыт разрушают
Воздушный замок юных лет...
...И вижу ясно, что с Платоном
Республик нам не учредить...

(«Послание к Дмитриеву»)

В рецензии на «Путешествие младого Анахарсиса по Греции» он писал о «Платоновой республике мудрецов»: «Сия прекрасная мечта представлена в живой картине, и при конце ясно показано, что Платон сам чувствовал невозможность ее».[1] А когда в 1796 — начале 1797 года восшествие на престол Павла I вызвало временное возрождение карамзинского оптимизма, он писал А. И. Вяземскому: «Вы заблаговременно жалуете мне патент на право гражданства в будущей *Утопии.* Я без шутки занимаюсь иногда такими планами и, разгорячив свое воображение, заранее наслаждаюсь совершенством человеческого блаженства».[2] Сообщая в этом письме о своих творческих планах, он писал, что «будет перекладывать в стихи Кантову Метафизику с Платоновою республикою».[3]

Установление того, что республика для Карамзина — это «Платонова республика мудрецов», весьма существенно. В понятие идеальной республики Карамзин вкладывает платоновское понятие общественного порядка, дарующего всем блаженство ценой отказа от личной свободы. Это строй, основанный на государственной добродетели и диктаторской дисциплине. Управляющие республикой мудрецы строго регламентируют и личную жизнь граждан, и развитие искусств, самовластно отсекая все вредное государству. Такой идеал имел определенные черты общности с тем, что Карамзин мог услышать из уст масонских наставников своей молодости. Все это необходимо учитывать при осмыслении известных утверждений Карамзина, что он «республиканец в душе», или высказываний вроде: «Без высокой добродетели Республика стоять не может. Вот почему монархическое правление гораздо счастливее и надежнее: оно не требует от граждан чрезвычайностей и может возвышаться на той степени нравственности, на которой республики падают».[4] Республика оставалась для Карамзина на протяжении всей его жизни идеа-

---

[1] «Московский журнал», 1791, ч. 3, с. 211.
[2] «Русский архив», 1872, № 7-8, с. 1324.
[3] Там же, с. 1325.
[4] «Вестник Европы», 1803, № 20, с. 319—320.

лом, недосягаемой, но пленительной мечтой. Но это не была ни вечевая республика — идеал Радищева, ни республика народного суверенитета французских демократов XVIII века, ни буржуазная парламентская республика «либералистов» начала XIX столетия. Это была республика-утопия платоновского типа, управляемая мудрецами и гарантированная от эксцессов личного бунтарства.

Вторая важная сторона социально-политических воззрений Карамзина состояла именно в *соединении* идей республики и утопии. Вопрос республиканского управления был для Карамзина не только политическим, но и социальным. Его идеал подразумевал устранение социальной основы для конфликтов. При этом и в данном случае отсутствие регламентации ему представлялось бо́льшим злом, чем излишняя регламентация, и крепостное право страшило его меньше, чем свобода частной собственности. Не случайно в том самом письме, в котором он обещал А. И. Вяземскому воспеть «*Кантову* Метафизику с Платоновою республикою», он призывал «читать Мабли». Интересно, что, как это следует из «Писем русского путешественника», Карамзин перечитывал Мабли в революционном Париже. Волновавший всю Европу в годы французской революции вопрос равенства не мог не привлечь внимание Карамзина, размышлявшего о республиканской утопии. Если до поездки за границу Карамзин склонен был оправдывать неравенство в духе экономического либерализма физиократов и Монтескье, видеть в имущественном неравенстве проявление естественной свободы человека, неравномерности его способностей, то в годы революции его все чаще начинают привлекать эгалитаристские идеалы. Однако интересна сама природа этого эгалитаризма: равенство мыслится Карамзиным как насильственное ограничение, налагаемое суровыми законами на эгоистическую экономику. В духе «платоновского» республиканизма он понимает равенство не как особый экономический порядок, а как подавление экономики нравственностью. Показательно в этом отношении описание Цюриха в «Письмах русского путешественника»: «Театр, балы, маскарады, клубы, великолепные обеды и ужины! Вы здесь неизвестны... Мудрые цирихские законодатели знали, что роскошь бывает гробом вольности и добрых нравов, и постарались заградить ей вход в свою республику. Мужчины не могут здесь носить ни шелкового, ни бархатного платья, а женщины — ни бриллиантов, ни кружев; и даже в самую холодную зиму никто не смеет надеть шубы, для того что меха здесь очень дороги».[1] Равенство для Карамзина —

---

[1] Н. М. Карамзин, Избр. соч. в двух томах, т. 1, М.—Л., 1964, с. 238—239.

законодательное запрещение пользоваться благами богатства: в Берне «домы почти все одинакие... в три этажа, и представляют глазам образ равенства в состоянии жителей, не так, как в иных больших городах Европы, где часто низкая хижина преклоняется к земле под тенью колоссальных палат».[1] Влияние эгалитаризма Руссо чувствуется в песне, которую Карамзин влагает в уста цюрихского юноши. В ней роскошь и искусство осуждаются как источники неравенства: «Мы все живем в союзе братском... Не знаем роскоши, которая свободных в рабов, в тиранов превращает. Начто нам блеск искусств, когда природа здесь сияет во всей своей красе — когда мы из грудей ее пием блаженство и восторг?»[2] В этом свете понятно, почему утопические попытки правительства Робеспьера обуздать эгоизм буржуазной экономики вызвали у Карамзина, как мы увидим в дальнейшем, сочувствие, а не осуждение.

Уяснение того, что республика для Карамзина была не только понятием политическим, но и социально-утопическим, а реальное наполнение этого утопизма было навеяно идеями Платона, многое раскрывает в позиции Карамзина. Оно объясняет отрицательное отношение писателя и к идее народоправства, и к деспотическому управлению. Напомним, что демократия и тирания, по Платону, — наиболее одиозные формы государственного управления. Идеи, близкие к этим, Карамзин мог найти и у Монтескье, и у русских дворянских либералов типа Н. И. Панина или Д. И. Фонвизина. С этой точки зрения делается понятным устойчивое отрицание Карамзиным в 1780—1790-х годах идеи деспотического управления. В 1787 году Карамзин опубликовал перевод «Юлия Цезаря» Шекспира, содержащий резкие тираноборческие тирады. Так, в одном из монологов Брут упоминает «глубокое чувство издыхающей вольности и пагубное положение времян наших» — результат «тиранства».[3] А в 1797 году, в разгар павловского террора, он написал стихотворение «Тацит», в котором осуждал народ, разделенный на «убийц и жертв», но не имеющий героев. Не случайно П. А. Вяземский в дни суда над декабристами вспомнил это стихотворение Карамзина и увидал в нем оправдание «бедственной необходимости цареубийства»: «Какой смысл этого стиха? На нем основываясь, заключаешь, что есть же мера долготерпению *народному*».[4]

---

[1] Н. М. Карамзин, Избр. соч. в двух томах, т. 1, с. 249—250.
[2] См. наст. изд., с. 90.
[3] Юлий Цезарь, трагедия Виллиама Шекспира, М., 1787, с. 40.
[4] Ю. М. Лотман, П. А. Вяземский и движение декабристов. — «Ученые записки Тартуского гос. университета», вып. 98, Труды по русской и славянской филологии, т. 3, Тарту, 1960, с. 133.

Для правильного понимания общественно-политической позиции Карамзина нужно учитывать еще одну сторону вопроса. Мировоззрение Карамзина никогда, а в первый период в особенности, не было построено на какой-либо жестко-последовательной доктрине. В 1803 году он писал, что в политике добродетельные люди «составляют то же, что эклектики в философии».[1] Широко начитанный Карамзин, еще в самом начале своей литературной деятельности, соединял весьма противоречивые вкусы: он зачитывался Лессингом и Лафатером, Клопштоком и Виландом, Кантом и Руссо, Вольтером и Бонне, Стерном и Дидро, Гердером и Кондильяком, Даламбером и Геллертом. Привязанность к широким знаниям, стремление понять все точки зрения оборачивались не только терпимостью, но и эклектизмом. В частности, наряду с охарактеризованными выше взглядами, Карамзину в начальный период его литературной деятельности был свойствен широкий и политически довольно неопределенный «культурный оптимизм», вера в спасительное влияние успехов культуры на человека и общество. Карамзин уповал на прогресс наук, мирное улучшение нравов. Он верил в безболезненное осуществление идеалов братства и гуманности, пронизывавших литературу XVIII века в целом. Вступая в противоречие с привлекавшим его симпатии идеалом суровой «республики добродетелей», Карамзин готов был славить XVIII век за освобождение личности, успехи цивилизации, торговли, культуры. В письме «Меладор к Филалету» Карамзин писал: «Кто более нашего славил преимущества осьмагонадесять века: свет Философии, смягчение нравов, тонкость разума и чувства, размножение жизненных удовольствий, всеместное распространение духа общественности, теснейшую и дружелюбнейшую связь народов, кротость Правлений, и пр., и пр.?.. Конец нашего века почитали мы концом главнейших бедствий человечества и думали, что в нем последует важное, общее соединение теории с практикою, умозрения с деятельностию, что люди, уверясь нравственным образом в изящности законов чистого разума, начнут исполнять их во всей точности, и под сению мира, в крове тишины и спокойствия, насладятся истинными благами жизни».[2]

Таковы были взгляды Карамзина, определившие его отношение к основным событиям 1790-х годов. К числу центральных среди них, бесспорно, принадлежала французская революция XVIII века. Отношение к ней Карамзина было значительно более сложным, чем это обычно представляется. Решение этой проблемы невозможно в пре-

---

[1] «Вестник Европы», 1803, № 9, с. 56.

[2] Н. М. Карамзин, Сочинения, т. 3, СПб., 1848, с. 437—438.

делах отвлеченных формулировок, хотя бы потому, что осведомленность Карамзина в парижских событиях была основательной. Следует подчеркнуть, что политическая жизнь Франции революционных лет отнюдь не представала перед Карамзиным как нерасчленимое целое. Следует напомнить, что наше определение слова «революция» очень далеко от того, которое употреблялось в XVIII веке. В XVIII веке слово «революция» могло восприниматься как антитеза состоянию устойчивости, консерватизма (сохранения) или реакции (попятного движения). Именно потому, что со словом «революция» еще не связывалось понятие о революционной тактике, его можно было использовать как синоним понятия «резкая перемена». Именно такое понимание термина позволило Карамзину отделить в революции идею общественных перемен от тех реальных политических сил, которые ее осуществляли. Отношение Карамзина к этой идее было устойчиво положительным.

Прежде всего необходимо отметить, что такой существенный компонент революционных идеалов, как борьба с властью церкви и фанатического духовенства, встречал со стороны Карамзина полную поддержку. Конечно, не случайно Карамзин прореферировал в «Московском журнале» такие постановки революционного парижского театра, как «Монастырские жертвы» («Les victimes cloitress») и «Монастырская жестокость» («Le rigueur du cloître») Бретонна. С особенной остротой эта сторона воззрений Карамзина проявилась в рецензии на один из наиболее ярких спектаклей этого театра — пьесу Шенье «Карл IX».

Карамзин воспринимал революцию как «соединение теории с практикою, умозрения с деятельностью», то есть как реализацию тех принципов равенства, братства и гуманности, которые провозгласили просветители XVIII века. Именно поэтому он счел возможным в январском номере «Московского журнала» за 1792 год рекомендовать русскому читателю как «важнейшие произведения французской литературы в прошедшем году» [1] такие яркие произведения революционной публицистики, как «Руины, или Размышления о революциях империй» Вольнея и «О Руссо как одном из первых писателей революции» С. Мерсье. Сочувствие к новому, возникающему во Франции обществу сквозило и в рецензии на антиаристократическую комедию Фабра д'Еглантина «Выздоравливающий от дворянства».

Однако революция не была простой инсценировкой идей просветителей XVIII века. Она с самого начала — и чем дальше, тем больше — раскрывалась перед современниками как историческая проверка

---

[1] «Московский журнал», 1792, ч. 8, с. 150—151.

и опровержение идей «философского века». Вера в господство разума, совершенствование человека и человечества, самое представление просветителей о народе подверглись испытаниям. Та окраска революции, которую придавали ей санкюлоты, городской плебс Парижа, бурность, стихийность и размах народных выступлений были для Карамзина решительно неприемлемы. Они не связывались в его сознании с идеями XVIII века. Мысль о связи идей просветителей и революционной практики масс не укладывалась в сознании Карамзина. Но внимательный наблюдатель современности, Карамзин различал во французских событиях не только тенденцию, восходящую к идеям XVIII века, и стихийную практическую деятельность масс. Он видел еще один существенный компонент событий: борьбу политических партий и группировок, деятельность революционных клубов, столкновение вождей. Отношение Карамзина к этой стороне революции также было далеко от того благонамеренного ужаса, который, уже с 1790 года, официально считался в России единственно дозволенной реакцией.

Историк, который попытался бы реконструировать отношение Карамзина к этому вопросу, исходя из распространенного взгляда на писателя как на умеренного либерала с консервативной окраской, мог бы оказаться в затруднительном положении. Он должен был бы предположить сочувствие Карамзина революционным вождям первого периода и, естественно, умозаключить об отрицательном отношении его к вождям якобинского этапа. Это тем более было бы неудивительным, что даже Радищев относился к якобинскому периоду революции отнюдь не прямолинейно. Пушкин имел веские причины сказать о Радищеве: «Увлеченный однажды львиным ревом колоссального Мирабо, он уже не хотел сделаться поклонником Робеспьера, этого сентиментального тигра».[1] Между тем реальный исторический материал дает иную и совершенно неожиданную картину. Явно сочувствуя революции, в такой мере, в какой ее можно было воспринять как реализацию гуманных идей литературы XVIII века, Карамзин нигде не высказал никаких симпатий каким-либо политическим деятелям той эпохи. Более того, он отказывался вообще определять отношение к тому или иному современнику, исходя из его политических воззрений. В статье, опубликованной в 1797 году на французском языке и предназначавшейся для европейского читателя, он писал: «Наш путешественник присутствовал в Национальной ассамблее во время пламенных споров, восхищался талантом Ми-

---

[1] Пушкин, Полн. собр. соч., т. 12, Изд. АН СССР, 1949, с. 34.

рабо, отдавал должное красноречию его противника аббата Мори и смотрел на них, как на Ахилла и Гектора».[1] В соответствующем тексте «Писем русского путешественника», предназначенном для русского читателя (он смог появиться только в 1801 году), Карамзин замаскировал явно звучащую во французской статье бо́льшую симпатию Мирабо, чем его реакционному противнику (русский текст гласит: «Мирабо и Мори вечно единоборствуют, как Ахиллес и Гектор»), но сохранил подчеркнутое равнодушие к политической сущности споров («Ни якобинцы, ни аристократы ... не сделали мне никакого зла; я слышал споры, и не спорил»). Это не случайно. Карамзин никогда не считал политическую борьбу выражением основных общественных споров, а политические взгляды — существенной стороной характеристики человека.

Вместе с тем совершенно неожиданным может показаться положительное отношение Карамзина к Робеспьеру. Можно было бы даже сомневаться в этом, если бы мы не располагали точными сведениями и от столь осведомленного современника, каким был многолетний собеседник Карамзина Н. И. Тургенев: «Робеспьер внушал ему благоговение. Друзья Карамзина рассказывали, что, получив известие о смерти грозного трибуна, он пролил слезы; под старость он продолжал говорить о нем с почтением, удивляясь его бескорыстию, серьезности и твердости его характера...»[2]

Для того чтобы понять отношение Карамзина к Робеспьеру, нужно иметь в виду, что отрицательное отношение писателя к насилию, исходящему от толпы, улицы, шире — народа, не распространялось на насилие вообще. В 1798 году набрасывая план работы о Петре I, Карамзин писал: «Оправдание некоторых жестокостей. Всегдашнее мягкосердечие несовместно с великостию духа. Les grands hommes ne voyent que le tout (великие люди видят только общее). Но иногда и чувствительность торжествовала».[3] Вряд ли мы ошибемся, предположив, что в правлении Робеспьера Карамзин усматривал опыт реализации социальной утопии, насильственного утверждения принудительной добродетели и равенства — того идеала платоновской республики, который и влек Карамзина, и казался ему несбыточной мечтой. Так сложилось то сочетание симпатии и скепсиса, которое определило отношение Карамзина к Робеспьеру.

---

[1] Н. М. Карамзин, Lettre au «Spectateur» sur la litterature russe. — В кн.: «Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву», СПб., 1866, с. 479. Напомним: о Мирабо Екатерина II говорила, что он «не единой, но многие висельницы достоин».

[2] Николай Тургенев, Россия и русские, М., 1915, с. 342.

[3] Неизданные сочинения и переписка Н. М. Карамзина, ч. 1, СПб., 1862, с. 202.

Вряд ли от него укрылось и стремление правительства Робеспьера ввести народный натиск в берега якобинской политики. Между казнями, производимыми по решению правительства, — а Робеспьер был его главой, — и по требованиям революционного народа, для Карамзина пролегала глубокая грань. В первых можно было усмотреть суровую необходимость, которую осуществляет пекущийся об общем благе государства гражданин-республиканец, вторые истолковывались как проявление анархии частных, антигосударственных и антиобщественных устремлений. Робеспьер и санкюлоты не сливались в сознании Карамзина. Кроме того, внимательный наблюдатель событий, он, конечно, понимал зависимость политики террора от народных требований и, в частности, восстания 31 мая — 2 июня 1793 года и «плебейского натиска 4—5 сентября 1793 года».[1]

Отношение Карамзина к французским делам менялось, и в дальнейшем он охотно изображал дело так, будто именно насилие оттолкнуло его от революции:

Когда ж людей невинных кровью
Земля дымиться начала,
Мне мир казался адом зла...
Свободу я считал любовью!..

(«К Добродетели»)

Правда, в этом же стихотворении, писанном в 1802 году, Карамзин не захотел отрицать своих былых надежд на события в Париже:

Кто в век чудесный, чрезвычайный
Призра́ком не обманут был?

Но обращает на себя внимание то, что среди разнообразных, часто противоположных, высказываний Карамзина по этому вопросу мы не находим порицания Робеспьера. Более того, если внимательно присмотреться к тем критическим суждениям, в которых Карамзин, начиная с 1793 года, осуждал события в Париже, то можно сделать любопытные наблюдения. Так, например, Карамзин написал в 1793 году (опубликовано в 1794) стихотворение «Песнь божеству», снабдив его примечанием: «Сочиненная на тот случай, когда безумец Дюмон сказал во французском Конвенте: „Нет бога!“» Невнимательному глазу стихотворение это может показаться одним из обычных

[1] В. С. Алексеев-Попов и Ю. Я. Баскин, Проблемы истории якобинской диктатуры в свете трудов В. И. Ленина. Сб. «Из истории якобинской диктатуры», Одесса, 1962, с. 140—141.

в ту пору выпадов против революции с позиций благонамеренности и религиозности. Однако следует вспомнить, что выступление Андре Дюмона — эбертиста и участника «движения дехристианизации» — в Конвенте было направлено против религиозной политики правительства Робеспьера, что ненависть Дюмона к Робеспьеру привела его через несколько месяцев (в то время, когда Карамзин печатал свое стихотворение против него) в ряды термидорианцев, среди которых он выделялся ненавистью к последователям Робеспьера. Само стихотворение — отнюдь не проповедь ортодоксального православия, а прославление философского деизма в духе Руссо (подробнее см. в примечаниях, с. 387), что в контексте полемики с врагом Робеспьера получает особый политический смысл.

В сознании Карамзина в годы революции борются две концепции.

Первая концепция заставляла Карамзина прославлять успехи промышленности, свободу торговли, видеть в игре экономических интересов залог свободы и цивилизации. Вторая — третировать экономическую свободу как анархию эгоизма и противопоставлять ей суровую нравственность общего интереса. Обе — исключали интерес к политике в узком смысле этого слова.

Первый период революции раскрыл несбыточность надежд на успехи прогресса, гуманности и мирной свободы человека, второй — завершился крахом упований на утопическую республику добродетели, завоевываемую путем диктатуры. Кратковременные упования 1796 года на то, что революция, избавившись от крайностей обоих периодов, сохранит основу своих завоеваний, сменились в годы консульства и империи пессимистическим убеждением в неспособности людей к свободе. Лучшим правителем Карамзин признал опирающегося на военную силу политика, который строит свои расчеты на пороках, а не на добродетелях людей.

Все это обусловило сложное восприятие Карамзиным французской революции. Оптимизм сменялся отчаянием и снова уступал место надеждам. Общее доброжелательное отношение, вера в быстроту и безболезненность перемен, происходящих в Париже, свойственная Карамзину в 1790—1791 годах, сменились отчаянием к лету 1793 года. Именно в эту пору им была дана та характеристика нравственных итогов XVIII столетия, про которую А. И. Герцен сказал: «Выстраданные строки, огненные и полные слез».[1] Не случайно эти слова Карамзина о том, что «осьмойнадесять век кончается, и несчастный

---

[1] А. И. Герцен, Собр. соч. в 30-ти томах, т. 6, М., Изд. АН СССР, 1955, с. 12.

филантроп меряет двумя шагами могилу свою, чтобы лечь в ней с обманутым, растерзанным сердцем своим и закрыть глаза навеки!»,[1] Герцен избрал, чтобы выразить свое трагическое разочарование в революции 1848 года. Однако в 1796—1797 годах оптимистическая вера Карамзина в прогресс возродилась. Показательна цитированная выше французская статья. Говоря о том, что «французская нация прошла через все степени цивилизации, для того чтобы достичь вершины, на которой она ныне находится», Карамзин указывал на «быстрый полет нашего народа к той же цели» («vol rapide de notre peuple vers la même but»[2]). Конечно, было бы заблуждением предполагать, что Карамзин приветствовал приближение в России насильственной революции. Выступление народа он расценивал как «отклонение» от нормального развития революции, но ожидание благодетельных перемен (каких именно, Карамзин, видимо, сам представлял себе не очень ясно) отнюдь не было чуждо писателю в эти годы. И далее: «Французская революция — одно из тех событий, которые определяют судьбу людей на протяжении многих веков. Новая эпоха начинается: я ее *вижу*, но Руссо ее *предвидел*. Прочтите примечание в *«Эмиле»*, и книга выпадет у вас из рук.[3] Я слышу рассуждения за и против, но я далек от того, чтобы подражать этим крикунам. Признаюсь, что мои мысли на этот счет недостаточно зрелы. События следуют одно за другим, как волны бушующего моря, а уже хотят считать революцию оконченной. Нет! Нет! Мы увидим еще много удивительных вещей; крайнее волнение умов является предзнаменованием этого. Опускаю завесу».[4]

* * *

В эпоху Карамзина общие политические убеждения людей тесно переплетались с их отношением к внутренним вопросам русской жизни.

---

[1] Н. М. Карамзин, Сочинения, т. 3, СПб., 1848, с. 438—439.

[2] «Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву», с. 478.

[3] Карамзин, видимо, имеет в виду примечание Руссо: «Я не считаю возможным, чтобы великие европейские монархии просуществовали еще долго: все они блистали, а блестящее состояние всегда канун упадка. Я имею и более специальные основания кроме этого правила, но их нет надобности приводить здесь, каждый видит их слишком ясно» (Emile ou de l'education par J.-J. Rousseau, Paris, 1844, p. 218). Интересно, что в цитате, на которую указывает Карамзин, говорится о гибели всех европейских монархий, а не только французской.

[4] «Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву», с. 480.

Карамзин приобщился к общественной деятельности в том социально-философском, утопическом и филантропистском кружке, который сложился в 1780-е годы вокруг Н. И. Новикова и московской организации масонов. Близкая дружба с А. М. Кутузовым — человеком, которому Радищев посвятил свои основные произведения: «Житие Ф. В. Ушакова» и «Путешествие из Петербурга в Москву», — наложила глубокий отпечаток на формирующиеся взгляды писателя. Правда, и в эти годы Карамзин испытывал широкое воздействие идей просветителей XVIII века. Мистицизм, нравственный ригоризм, узкодидактический подход масонов к искусству оттолкнули Карамзина, и весной 1789 года он отправился в путешествие по Европе в поисках не только новых дорожных впечатлений, но и собственного взгляда на окружающий его мир.

Нам уже известен общий характер воззрений Карамзина в 1790-е годы. Понятно, что молодой писатель, вступивший по возвращении в Россию на журнальное поприще, оказался в весьма сложных отношениях с официальным политическим курсом. Это сказалось и в краткости аннотаций книг Вольнея и Мерсье (подробный разбор оказался цензурно невозможным), и в том, что посвященные Парижу главы «Писем русского путешественника» не попали в журнальную публикацию и увидели свет лишь при Александре I — после двукратной смены царей и правительственных курсов. Однако запрещения, наложенные правительством Екатерины II в 1790-е годы на определенные политические темы и идеи, не слишком волновали Карамзина — приступая в 1791 году к изданию «Московского журнала», он и не думал касаться политической тематики: его привлекала широкая деятельность независимого литератора, чуждающегося политики, но свободного в своих суждениях, близкого передовым направлениям европейской словесности и возглавляющего молодую литературу у себя на родине. Однако реализация и этого — политически весьма скромного — идеала в условиях режима, установившегося в екатерининской России 1790-х годов, оказалась невозможной. Карамзин был на дурном счету у правительства Екатерины II как выученик новиковского кружка, его пребывание в революционном Париже только прибавило оснований для подозрительности, а подчеркнутая независимость суждений «Московского журнала» еще больше настораживала власти. Конфликт обострился, видимо, в результате того, что, верный своему стремлению не сливаться с официальным курсом, Карамзин опубликовал в 1792 году стихотворение «К Милости», в котором завуалированно призывал к помилованию Новикова и его соратников. Для того чтобы понять, как этот акт характеризует общую позицию Карамзина, нужно помнить, что, с одной стороны,

он сам был под подозрением по новиковскому делу, а с другой, его личные дружеские связи с пострадавшими в эту пору сменились взаимным охлаждением. Известно, что в ближайшем окружении Новикова литературная деятельность Карамзина после его возвращения из-за границы вызывала насмешку и неприязнь.

Пушкин позже сказал об «Истории Государства Российского», что она — «не только создание великого писателя, но и подвиг честного человека».[1] Пушкин хорошо знал Карамзина и тонко чувствовал сущность его писательской позиции. Взгляды Карамзина претерпевали в промежутке между французской революцией и восстанием декабристов существенные изменения. Однако подход к деятельности писателя как к «подвигу честного человека» оставался неизменным. Именно ему следовал Карамзин, публикуя стихотворение «К Милости». Карамзин разделял широко распространенные в XVIII веке представления о том, что единственной целью существования власти является польза подданных, народа, о том, что свобода — нравственная и политическая — неотъемлемое и природное благо человека. Но особенность личной позиции писателя состояла в том, что заявить об этих убеждениях он решился в такой момент, когда все тактические соображения, казалось, толкали его на то, чтобы промолчать. Стихотворение «К Милости» звучало очень смело: Карамзин заявлял Екатерине, что крепость ее власти обусловлена соблюдением прав народа и каждого человека.

Спокойствие твоей державы
Ничто не может возмутить

до тех пор, пока императрица будет соблюдать предписания политической нравственности, утвержденной прогрессивной философской мыслью XVIII века:

Доколе права не забудешь,
С которым человек рожден;

Доколе гражданин довольный
Без страха может засыпать
И дети-подданные вольны
По мыслям жизнь располагать...
...Доколе всем даешь свободу
И света не темнишь в умах;

---

[1] Пушкин, Полн. собр. соч., т. 12, Изд. АН СССР, 1949, с. 57.

Пока доверенность к народу
Видна во всех твоих делах...

Только до этих пор «трон вовек не потрясется». Не только содержание политической доктрины, развернутой Карамзиным, но сама обусловленность взаимных обязательств народа и власти общим благом звучала в России, после процессов Радищева и Новикова, в самый разгар французской революции, неслыханно смело. Стихотворение смогло быть опубликовано лишь с изменениями автоцензурного характера. Так, например, стихи:

Доколе права не забудешь,
С которым человек рожден...

были заменены на:

Доколе пользоваться будешь
Ты правом матери одной...

А. А. Петров писал Карамзину 19 июля 1792 года: «Пожалуйста, пришли стихи «К Милости», как они сперва были написаны. Я не покажу их никому, если то нужно». [1]

Среди привлекательных для Карамзина идей XVIII века следует отметить мысль о братском единении людей всего мира, которая истолковывалась как союз народов против разделяющих их невежества, суеверий и деспотизма. На этой почве вырастали идеи, вроде проектов «вечного мира» (В. Пенн, Б. Сен-Пьер, Ж.-Ж. Руссо, И. Бентам, В. Малиновский, А. Гудар), широко распространялись пацифистские настроения, возникали идеи общечеловеческого гражданства, пропагандировавшиеся в годы революции не только Анахарсисом Клоотцем, но и, например, Вольнеем, которого Карамзин рекомендовал русским читателям. Эта идея для многих людей, сочувствовавших революции, в Италии, Германии или России была осуждением феодальных войн и оправданием войн, которые вела французская республика. Эта сторона вопроса очень важна для Карамзина. В начале 1790-х годов он, видимо, сочувствовал внешней политике Франции. В июле 1791 года он помещает в «Московском журнале» пересказ-рецензию знаменитого тогда «Путешествия младого Анахарсиса по Греции», в которой встречаются подобного рода цитаты из романа: «Пример нации, предпочитающей смерть рабству, достоин внимания, и умолчать о нем невозможно», сопровождаемые

[1] ИРЛИ.

кратким замечанием Карамзина: «Г. Бартелеми прав». Ясно, что подобные высказывания в дни, когда сколачивалась контрреволюционная коалиция, а газеты помещали только сообщения из Кобленца, не могли не звучать как сочувственный намек на борьбу революционной Франции. Одновременно Карамзин не уставал подчеркивать свой пацифизм. В июле 1790 года в Лондоне он провозгласил тост за «вечный мир». В 1792 году он опубликовал в «Московском журнале» «Разные отрывки. Из записок одного молодого Россианина», в которых идеи пацифизма выражены с наибольшей силой. В начале 1792 года Карамзин использовал заключение мира с Турцией для того, чтобы выразить эти идеи в «Песни мира», написанной под очень сильным влиянием «Песни к радости» захваченного аналогичными настроениями Шиллера.[1] Уже первый стих карамзинской «Песни»:

Мир блаженный, чадо неба

напоминал:

Freude, schöner Götterfunken
Tochter aus Elysium.

Однако особенно приближался Карамзин к Шиллеру, выражая идею братства народов:

Миллионы, веселитесь,
Миллионы, обнимитесь,
Как объемлет брата брат!
Лобызайтесь все стократ!

Seid umschlungen, Millionen!
Diesen Kuβ der ganzen Welt!
Brüder — überm Sternenzelt
Muβ ein lieber Vater wohnen.

Эти стихи Карамзина стоят у истока того любопытного направления в русской гражданской лирике конца XVIII — начала XIX века, которое связано с влиянием гимна «К радости» Шиллера и включает в себя «Славу» Мерзлякова, «Певца во стане русских воинов» и ряд других стихотворений.

Политическое развитие Карамзина в 1790-е годы не было прямолинейным. Надежды на постепенное возвышение человечества к бу-

---

[1] См.: F. W. Neumann, Karamzins Verhältnis zu Schiller. — Zeitschrift für slavische Philologie, B. IX, Leipzig, 1932.

дущей гармонии то оживали, то меркли. Под влиянием событий в Европе и России скептические настроения все больше брали верх. «Утопия», «Платонова республика мудрецов» остаются прекрасной мечтой, в осуществление которой Карамзин уже не верит. Когда после убийства Павла I Карамзин наконец смог опубликовать парижскую часть «Писем русского путешественника», неверие его в быстрый прогресс общества, осуществляемый путем преобразования политической системы, оформилось окончательно. Современные ему радикалы, считал он, — «новые республиканцы с порочными сердцами» — честолюбцы и преступники или добродетельные мечтатели, не понимающие суровых законов жизни. «Утопия»[1] будет всегда мечтою доброго сердца, или может исполниться неприметным действием времени, посредством медленных, но верных, безопасных успехов разума, просвещения, воспитания, добрых нравов.

В политических размышлениях Карамзина все более выдвигается антитеза: политик-мечтатель, благородный, но обреченный на провал, руководимый теориями, высоко этическими побуждениями, но приводящий государство к гибели. К таким Карамзин относил многих симпатичных ему деятелей XVIII века, таким он, вероятно, видел и Александра I. Этому образу противостоял образ политика-практика, чуждого любых мечтаний, даже циника, равнодушного к этической стороне истории. Он противопоставляет прекраснодушию силу и добивается успеха.[2] Этот образ все чаще связывается с именем консула Бонапарта.

Карамзин все больше начинает подчеркивать глубокую стихийность исторического процесса, который не познается и не управляется человеком. Человек может вызвать событие, но не способен предугадать его последствий. Ни добродетельный мечтатель, ни политический честолюбец не достигнут своих целей: «Революция — отверзтый гроб для добродетели — и самого злодейства». Такова была общественная позиция Карамзина в годы, на которые падает его высшая активность как поэта. В конце жизни он записал сентенцию, предсказывающую исторические взгляды Л. Н. Толстого эпохи «Войны и мира»: «Мы все как *муха на возу:* важничаем и в своей невинности считаем себя виновниками великих происшествий! — Велик тот, кто чувствует свое ничтожество — пред богом!»[3]

---

[1] Или «Царство счастия», сочинение Моруса. (Примечание Н. М. Карамзина). — *Ред.*

[2] Антитеза эта чувствуется, например, в «Марфе Посаднице».

[3] Неизданные сочинения и переписка Н. М. Карамзина, ч. 1, с. 197.

* * *

Первый период деятельности Карамзина-поэта приходится на 1787—1788 годы, когда Карамзин находился под непосредственным воздействием идей новиковского кружка, особенно А. М. Кутузова. Если в общественной сфере масонские идеи раскрывались как утопические и филантропические, то в поэзии они характеризовались отрицательным отношением к рационалистическому искусству классицизма, вниманием к европейскому предромантическому движению. Французская литература привлекала гораздо меньшее внимание А. М. Кутузова, чем английская и немецкая, большим знатоком которых он являлся. Кутузов требовал от поэзии психологизма, интереса к внутреннему миру человека. «Не наружность жителей, — писал он А. А. Плещееву, — не кавтаны и рединготы их, не домы, в которых они живут, не язык, которым они говорят, не горы, не море, не восходящее или заходящее солнце суть предмет нашего внимания, но человек и его свойствы. Все жизненные вещи могут также быть употребляемы, но не иначе, как токмо пособствия и средствы».[1] Психологизм в понимании А. М. Кутузова был неотделим от дидактического морализма. Познание себя — первый шаг к исправлению. Собственно художественные цели были для А. М. Кутузова всегда подчинены этическим. Его живо интересовала английская и немецкая эпическая поэзия от Мильтона до Клопштока, творчество которых он склонен был истолковывать как религиозно-моралистические аллегории.

Идеи эти оказали большое влияние на Карамзина, однако они не исчерпывали, даже на первых порах, его творческого кругозора, который складывался под влиянием очень широкого круга чтения. Вкусы начинающего писателя явно клонились к предромантизму. В этом отношении характерно стихотворение «Поэзия», написанное Карамзиным в 1787 году. Эпиграф из Клопштока и идея божественного происхождения поэзии восходят к литературным воззрениям московских масонов. Очень интересна историко-литературная иерархия этого стихотворения, демонстрирующая и антиклассицистичность позиции Карамзина, и его глубокое недовольство состоянием современной русской поэзии. Перечисление великих поэтов начинается с библейского Давида, затем идут: Орфей, Гомер, Софокл, Эврипид, Бион, Феокрит и Мосх, Гораций, Овидий. Отсутствие в этом списке Вергилия, сочетание интереса к Гомеру и Феокриту и то, что история мировой поэзии начинается библейскими гимнами, — все это в выс-

---

[1] «Русский исторический журнал», 1917, кн. 1-2, с. 134.

шей мере показательно. Но еще более интересно то, что далее Карамзин, пренебрегая общепринятой в XVIII веке шкалой литературных ценностей, демонстративно игнорирует всю французскую литературу, прямо переходя от древности к английской поэзии. «Британия есть мать поэтов величайших...» И здесь вперед выдвинуты те поэты, творчество которых возбуждало интерес европейских предромантиков: Оссиан, Шекспир, которого Карамзин ставит особенно высоко, Мильтон, Юнг, Томсон. Далее упоминаются «альпийский Теокрит» Геснер, Клопшток. Не менее показательно, что из русских поэтов Карамзин не включает в свой перечень никого. Здесь проявляется отличие его позиции от взглядов Кутузова. Карамзин исключил, исходя из представлений предромантической эстетики, всю одическую традицию ломоносовской школы, отношение к которой и у Кутузова, видимо, было сдержанным. Однако не были названы и Сумароков, и Державин, творчество которых в кружке Новикова ценилось очень высоко, а также чтимый в масонской среде и за ее пределами — признанный глава русской поэзии — Херасков. В стихах:

О Россы! век грядет, в который и у вас
Поэзия начнет сиять, как солнце в полдень.
Исчезла нощи мгла — уже Авроры свет
В <Москве> блестит, и скоро все народы
На север притекут светильник возжигать... —

чувствуется не только отрицательное отношение ко всей предшествующей русской поэзии, но и убеждение в том, что новый этап начнется с его, Карамзина, творчества. Это была нота, решительно неприемлемая для масонских наставников Карамзина, которые хотели видеть в поэте сурового моралиста, умудренного годами самонаблюдения. Карамзин, по их мнению, еще не обладал нравственным правом учить людей и, следовательно, мог выполнять литературные поручения наставников, но не становиться на путь самостоятельного творчества. Естественно, что начало самостоятельной деятельности Карамзина как прозаика, поэта и журналиста, деятельности, в которой сам он был склонен видеть переломный момент в развитии русской литературы, встречено было в масонских кругах крайне неодобрительно. «О Карамзине я истинно сердечно болезную, — писал Кутузов Трубецкому 2 апреля 1791 года, — и смотрю на него не иначе как на человека, одержимого горячкою». [1]

---

[1] Я. Л. Барсков, Переписка московских масонов XVIII века, Пг., 1915, с. 106.

Самостоятельное творчество Карамзина и как поэта, и как прозаика началось с 1789 года — с момента его разрыва с кружком Новикова и московских масонов.

Несмотря на то что пути эволюции прозы и поэзии Карамзина отличались, они имели общую внутреннюю логику и взаимодополняли друг друга в едином творческом развитии писателя. Понять Карамзина-прозаика, игнорируя Карамзина-поэта, нельзя.

Эстетическая позиция Карамзина в эти годы не отличалась монизмом. Интерес к окружающим жизненным явлениям, особенно явлениям социального мира, повышенное внимание к человеку и его столкновениям с предрассудками, вера в просвещение шли в его творчестве от принципов просветительской эстетики; от масонского субъективизма — повышенный интерес к психологии, внутреннему миру человека, стремление рассматривать этот внутренний мир вне связи его с действительностью.

«Письма русского путешественника», первое крупное произведение Карамзина-писателя, характерно для начала его художественной эволюции. Исследователи, справедливо стремясь противопоставить метод «Писем...» Карамзина и «Путешествия...» Радищева, утверждали, что Карамзин в своем первом произведении чуждался изображения действительности. С этим едва ли можно согласиться. Упрек этот трудно отнести к писателю, утверждавшему: «Драма должна быть верным представлением общежития».[1] Однако само понятие «общежития», которое следует изображать, и целей искусства у Карамзина было иным, чем у Радищева. В «Письмах русского путешественника» он ставил своей целью показать читателю целый мир новых идей, привлекательность европейского просвещения. Цель его просветительная, но не революционная. Карамзин уделял также большое, хотя и не исключительное, внимание изображению психологии человека. В одной из рецензий 1791 года он назвал писателя «сердценаблюдателем по профессии».[2] Эту роль «сердценаблюдателя» в наибольшей степени тогда выполняла поэзия. Поэт «сердца для глаз изображает» («Дарования»). Проза и поэзия Карамзина в это время, взаимодополняя друг друга, составляли как бы два полюса — повествовательный и лирический — единой творческой позиции писателя.

Карамзин творил в годы мощного поэтического подъема в России. Его современниками были Державин, Крылов и Жуковский. Многие из поэтов второго ряда — от Капниста и Муравьева до Гне-

---

[1] «Московский журнал», 1791, ч. 1, с. 234.
[2] «Московский журнал», 1791, ч. 2, с. 85.

дича и Дениса Давыдова — казалось, могли бы затмить неяркую поэтическую звезду Карамзина. Особенно невыгодным для славы Карамзина-поэта было то, что на протяжении всего его творческого пути с ним шел рука об руку его друг и единомышленник, поэт par excellence И. И. Дмитриев. И все же поэзия Карамзина выдержала это соседство, и Пушкин 4 ноября 1823 года писал Вяземскому, что Дмитриев «стократ ниже стихотворца Карамзина».[1] Место Карамзина в истории русской поэзии находится не в первом ряду, но оно твердо ей принадлежит. И причину этого следует видеть в том, что, не будучи способен соперничать с Державиным, Карамзин тем не менее нашел и сохранил на протяжении всего творческого пути неповторимость, своеобразие, отличавшее его не только от неподражаемого Державина, но и от, казалось бы, близких к «карамзинизму» Муравьева, Нелединского-Мелецкого, Дмитриева. Оригинальность пути, избранного Карамзиным-поэтом, позволила ему не только сохранить свою самобытность, но и повлиять на таких ярких поэтов, как Жуковский, Батюшков, Вяземский, Пушкин.

Своеобразие Карамзина-поэта, в самом общем виде, можно определить как неуклонное стремление к поэтической простоте, смелую прозаизацию стиха.

Если Карамзин-прозаик настойчиво «поэтизировал» свои повести, то Карамзин-поэт не менее упорно «прозаизировал» свои стихи. И в этом он шел гораздо дальше, чем Дмитриев или Нелединский-Мелецкий, нарочитая «простота» которых уже на современников производила впечатление кокетливого жеманства.

Карамзин вступил в литературу в разгар острой полемики о рифме. Критика поэтических канонов классицизма, поиски новых средств выразительности, обращение к народной поэзии, увлечение подлинной, а не подогнанной под нормы французских поэтик античностью заставили широкий круг европейских поэтов середины и конца XVIII века заняться экспериментами в области белого стиха. В русской поэзии второй половины XVIII века критика рифмы в первую очередь воспринималась как отказ от высокой одической поэзии, стремление пересмотреть утвердившиеся после Ломоносова нормы и правила стихосложения. С разных позиций употребление рифмы осуждали Тредиаковский, Радищев, Львов, Бобров. Дань безрифменному стиху отдали почти все поэты конца XVIII — начала XIX века. Позиция Карамзина в этом вопросе отличалась известным своеобразием.

---

[1] Пушкин, Полн. собр. соч., т. 13, Изд. АН СССР, 1937, с. 381.

Современники Карамзина обращались к белому стиху, стремясь подчеркнуть «важность», общественную значимость содержания, убежденные, что эпическая поэзия должна быть освобождена от внешних украшений и приближена к подлинным образцам античности. Введение безрифменной поэзии в поэму-сказку воспринималось как приближение к русской народной традиции. При всех отличиях в позиции, многочисленных противников рифмы в те годы сближало одно: отбрасывая ломоносовскую систему, они стремились поставить на ее место новый, уже оформившийся и эстетически вполне определившийся канон. Система Карамзина строилась иначе: она имела чисто негативный характер. Карамзин стремился не употреблять рифму, не употреблять метафору и весь арсенал троп не только в духе «бряцающего» и «парящего» одического стиля Петрова, но и в духе державинской стилистики. Традиционным свойством поэзии считалось обращение к идеологически значимым, высоким темам (любовная лирика школы Сумарокова утверждала понятие о страсти, культуре чувства как высоких, следовательно, поэтических «материях»). Карамзин демонстративно отказывался от значительной тематики. Вопреки утвердившемуся взгляду на литературу как на долг и служение, Карамзин называл свои стихотворения «безделками», вызывая тем самым насмешки и нарекания не только эстетического, но и политического характера. Он стойко переносил упреки одних в недостаточном уважении к властям, а других — в недостаточном свободолюбии. Было бы в высшей степени ошибочным видеть в этой позиции поэта, казалось бы построенной из сплошных «отказов», в этом демонстративном сочинении «безделок» общественный индифферентизм, стремление заключить поэзию в тесные рамки салонной игры. Карамзин, как и большинство поэтов его времени, писал альбомные пустяки, но нельзя не заметить, что общественно значимые стихотворения, насыщенные социально-философской, а часто и прямо политической проблематикой, занимают в поэзии Карамзина большое место. Для того чтобы понять смысл и значение поэзии Карамзина, следует попытаться заставить себя перенестись в ту эпоху и воскресить восприятие поэзии русским читателем конца XVIII — начала XIX века. Художественная система Карамзина-поэта отличается своеобразной смелостью: Карамзин систематически употребляет средства, которые его современников поражали новизной, утраченной для читателя наших дней. Принято говорить, что Карамзин употреблял слова среднего слога. Это не совсем точно: слова высокого, среднего и низкого слога находились в поле стилевой оппозиции «высокое (поэтичное) — низкое (непоэтичное)». Писал ли поэт высоким — одическим, низким — бурлескным или сред-

ним — элегическим слогом, он перемещался по шкале ценностей внутри этой оппозиции, но не отменял ее. Сама поэтическая смелость Державина, ломавшего эту шкалу стилей и соединявшего с дерзостью гения высокое и низкое, могла восприниматься лишь читателем, в сознание которого прочно вошло противопоставление высокого и низкого как поэтического и находящегося вне поэзии. Включение в поэзию комических «антипоэтизмов» В. Майковым или макароническая поэзия И. М. Долгорукова также бессильны были поколебать эту основную антитезу стиля, которая в сознании людей XVIII века казалась неотъемлемой от поэзии. В этом смысле больше сделали не смелые по стилистическим диссонансам оды Державина, а его анакреонтика, близко соприкасавшаяся со стилем лирики Карамзина.

Карамзин не разрушал антитезу высокого и низкого в поэзии, а игнорировал ее, поэзия Карамзина вообще с нею не соотносилась. Но дело не только в этом: снимая оппозицию «высокое — низкое» как основу поэтического переживания, Карамзин добивал уже поверженного врага, находил средство ниспровергнуть в стилевой фактуре лирики то, что в области общей теории литературы было уже развенчано усилиями эстетики Просвещения и подвергалось в те годы многочисленным атакам. Однако Карамзин стремился вывести поэзию не только за пределы этой оппозиции, а поставить ее вообще вне системы заранее данных оппозиций и норм. Так, например, употребление белого стиха воспринималось читателем тех лет не только как разрушение привычных норм ломоносовского стиха. Соединяясь с каким-либо добавочным признаком, оно сигнализировало о принадлежности произведения к определенной традиции: белый стих в сочетании с гекзаметром включал произведение в эпическую традицию, в сочетании с сапфической и горацианской структурой — в ту разновидность поэзии, которая стремилась воссоздать дух античности, с четырехстопным хореем и дактилической клаузулой — в стилизацию под русскую народную поэзию. Каждая из этих систем (равно как и другие безрифменные жанры тех лет) была стилистически замкнутой, наличие одних признаков заставляло читателя ожидать появления других. Так, для белого стиха с горацианской строфической структурой были обязательными бытовые реалии из реквизита античной сельской жизни, апология простоты и безыскусственности, этика «золотой середины». Писатель получал не только определенный круг образов и стилистических средств, но и тему, определенную модель мира, в которую он включал и себя, и своего читателя. Белый стих Карамзина не вводил читателя ни в какую из готовых стиховых систем. В дальнейшем, особенно под

пером учеников Карамзина, его система закостенела, выхолостившись до полной поэтической условности, и нам, наблюдающим ее сквозь призму дальнейшего поэтического движения, крайне трудно восстановить впечатление, которое производили эти стихи на читателей той поры. В этом смысле еще более интересные наблюдения можно сделать, рассматривая не безрифмие, а рифму Карамзина. Карамзин имел смелость употреблять рифму, которая в поэзии XVIII века традиционно считалась плохой, причем подчеркнуто избирал наиболее доступные, тривиальные рифмы. Белый стих в конце XVIII века уже был введен в круг поэтических средств, но банальные рифмы были решительно запрещены: их употребляли только плохие поэты, не умеющие находить лучшие рифмы. Карамзин позволил себе их употребление:

Кто для сердца всех страшнее?
Кто на свете всех милее?
Знаю: милая моя!
«Кто же милая твоя?»

*(«Странность любви,
или Бессонница»)*

Кто мог любить так страстно,
Как я любил тебя?
Но я вздыхал напрасно,
Томил, крушил себя!

(«Прости»)

Рифмы типа: «моя — твоя», «милее — страшнее», «тебя — себя», «одному — никому», «нее — ее» встречаются у Карамзина подчеркнуто часто. В традиционной для XVIII века поэтической системе подобные рифмы могли лишь рассматриваться как свидетельство авторского неумения, низкого качества стиха. Однако, овладевая структурой карамзинской поэзии, читатель убеждался в преднамеренности подобной рифмовки. А это влекло за собой уничтожение всей старой системы оценок. «Небрежные» рифмы допускались в песне и романсе и поэтами, исторически предшествовавшими Карамзину (например, поэтами школы Хераскова). Но то, что там было признаком определенного («невысокого») типа поэзии, здесь становилось свойством поэзии вообще, и это коренным образом меняло дело: простота и небрежность, безыскусственность становились синонимами *поэтического*.

Карамзин чуждался и картинности стиля, нарочито избегая метафор. Мы у него почти не найдем оригинальных, резко индивидуа-

лизированных эпитетов, которыми так богат державинский стиль. На фоне поэзии Державина лирика Карамзина должна была производить впечатление обедненной. Но и здесь читатель легко убеждался, что эта нарочитая «бедность» входила в замысел автора, соответствовала его эстетическим требованиям. Но особенно полемически заостренным был самый предмет, который Карамзин избирал для своей поэзии, тем самым утверждая его как предмет поэтический.

Поэзия Карамзина вводит нас в новый и необычный мир. Привычные представления в нем смещены: все государственно значимое, обладающее властью, могуществом, освященное поэтической традицией, царственно красивое, безупречное — в нем лишено цены. Все обыкновенное, робкое, бледное — привлекательно и поэтично. Поэт повествует нам о своей любви. Но его возлюбленная не только не отличается умом, красотой или величавостью — она робка, невзрачна.

...Она
Ах! Ни мало не важна,
И талантов за собою
Не имеет никаких;
Не блистает остротою...

После такой характеристики читатель должен был бы подумать, что автор подводит его к антитезе ума и красоты. Недостаток «аполлонова огня» возлюбленная поэта, ожидает читатель, искупит привлекательностью своей внешности, но автор спешит его разуверить:

Не Венера красотою —
Так худа, бледна собою...

Возлюбленная поэта не лицом и фигурой привлекает его любовь:

...без жалости не можно
Бросить взора на нее.

Читатель, убедившись в том, что возникшая в его сознании антитеза «ум — красота» представляет своеобразный «ложный ход» автора, отбрасывает ее и уверенно подставляет на ее место другую: «холодные ум и красота — глубина и живость чувства». Подобное противопоставление читатель уже встречал неоднократно в той антиклассицистической литературе, с которой Карамзин был живо связан, и

тем увереннее готов был именно так истолковать авторский замысел стихотворения. На возможность подобной антитезы читателю намекали в уже прочитанном тексте такие характеристики, как: «...в невежестве своем Всю ученость презирает...» и «...так эфирна и томна». За ними он легко угадывал противопоставление блестящих, величавых учености и красоты — бедному, робкому, но чувствительному и любящему сердцу. Однако и эта догадка оказывается ложной: возлюбленная поэта

Нежной, страстной не бывала...
...В милом сердце лед, не кровь!

Все заранее приготовленные читателем противопоставления сняты. Композиция, к которой он внутренне приготовился («таковы недостатки моей возлюбленной, но это несущественно, ибо такие-то ее достоинства для меня важнее»), отброшена: достоинств у возлюбленной нет вообще, и стихотворение не строится по принципу двучленной оппозиции. Недостатки не искупаются достоинствами, а сами достоинствами являются. Поэт любит свою героиню за ее недостатки и не пытается сам рационалистически объяснить своего чувства: «Странно!.. я люблю ее!» Образ своей любви он находит в шекспировской Титании («Сон в летнюю ночь»), полюбившей ничтожного ткача Основу, наделенного вдобавок ослиной головой. Мир, в который вводит поэт читателя, с точки зрения рациональных норм, — «жалкий Бéдлам». Поэт не приглашает отбросить старое объяснение для того, чтобы принять новое: он убежден в тщетности любых логических объяснений.

Не только возлюбленная поэта, но и весь окружающий его мир и он сам не умещаются в границах логических антитез. В 1792 году Карамзин опубликовал стихотворение «Кладбище», в котором продемонстрировал возможность рассказать об одном и том же с диаметрально противоположных точек зрения:

Один голос

Страшно в могиле, хладной и темной!
Ветры здесь воют, гробы трясутся,
Белые кости стучат.

Другой голос

Тихо в могиле, мягкой, покойной.
Ветры здесь веют; спящим прохладно;
Травки, цветочки растут.

Этот разноликий мир, окружающий поэта, не есть, однако, царство абсолютного релятивизма. Он повергнут своим хаотическим многообразием к миру рациональных норм. Однако сам для себя он не хаотичен. Не имея внутренней логики, он наделен гармонией. Поэтому при попытках рационального осмысления он предстает как абсурдный и неорганизованный, но, рассмотренный по своим собственным законам, он обнаруживает внутреннюю гармонию. Этот мир прежде всего находится вне теорий и теоретического мышления. Это — обычная жизнь, причем жизнь в тех ее проявлениях, которые не отмечены причастностью к истории, политике и государству. Как гармоническая, поэтически прекрасная предстает жизнь обычная, незаметная, жизнь сердца в ее обыденных, каждодневных проявлениях. Карамзин хорошо знал литературу «бури и натиска», но поэтический образ его лирики — не бурный гений. Это человек простых чувств, душевной ясности, чистосердечно признающийся в неяркости своего таланта:

Теперь брожу я в поле,
Грущу и плачу горько,
Почувствуя, как мало
Талантов я имею.

(«Анакреонтические стихи А. А. П<етрову>»)

Не зная, что есть слава,
Я славлю жребий свой.

(«Две песни»)

Это тем более интересно, что реальный Карамзин — начинающий литератор — совсем не походил на этот условный поэтический образ: он был весьма высокого мнения о своем литературном даровании и видел в себе человека, призванного реформировать русскую словесность. Как писал с раздражением М. И. Багрянский А. М. Кутузову в 1791 году о Карамзине: «Он себя считает первым русским писателем и хочет нас учить нашему родному языку, которого мы не знаем. Именно он раскроет нам эти скрытые сокровища».[1] Напомним, что сам Карамзин в стихотворении «Поэзия» связывал именно со своей деятельностью то, что в России «поэзия начнет сиять».

---

[1] Я. Л. Барсков, Переписка московских масонов XVIII века, с. 86.

«Простая жизнь» воспринималась как жизнь душевных переживаний, а не материальных забот. Герой был освобожден от связей с гнетущим и противоречивым внешним миром. Это определило весь лексико-стилистический строй лирики Карамзина, которая соткана из подчеркнуто простых, обыденных слов и оборотов и одновременно чуждается предметно-вещественной лексики державинского типа. Это объяснялось глубокими причинами.

Державин уничтожил рационалистический дуализм «высокого» мира идей и «низменной» реальности, соединив понятия зримости, весомости вещественного мира с представлениями о поэзии и счастье. В сознании Карамзина мир снова разделился. Однако природа его дуализма совсем не походила на классицистическую. Поэт делил мир на внешний, вещественный, материальный, государственный — мир отрицательный, царство дисгармонии и пороков — и гармонический внутренний мир. По сравнению с радищевской позицией такая точка зрения могла казаться пассивной, но не следует забывать, что современники улавливали в ней протест против дворянской государственности, проповедь личной независимости и высокое представление о душевном достоинстве человека. На протяжении царствований Екатерины II и Павла I Карамзин слыл за подозрительного, недовольного и полуопального поэта.

Философской основой подобной позиции был сенсуализм в духе хорошо известного и одобряемого Карамзиным Кондильяка, двойственный по своей сути. С одной стороны, он соприкасался с философией Просвещения от Руссо до энциклопедистов, с другой — легко мог (за что критиковал Кондильяка Дидро) быть перетолкован в агностическом и субъективистском духе. Но сама эта двойственность была выражением не только слабости, но и силы: от метафизической прямолинейности в решении гносеологических вопросов она подводила к осознанию сложности отношений мира субъекта и объекта. В этом смысле историческая случайность, благодаря которой первый европейский визит Карамзина был нанесен Канту, приобретает символический характер.

Карамзин в конце 1780-х — начале 1790-х годов не отрицает существования внешнего мира и даже не берет под сомнение его познаваемости, однако достоинство человека для него определяется не местом в этом мире (тем более не богатством или общественным положением), а душевными качествами.

В отличие от штюрмерского или — позже — романтического идеалов, эти душевные качества ценятся не за величие, колоссальность, индивидуалистическую активность, а за человечность и простоту. Оценка личности имеет ярко выраженный этический харак-

тер. В этот период Карамзин верит в доброту человека и ценит эту доброту. Если в оценках внешнего мира подчеркивается их релятивность, то критерии душевных переживаний носят безусловный характер и ярко окрашены в этические тона. В этом смысле мир внешний, государственный, противопоставляется внутреннему, личному, не только как хаотический гармоническому, но и как безнравственный нравственному.

Из сказанного легко можно было бы сделать вывод о том, что социальная позиция Карамзина носила антиобщественный, индивидуалистический характер, что поэт проповедовал пассивность и чужд был гражданственности. Это утверждение, однако, было бы в высшей мере неточно. Оно находилось бы в прямом противоречии с простыми фактами: на всем протяжении поэтического творчества Карамзина — от «Песни мира», «К Милости» и «Ответа моему приятелю» до «Оды на случай присяги московских жителей его императорскому величеству Павлу Первому», «Тацита», «Гимна глупцам», «Песни воинов», «Освобожденной Европы» — стихотворения с откровенно общественным звучанием составляют опорную нить в лирике Карамзина. На наличие в поэтическом наследии Карамзина «гражданско-патриотических стихотворений» обратили внимание авторы вступительной статьи к недавно вышедшим избранным сочинениям писателя.[1]

Однако общественная позиция Карамзина была своеобразна, и, не отметив этого, мы не поймем специфики и его гражданской лирики. Политика и гражданственность в сознании Карамзина разделялись. Первая воспринималась как связанная с хаотическим внешним миром, вторая касалась души человека. Путь к общественности лежит не через государственные институты, а через личную добродетель. Поэтому для Карамзина проповедь ухода от политической борьбы не означала отказа от гражданственности. Скорей наоборот: со своей точки зрения Карамзин склонен был смотреть на всякого политика как на политикана — эгоиста и честолюбца, а античные гражданские добродетели находить в частном человеке, проникнутом заботой о своем ближнем.

Поэзию Карамзин считал проповедницей не политики, а общественности. О том, насколько плоско было бы на основании этого говорить об антинародности позиции Карамзина, свидетельствует то, что в этих суждениях Карамзин опирался на Шиллера. Исследова-

---

[1] См.: П. Берков и Г. Макогоненко, Жизнь и творчество Н. М. Карамзина. В кн.: Н. М. Карамзин, Избр. соч. в двух томах, т. 1, с. 30.

тели не отметили любопытный факт: осуждая действия революционной толпы в Париже, Карамзин в конце 1780-х — начале 1790-х годов противопоставлял ей совсем не идеал покоя и неподвижности, не идеологов эмиграции, а героическую гражданственность поэзии Шиллера. Известие о взятии Бастилии заставило его читать не контрреволюционные памфлеты, а «Заговор Фиеско». И выводы, которые он сделал, сопоставляя французскую действительность и слова немецкого поэта, в высшей мере примечательны. Узнав о взятии Бастилии, Карамзин не пошел уже в тот день ни к кому — он отправился в библиотеку и принялся за чтение Шиллера: «Публичная библиотека в трех шагах от трактира. Вчера я брал из нее «Фиеско», Шиллерову трагедию, и читал ее с великим удовольствием от первой страницы до последней. Едва ли не всего более тронул меня монолог Фиеска, когда он, уединясь в тихий час утра, размышляет, лучше ли ему остаться простым гражданином и за услуги, оказанные им отечеству, не требовать никакой награды, кроме любви своих сограждан, или воспользоваться обстоятельствами и присвоить себе верховную власть в республике. Я готов был упасть перед ним на колени и воскликнуть: „Избери первое!“»[1] Позже в Париже, наблюдая события революции, Карамзин в обществе Вильгельма Вольцогена — школьного товарища Шиллера — провел много «приятных вечеров», «читая привлекательные мечты» немецкого поэта. Это стремление воспринять французскую революцию «по Шиллеру», очень существенное для политической позиции Карамзина, определило и особенность стиля его гражданской поэзии: Карамзин в принципе отбрасывал противопоставление интимной и политической лирики. Обе разновидности поэзии говорят о человеке, его душе и добродетели. Следовательно, для стилистического противопоставления их нет оснований. Это приводило к принципиальному отказу от архаизмов и «высокой» лексики. Наблюдение над общественно-политической поэзией Карамзина в 1789—1793 годы позволяет сделать любопытные выводы. Карамзин решительно отказывается от традиционных форм политической лирики, от оды. Он подчеркивает, что власть не может стать предметом его поэзии и никакие личные злоключения, биографические обстоятельства не могут поколебать этого решения.

В 1793 году, когда положение Карамзина было весьма шатким и он «ходил под черной тучей», он написал «Ответ моему приятелю» (видимо, И. И. Дмитриеву. — *Ю. Л.*), который хотел, «чтобы я написал похвальную оду Великой Екатерине». Прикрывая свою позицию

---

[1] Н. М. Карамзин, Избр. соч. в двух томах, т. 1, с. 189.

официальными комплиментами, Карамзин решительно отказывался прославлять императрицу:

Мне ли славить тихой лирой
Ту, которая порфирой
Скоро весь обнимет свет?

При этом гражданская тема не исключалась — исключалась лишь официальная ее трактовка. Следует не забывать, что незадолго до этого Карамзин создал стихотворение «К Милости». Отказываясь воспевать власть, он прославлял милосердие; отказываясь превращать музу в ходатая по своим делам, он не боялся использовать ее как заступника за других. Это было общественное выступление. Не облеченный никакими правами, кроме права поэзии, Карамзин публично возвысил свой голос, напоминая Екатерине II о человечности. Отрицая в теории любые программы, Карамзин превращал личную смелость и гражданственность в программу. Общественная позиция Карамзина питалась пафосом защиты человека от дворянского государства. Вместе с тем, однако, это делало ее не революционной, а лишь глубоко «партикулярной». Его отрицание дворянской государственности не перерастало в политический протест — оно выливалось в протест против политики. Из формулы «права человека и гражданина» значимой для Карамзина была лишь первая часть.

В эстетическом отношении гражданская поэзия и интимная лирика Карамзина стилистически были однотипны. Они изображали внутренний мир человека. Характерно, что Карамзин в эти годы отстранился не только от тематики, но и от всей стилистической и строфической структуры оды. Но если для И. И. Дмитриева, автора сатиры на одописцев «Чужой толк», отказ от оды был одновременно и отрицанием общественно-значимой поэзии, то Карамзин стоял на иной позиции. Создавая «Песнь мира», он обратился к шиллеровской форме гимна, утверждавшего единство личности поэта (корифея) и идеализированного народа (хора).

Противопоставление внешнего и внутреннего миров, сложная диалектика их отношения составляют ту идейную основу, на которую опирается гражданская лирика Карамзина этих лет.

Однако между грубым, вещественным внешним миром и нравственным миром человеческой души есть пограничная сфера — это искусство. Искусство — место соприкосновения враждебных миров субъективного и объективного, человека и вещи.

Эта двойственность искусства определяет и двойную природу

поэтического стиля: чем поэт глубже погружается в субъект, в мир внутренних переживаний, тем безусловней, однозначнее его поэтический мир. Законами творчества становятся простота и правда. Сердечные переживания и добродетели вечны, понятны для всех и не допускают множественности точек зрения. Так, создавая балладу «Алина», Карамзин подчеркнул, что в ней нет никаких «украшений». Стихам, включенным в текст «Писем русского путешественника», предпослан разговор автора с дамой, сообщившей ему этот сюжет: «Дайте мне слово описать это приключение в русских стихах. — Охотно; но позвольте немного украсить. — Нимало. Скажите только, что от меня слышали. — Это слишком просто. — Истина не требует украшений». Разговор этот имеет, конечно, принципиальный характер: Карамзин считает художественную простоту, «невыдуманность» основой лирики. На этом строится и эстетика «отказов» — неупотребления привычных читателю художественных средств. На фоне читательского ожидания, очень активного, привыкшего к нормативной эстетике XVIII века, подобные «минус-приемы» (отказ от рифмы, отказ от метафор и т. п.) обладали высокой художественной значимостью. Проиллюстрируем это одним примером: в 1792 году Карамзин по просьбе «одной нежной матери» написал несколько эпитафий на могилу ее двухлетней дочери. Первая из них звучит так:

Небесная душа на небо возвратилась
К источнику всего, в объятия отца.
Пороком здесь она еще не омрачилась;
Невинностью своей пленяла все сердца.

Эпитафия написана в традиционной манере четырехстишия с перекрестными рифмами. Столь же традиционной является и композиция: эпитафия распадается на две части с переплетающейся двойной группировкой стихов — первый и второй могут быть композиционно противопоставлены третьему и четвертому, но существует и другая структурная антитеза: первый и третий — второму и четвертому. Не менее традиционна та сложная игра слов, которая устанавливает отношение между тремя понятийными центрами стихотворения: небо — умершая — земля. Устанавливается связь первого и второго, поскольку душа умершей получает эпитет «небесная». Этим первый и второй смысловые центры отождествляются, родственность их подчеркивается и тем, что «источник всего» — «отец». Следовательно, приход души в его объятия — лишь «возвращение». С земным миром семантические связи строятся по прямо противоположному принципу: «здесь» — это царство «порока», но «небесная душа» им «не омрачи-

лась». Композиция построена по всем правилам «остроумия» и должна производить на читателя впечатление глубокой продуманности. Когда Пушкин позже приветствовал «освобождение» поэзии «от италианских concetti и от французских Анти-thèses»,[1] он выступал именно против таких принципов стихотворного построения. Но Карамзин не остановился на этом тексте эпитафии и предложил еще несколько вариантов:

В объятиях земли покойся, милый прах!
Небесная душа, ликуй на небесах!

Этот вариант более лапидарный, упрощенный лишь в сравнении с первым: взятый сам по себе, он вполне удовлетворяет требованиям полноты, которые предъявлялись ему законами жанра. Он «достроен до конца». Двустишие для читателя, незнакомого с тем, что эпитафия первоначально представляла собой четырехстишие, было вполне завершенным и в данном случае «нормальной» формой. Завершенность подчеркивается парной рифмой. Что касается нарочитой продуманности композиции, то она даже стала более явной, поскольку антитеза первого и второго стихов приобрела обнаженный характер (земля и прах — небо и душа). Несмотря на краткость текста, он весь «построен»: отождествления «небесная душа — небо» и «прах — покойся» дополнены антитезами «покойся — ликуй», «прах — душа», «в объятиях земли — на небесах».

Однако Карамзин не прекратил экспериментов и предложил другие варианты текста:

Едва блеснула в ней небесная душа,
И к Солнцу солнцев всех поспешно возвратилась.

и:

И на земле она как ангел улыбалась:
Что ж там, на небесах?

Подчеркнутым принципом построения этих двустиший является неполнота, незаконченность. Это впечатление поддерживается отсутствием рифмы: «душа» — «возвратилась» и разным типом клаузулы — мужской и женской. Во втором двустишии Карамзин разрушает и ритмический изометризм стихов. Стих «что ж там, на небесах?» сознательно оборван. Любопытным примером нарочитого разрушения структуры является и следующее: в тексте 1792 года находим

[1] Пушкин, Полн. собр. соч., т. 13, Изд. АН СССР, 1937, с. 381.

характерную игру понятиями «к Солнцу солнцев всех». Позднее Карамзин упростил текст, отказавшись от словесной игры:

И к Солнцу всех миров поспешно возвратилась...

И венцом всей этой сложной работы является последний текст:

Покойся, милый прах, до радостного утра!

Художественное восприятие этого моностиха подразумевает в читателе ясное чувство того, что перед ним в качестве законченного стихотворного произведения выступает отрывок, казалось бы лишенный всех внешних признаков поэзии, кроме ямбических стоп; основная единица поэтического текста — стих — здесь может сопоставляться с другими стихами лишь негативно. Даже заложенная в стихе сложная конструкция идей, из которой делалось бы ясно, чтó значат слова «утро», «покойся» в данном их употреблении, — вынесена за скобки. Она находится вне данного текста. Но поскольку в этом, лишенном почти всех признаков поэзии, тексте читатель безошибочно чувствует поэзию, и очень высокую, автор тем самым утверждает мысль, что сущность поэзии вообще не в ее внешней структуре, что упрощение, обнажение текста поэтизирует его. Это отделяло лучшие лирические стихи Карамзина от салонной «простоты» поэзии Дмитриева, позволяя в нем видеть предшественника Жуковского. Идя по этому пути, Карамзин создал первые образцы русской лирической прозы и первое в русской поэзии стихотворение в прозе — посвящение ко второй книжке «Аглаи». Предшествующим опытом было создание песни цюрихского юноши, включенной в «Письма русского путешественника».

Но искусство не может отказаться и от изображения объекта, действительности, и вопрос этот неизменно волновал Карамзина. И как прозаик, и как поэт Карамзин неизменно обращался к изображению внешнего мира. Однако принципы художественного отображения действительности в его поэзии менялись.

«Письма русского путешественника», как и вся проза Карамзина этого периода, отмечены сильным влиянием эстетики Просвещения. Однако характерным для Карамзина было то, что, наряду с таким коренным вопросом, как отношение среды и человека в пределах изображаемого им мира, его всегда волновал вопрос отношения самого этого изображаемого мира к изображающему сознанию.

В течение первого периода творчества Карамзин решал антиномию объективного и субъективного следующим образом: предмет искусства во внешнем мире — то, что однотипно миру внутреннему,

Изображая другого человека, писатель интересуется не материальными условиями его существования, а страстями, душевными переживаниями. Так возникали произведения типа баллад «Раиса» и «Алина». По отношению к нормам классицизма оба эти произведения осуществляли требование «простоты» — в них речь шла не о государственных страстях, а о чувствах разъединенных любовников или покинутой женщины. Однако характер разработки темы в них различен: первая ближе к штюрмерскому варианту трактовки свободы чувства — изображаются колоссальные страсти на фоне бурного, ночного пейзажа. Описание чувств героини имеет характер нарочитого преувеличения:

С ее открытой белой груди,
Язвимой ветвями дерев,
Текут ручьи кипящей крови
На зелень влажныя земли.

(«Раиса»)

Тема безграничной свободы чувства, бросающего вызов религиозно-моральным нормам, найдет, в дальнейшем, свое развитие в романсе молодого человека из повести «Остров Борнгольм». «Законы», с которыми там сталкивается «сердце» героя, — это не политические законы и не деспотическая власть родителей, а нормы религии и морали. Но и они объявлены тираническими, поскольку ограничивают свободу, любовь и счастье человека.

В балладе «Алина» сюжет построен новеллистически, общий дух повествования приближается к «Бедной Лизе». Простота понимается здесь как бытовое правдоподобие. Одновременно нравственные нормы представляются чем-то безусловным и несомненным. Не случайно автор сообщает, что не украсил повествование ничем, кроме моральных рассуждений. Это убеждение в незыблемости морали, как основы личности человека, вообще было более свойственно Карамзину этих лет. Штюрмерская антитеза «свобода — мораль» его привлекала гораздо меньше, чем руссоистская: «нравственность человеческого сердца» — «безнравственность общественных институтов». На этой основе вырастал и своеобразный интерес к проблеме народа. Народ не противопоставлялся личности: он вместе с ней включался в мир простоты, безыскусственности и нравственности, которому противополагалась искусственность и ложность социальных институтов. А так как социальные институты воспринимались еще и как начало материальное (богатство, неравенство, жизненные блага), то «народ» воспринимался как категория антиматериальная (следовательно, не политическая, а этическая). Так создается тот идеал

патриархального народа, который нарисован в «Письмах русского путешественника»: «Счастливые швейцары! Всякий ли день, всякий ли час благодарите вы небо за свое счастие, живучи в объятиях прелестной натуры, под благодетельными законами братского союза, в простоте нравов и служа одному богу?» [1]

Стремление воспроизвести наивность народной поэзии наложило отпечаток на перевод «Графа Гвариноса», произведения, отмеченного тем увлечением фольклором, которое было характерно для передового европейского искусства конца XVIII века.

Однако вопрос проникновения поэта в мир действительности не всегда представлялся Карамзину столь простым и легким. По мере нарастания элементов субъективизма в мировоззрении писателя проблема эта начинала ему представляться все более сложной. Однако и теперь Карамзин не отказывался от этой задачи. Он лишь начал подчеркивать тот плюрализм возможных оценок, ту относительность, которая царит в мире действительности. Если мир этики — мир человеческого сердца — безусловен и однозначен, то мир жизни разнолик и изменчив. Но искусство не может отказаться от изображения жизни. Следовательно, в отличие от этики, искусство ведет нас в страну относительного, изменчивого, многоликого, — в страну игры. Истину можно требовать от моралиста, но не от художника. В этот период поэзия Карамзина двоится: на одном полюсе по-прежнему проникнутое этическим пафосом изображение жизни сердца, на другом — артистическая игра, находящаяся вне этических оценок.

В поэзии Карамзина, рядом с лирическим образом мудреца, укрывающегося от зла, господствующего в мире, от суеты государственных дел в незыблемую крепость частной жизни, уединения, дружбы, природы, в мир безусловных этических ценностей («Послание к Дмитриеву»), появляется другой авторский идеал: художник-артист, изменчивый, как Протей, отражающий в многоликой поэзии многообразие жизни.

Ты хочешь, чтоб Поэт всегда одно лишь мыслил,
Всегда одно лишь пел: безумный человек!
Скажи, кто образы Протеевы исчислил?
Таков питомец муз, и был и будет ввек.
Чувствительной душе не сродно ль изменяться?
Она мягка как воск, как зеркало ясна,
И вся Природа в ней с оттенками видна.

---

[1] Н. М. Карамзин, Избр. соч. в двух томах, т. 1, с. 214.

Нельзя ей для тебя *единою* казаться
В *разнообразии* естественных чудес.

(«Протей, или Несогласия стихотворца»)

Сама по себе эта концепция не только не означала отказа от изображения объективного мира, а скорее подразумевала, что именно многообразие жизни составляет предмет поэзии:

...что видит, то поет
И, всем умея быть, всем быть перестает.

(Там же)

Однако бесспорно, что элементы гносеологического релятивизма наложили на эти представления свою печать. Не случайно по мере нарастания субъективизма в мировоззрении Карамзина второй половины 1790-х годов представление об искусстве — игре все более устойчиво связывалось с идеями плюрализма, относительности истины. Это привело к решительной перестройке всей художественной системы. Прежде всего изменилось отношение к сюжету. Из рассказа о подлинных событиях («Алина») или о нравах героической патриархальной старины («Граф Гваринос») он превратился в игру воображения. Мерой достоинства становится не истина, а фантазия:

Мудрец, который знал людей,
Сказал, что мир стоит обманом;
Мы все, мой друг, лжецы:
Простые люди, мудрецы;
Непроницаемым туманом
Покрыта истина для нас.
Кто может вымышлять приятно,
Стихами, прозой, — в добрый час!
Лишь только б было вероятно.
Что есть поэт? искусный лжец:
Ему и слава и венец!

(«К бедному поэту»)

В этом же стихотворении впервые с такой прямотой прозвучало противопоставление «мечты и существенности» (Гоголь), которое позже станет одним из ведущих мотивов романтического искусства:

Мой друг! существенность бедна:
Играй в душе своей мечтами.

(Там же)

В «Илье Муромце» — «богатырской сказке», которую начал Карамзин в 1794 году, отношение к сюжету иное, чем в «Графе Гвариносе». Карамзин обращается к русскому эпосу без желания проникнуть в его объективную художественную атмосферу. Поэзия — не истина, а игра.

> *Ложь, Неправда,* призрак истины!
> будь теперь моей богинею.

Из этого вытекает антитеза: трагическая и непостижимая жизнь — утешающее, иллюзорное искусство.

> Ах! не всё нам реки слезные
> лить о бедствиях существенных!
> На минуту позабудемся
> в чародействе красных вымыслов!
>
> (*«Илья Муромец»*)

Сомнения Карамзина в постижимости истины сопровождались в середине и второй половине 1790-х годов призывами к уединению, уходу от «безумия» современников в мир частной жизни, покоя и искусства. Призыв этот окрашен в тона стоицизма и глубокого разочарования:

> А мы, любя дышать свободно,
> Себе построим тихий кров
> За мрачной сению лесов,
> Куда бы злые и невежды
> Вовек дороги не нашли,
> И где б, без страха и надежды,
> Мы в мире жить с собой могли,
> Гнушаться издали пороком...
>
> (*«Послание к Дмитриеву»*)

Стихи эти неоднократно истолковывались исследователями, в частности и автором этих строк, как призыв к антиобщественному индивидуализму, отказ писателя от социальной активности. В это представление следует ввести коррективы.

Перелом во взглядах Карамзина в эпоху якобинской диктатуры и последующие годы углубил отрицательное отношение писателя к политике, но не подорвал его веры в человека и его нравственное достоинство. Поэт хочет жить без «страха и надежды», уходит от «злых и невежд», но верит в добродетель и свободу и гну-

шается пороком. Все стихотворение пронизано этим этическим пафосом.

Герой гражданской лирики Карамзина 1793—1800 годов стоит вне государства. Власть не может принести ему счастья. Карамзина привлекла надгробная надпись кордовского халифа Абдуррахмана:

С престола я свергал сильнейших из царей,
Полвека богом слыл, был счастлив — десять дней.

(«Эпитафия калифа Абдулрамана»)

Однако поэт не стоит вне жизни людей, и его этические воззрения носят ярко выраженный общественный характер. Лирика этих лет создает идеал добродетельного стоика, не питающего надежд на личное счастье («Опытная Соломонова мудрость»), но проникнутого гордым чувством собственного достоинства и готового героически сопротивляться тирании. Субъективизм воззрений Карамзина не приводил его к примирению с деспотизмом. В мрачном 1795 году, когда политическая реакционность Екатерины II достигла апогея, он написал «Гектора и Андромаху» — апологию героя, идущего на смертный бой, а в 1797 году ответил на деспотизм Павла I стихотворением «Тацит», о тираноборческом характере которого мы уже говорили.

Эволюция общественно-политической поэзии Карамзина на этом не закончилась. Совершенно неожиданно в творчестве уже зрелого поэта появляется ода в традиционном для этого жанра оформлении. И если на вторую половину 1790-х годов приходится лишь одно стихотворение этого типа («Ода на случай присяги московских жителей его императорскому величеству Павлу Первому»), то в начале XIX века он создает три обширные торжественные оды («Освобождение Европы») и написанную традиционным одическим десятистишием «Песнь воинов». Если прибавить, что общее количество поэтических произведений Карамзина в эти годы было очень невелико (менее двух десятков стихотворений, включая альбомные «безделки», надписи, двустишия и т. п.), то мы вынуждены будем заключить, что одическая поэзия в творчестве этих лет занимает ведущее место. Это тем более заметно, что столь характерных для него лирико-гражданственных стихотворений он в эти годы не создает. Все это выглядит довольно неожиданно и нуждается в объяснении.

Несомненной является связь между изменением жанрово-стилистической природы ведущих произведений лирики Карамзина в начале XIX века и общей эволюцией воззрений писателя.

Конец XVIII века был временем подведения итогов. Радищев с горечью писал, что «сокрушен корабль, надежды несущий». Многое передумать пришлось и Карамзину. Отличительной, бросающейся в глаза чертой позиции писателя в эти годы было изменение его отношения к политике. Из литератора, демонстративно чуждающегося государственности, борьбы партий, Карамзин превратился в политического журналиста, издателя «Вестника Европы», в котором литературные материалы подчеркнуто занимали второе место. Теперь он — теоретик государственности, приступающий к работе над «Историей Государства Российского» и пишущий для правительства «записки» по вопросам общей государственной политики. С этим были связаны глубокие внутренние перемены: вера в утопические идеалы долгое время поддерживала его надежду на близость спасительного перерождения людей и заставляла с упованием глядеть в будущее. Однако и когда эта вера начала меркнуть, Карамзин еще не полностью был захвачен пессимизмом: он все еще возлагал надежды на добрую природу человека, цивилизацию, улучшение нравов, отказываясь считать внешнее принуждение организующей силой человеческого общества. Именно в тот период, когда при Павле I государственное насилие стало открытым принципом управления, Карамзин противопоставлял ему веру во внутреннее достоинство человека вплоть до признания за отдельной личностью права на героическое сопротивление насилию.

Для людей XVIII века, с их невниманием к экономической стороне общественной жизни, французская революция закончилась совсем не свержением Робеспьера, — только единовластие Бонапарта, позже — императора Наполеона убедило современников в том, что период парижских Катонов и Брутов сменился временем Цезарей и Августов. Именно с этого момента революция начала восприниматься многими врагами старого порядка как неудачная и напрасная.

Карамзин принудил себя к трезвому отречению от всех утопий и всех надежд. Именно в это время Карамзин окончательно убеждается в злой природе человека («Моя исповедь») и, доводя эту идею до логического конца, приходит к выводу о необходимости политики — внешнего, насильственного управления людьми ради их же собственного блага. Если в начале 1790-х годов он включил в «Письма русского путешественника» стихотворное описание «чудовища, которое называется Политикою», то теперь политические вопросы живо интересуют его самого. При этом следует иметь в виду семантику слова «политика». Заимствуя для характеристики деятельности Ришелье стихи из «Генриады» Вольтера, Карамзин имел

в виду именно государственную политику, деятельность правителя, основанную не на морали, а на «интересах». Теперь он признает только такую государственную деятельность. Идеалом становится политик-практик, цинически включающий в свои расчеты и глупость, и злость людей, — Бонапарт, сильной рукой утихомиривающий море эгоистических страстей. Политика оправдывается не моралью, а силой и успехом. Отрицательное отношение сохраняется лишь к тому значению слова «политика», которое появилось после революции во Франции и означало политическую борьбу партий и общественных групп. В ней Карамзин видит лишь борьбу «эгоистических воль» и ухищрение личного себялюбия. Даже бескорыстные порывы благородных утопистов, вроде Марфы Посадницы, на деле способствуют лишь «интересам» «бояр корыстолюбивых».

Это определило и отрицательное отношение Карамзина к либеральным планам правительства Александра I, и его паническую боязнь столкновения России с Наполеоном, которая сквозит в «Записке о древней и новой России». Карамзин прозорливо предчувствовал неизбежность войны с Францией и, невысоко ставя государственные качества Александра I, очень этого боялся. Обаяние Наполеона означало для Карамзина поворот от XVIII века — века систем и утопий — к эпохе политической реальности, освобожденной от иллюзий и фраз. В этом, как и в отношении к Наполеону, Карамзин был близок к настроениям Гете в ту же эпоху.

Поворот к действительности приводил Карамзина к своеобразному «реализму» в политике, пониманию роли «интересов» в поступках людей.

«Аристократы, Демократы, Либералисты, Сервилисты! Кто из вас может похвалиться искренностию? Вы все Авгуры, и боитесь заглянуть в глаза друг другу, чтобы не умереть со смеху. Аристократы, Сервилисты хотят старого порядка, ибо он для них выгоден. Демократы, Либералисты хотят нового беспорядка, ибо надеются им воспользоваться для своих личных выгод ... Речи и книги аристократов убеждают Аристократов; а другие, смотря на их великолепие, скрежещут зубами, но молчат или не действуют, пока обузданы законом или силою: вот неоспоримое доказательство в пользу Аристократии: палица, а не книга! — Итак, сила выше всего? Да, всего, кроме бога, дающего силу!» [1]

Эта позиция подразумевала и неприятие либерализма, как правительственного, так и антиправительственного, и отрицание реак-

---

[1] Неизданные сочинения и переписка Н. М. Карамзина, ч. I, СПб., 1862, с. 194—195.

ционного утопизма тех, кто хотел вернуть Европу к предреволюционному порядку. В этой позиции были зерна историзма, и не случайно она привела Карамзина к труду историка.

В этих условиях Карамзин и обратился к политической лирике.

Это была уже не поэзия гражданских добродетелей, воспевающая благородство внутреннего мира человека. Карамзина привлекает внешняя по отношению к человеческой личности сила — государственная власть. Именно ее он, разочаровавшись в человеке, воспевает и поэтизирует. Это приводит к тому, что гражданское лирическое стихотворение свободной формы заменяется традиционной одой.

Обращение Карамзина к миру политики, внешнему по отношению к душе человека, изменило всю художественную систему. Рядом с торжественной одой появился другой, не менее чуждый для предшествующего творчества Карамзина жанр — сатирическая басня («Филины и соловей, или Просвещение»). Однако, защищая идею сильной власти, Карамзин был далек от той мажорной веры в государственность, которая характеризовала, например, оды Ломоносова. Его политическая поэзия не свободна от скептической и пессимистической окраски. То, что представляется Карамзину прекрасным, он считает невозможным, а то, что возможно, рисуется ему отнюдь не в радужном свете.

Проповедь сильной власти была продиктована неверием в человека. Именно это скептическое отношение к добродетели — прекрасной, но зыбкой мечте — продиктовало ему стихотворение «К Добродетели». Любопытно, что по форме оно представляет собой традиционную оду. Прежде Карамзин придавал гражданственной поэзии структуру интимной лирики. Теперь он отливает лирические стихи в «государственные» формы. Но и политический порядок — антитеза внутреннему миру человека — не представляется Карамзину привлекательным. Он издает политический журнал, размышляет с трезвостью государственного деятеля и редким умением охватить в единой картине огромную сумму пестрых фактов о современной жизни Европы и России, дает советы царю, проповедует политический реализм и — не может преодолеть чувства, что политическая жизнь не касается самых коренных вопросов бытия человека. Не случайно рядом с программными политическими одами он пишет в 1802 году в форме оды «Гимн глупцам». Политический организм создан глупцами и для глупцов. Государство может лишить счастья человека с умом и сердцем, осчастливить же оно может только дурака.

Глупцы Нерону не опасны:
Нерон не страшен и для них...

Эти окрашенные горьким скепсисом стихи свидетельствуют, что Карамзин — автор политических од — отнюдь не превратился в восторженного одописца.

Карамзин скоро убедился, что идея государственной власти, цинического в своем практицизме политического расчета, не может стать для него ни общественным идеалом, ни источником поэтического вдохновения. В поисках положительного начала Карамзин обратился к иному истолкованию проблемы государственности. Государство начало привлекать его не как форма политической власти, а как вековая, стихийно сложившаяся структура национального организма. Разочаровавшись в философских системах, он обратился к исторической реальности народной жизни. Так родился замысел «Истории Государства Российского». Не анализируя подробно политической концепции этого огромного по размеру и по значению произведения, отметим, что историческая жизнь русской государственности таила в себе для Карамзина источник глубочайших поэтических эмоций. В этом смысле «История» завершила сложную борьбу поэзии и прозы в творчестве писателя. Отказавшись от лирики и не найдя удовлетворения в одической поэзии, Карамзин обнаружил для себя источник поэтического вдохновения в том, чтобы слить свое «я» с русской историей, превратить свое повествование в огромную эпическую поэму в прозе. «Историю Государства Российского» можно сопоставить с гнедичевским переводом «Илиады»: эти два колоссальных эпических труда, занявших многие годы жизни своих создателей, подводили итог литературе XVIII века, предпушкинской эпохе, впитав в себя огромное богатство дум, чувств, исторического и культурного опыта. «История Государства Российского» в одинаковой мере венчает путь Карамзина-прозаика и Карамзина-поэта. Поэзия Карамзина неизменно развивалась в проекции на его прозу. «История Государства Российского» в этом отношении новый этап. Поэзия и проза перестали быть членами парной антитезы и слились в синтетическом единстве. Вместо поэзии, стремящейся к прозе, и прозы, которая сближается с поэзией, возник единый замысел грандиозной эпической поэмы в прозе. Не случайно Карамзин обратился к тому периоду русской литературы, который еще не знал ни понятия прозы, ни понятия поэзии в их современном значении, избрав древнерусское летописание не только как источник исторических материалов, но и в качестве образца для литературного подражания. Пушкин, называя Карамзина последним

русским летописцем, имел в виду особую, очень характерную черту во взглядах и художественной позиции автора «Истории Государства Российского». Усвоив отрицательное отношение к историко-политическому мышлению XVIII века с его подходом к истории как к иллюстрации общественно-экономических, государственных и моральных доктрин, Карамзин нашел в летописи образец совершенно иной исторической прозы. Его идеалом стал летописец, созерцающий, но не философствующий, который произносит моральный суд над действиями людей, но не над историей, общий смысл которой остается недоступным человеку и оценке не подлежит. Карамзин увидел общее между отношением историка (и его образца — летописца) к своему материалу и эпического певца к исполняемым им произведениям. Художник такого типа не является творцом в новейшем понимании. Он растворяет свою личность в воссоздаваемом им огромном полотне. Даже когда его субъективность проступает, она не похожа на лиризм поэта-романтика. Оценки — одобрение или гневное порицание — историк-летописец или эпический поэт выносят не от своего имени, а от лица традиции, обычая, веры, народа. Поэт отдает свой голос чему-то бесконечно более значительному, чем он сам.

Эта поэзия эпической стихийности захватила Карамзина, и он решил, что наиболее полное ее выражение он сможет осуществить в эпически-образном полотне, написанном как поэма в прозе. Сколь ни глубоко различие между воззрениями Карамзина и Гнедича, которые были скорей антагонистами, чем единомышленниками, в век легкой поэзии их замыслы получали определенное типологическое сходство. На них вырастала та традиция русской эпической прозы — поэзии, которая усвоила поэзию патриархальности и представление об истории как стихийном потоке, не имеющем понятных человеку целей, и позже была представлена «Тарасом Бульбой» Гоголя и «Войной и миром» Толстого.

Без «Истории Государства Российского» нельзя понять смысл общего движения поэтического творчества Карамзина.

В последние годы жизни Карамзин уже не воспринимался современниками как поэт в привычном значении этого слова.

Поэтическая деятельность его затухала. Он писал стихи лишь «к случаю», для домашнего употребления. Русская поэзия 1800—1810-х годов, многими корнями уходившая в творчество Карамзина 1790-х годов, развивалась теперь без него.

Карамзин не создал поэтических произведений, художественное значение которых пережило бы его время. Более литератор, чем поэт, он весь был в своей эпохе. Поэзия его мало что говорит чув-

ству современного читателя, но без нее нельзя понять ни поэзии Жуковского и Батюшкова, ни лирики молодого Пушкина.

Не создав выдающихся по художественной ценности стихотворений, Карамзин «очинил перья» последующим поэтам: именно в его творчестве были намечены те принципы лиризма, которые разрабатывались в дальнейшем Жуковским, те представления о высоком значении культуры языка для национальной культуры и об определяющем влиянии «легкой поэзии» на язык, которые свойственны были Батюшкову и «арзамасцам». Наконец, именно Карамзин поставил вопрос о соотношении лирического и эпического начал в поэзии, о создании баллады, и бытовой и народно-поэтической, подготовив тем и баллады Жуковского, и, в конечном итоге, думы Рылеева, фактическое — конечно, не идейное — содержание которых черпалось также из творчества Карамзина, но уже не поэта, а историка.

Однако, понимая значение Карамзина как одного из родоначальников, стоящих у истоков русской поэзии начала XIX века (подчеркивать эту сторону вопроса приходится потому, что значение Карамзина долгое время многими исследователями, в том числе и пишущим эти строки, преуменьшалось), не следует забывать, что само продолжение традиций Карамзина чаще всего протекало как их преодоление, борьба. И то, что борьба эта была напряженной, растянулась на многие годы и затронула самый широкий круг литераторов, — лучшее доказательство значительности наследия Карамзина в истории русской поэзии.

Кроме вопроса собственно художественного достоинства при оценке лирики Карамзина необходимо иметь в виду и другое — роль его как стихотворца в истории русской образованности, воспитании читательской аудитории. Культурное значение поэзии Карамзина, в частности роль ее в истории русского языка, трудно переоценить.

Это значение Карамзина как цивилизатора живо ощущалось современниками, еще помнившими разницу между массовым дворянским читателем 1780-х и 1810-х годов.

Стихи Карамзина имели для современников еще одну грань, нами уже не воспринимаемую, — они связывались с личностью поэта, его гражданской позицией. Карамзин был поэтом не только потому, что он писал стихи. Поэтический дар его, может быть, даже с большей силой проявлялся в прозе, в умении находить поэтическое, превращать в поэзию сюжеты, которые до него никто не решался рассматривать с этой стороны — от любви крестьянской девушки Лизы до истории русской государственности. Именно то, что Карам-

зин в своей прозе был поэтом, и то, что он был в первую очередь прозаиком, позволило ему сделать такой вклад в историю русской поэзии.

Культ «безделок», салонные интонации, жеманство, старающееся прослыть простотой, романсная чувствительность сближает поэзию Карамзина с творчеством других поэтов его школы и его эпохи. Но смелый выход Карамзина за рамки литературных норм, поэтизация прозы и прозаизм поэзии предваряют литературные искания пушкинской эпохи.

Ю. Лотман

СТИХОТВОРЕНИЯ

1

Часто здесь в юдоли мрачной
Слезы льются из очей;
Часто страждет и томится,
Терпит много человек.

Часто здесь ужасны бури
Жизни океан мятут;
Ладия наша крушится
Часто среди ярых волн.

Наслаждаясь, унываем;
Веселяся, слезы льем.
Что забава, то причина
Новая крушить себя.

На кусту здесь Филомела
Нежны песенки поет;
Ей внимая, воздыхаешь,
Вспомня, сколько беден ты.

Чем во внешности утехи
Чаще будешь ты искать,
Тем ты более пострадешь,
В жизни горечи найдешь.

Что в том нужды, что страдаешь
Ты почасту от себя?
Ты, страдая, смело можешь
Звать несчастливым тебя.

Но ты должен постараться
Скорби уменьшать свои,
Сколь возможешь утешаться,
Меньше мучить сам себя.

Впредь не думай, что случиться
Может страшного тебе;
Коль случилось, ободряйся;
Что прошло, позабывай.

Не ликуй ты при забавах,
Чтоб не плакать после их;
Чем кто более смеется,
Тем вздыхает чаще тот.

Ни к чему не прилепляйся
Слишком сильно на земле;
Ты здесь странник, не хозяин:
Всё оставить должен ты.

Будь уверен, что здесь счастье
Не живет между людей;
Что́ здесь счастьем называют,
То едина счастья тень.

1787

2. ⟨ ИЗ ПИСЬМА К И. И. ДМИТРИЕВУ ⟩

Но что же скажем мы о времени прошедшем?
Какими радостьми, мой друг, питались в нем?
Мы *жили, жили* мы — и более не скажем,
И более сказать не можем ничего.
Уже наш шар земной едва не четверть века
Свершает круглый путь, вкруг солнца обходя,
Как я пришел в сей мир, иль, попросту, родился;
Но всё, мой друг, мне всё казалось время сном —
Бывали страшны сны, бывали и приятны;
Но значат ли что сны? Не суть ли только дым?

1787

3

Счастье истинно хранится
Выше звезд, на небесах;
Здесь живя, ты не возможешь
Никогда найти его.

Есть здесь счастие едино,
Буде так сказать могу,
Коим в мире обладая,
Лучшим обладаешь ты.

Верна дружба! ты едина
Есть блаженство на земле;
Кто тобою усладился,
Тот недаром в мире жил.

Небеса благоволили
Смертным дружбу даровать,
Чтоб утешить их в несчастьи,
Сердце бедных усладить.

Буди ты благословенна,
Дружба, дар святый небес!
Буди жизни услажденьем
Ты моей здесь на земле!

Но и дружбе окончаться
Время некогда придет;
Сама дружба нас заставит
После слезы проливать.

Время всем нам разлучиться
Непременно притечет;
Час настанет, друг увянет,
Яко роза в жаркий день.

Всё исчезнет, что ни видишь,
Всё погибнет на земле;
Самый мир сей истребится,
Пеплом будет в некий день.

1787

4. ПОЭЗИЯ

(сочинена в 1787 г.)

> Die Lieder der göttlichen Harfenspieler
> schallen mit Macht, wie beseelend.
>
> *Klopstok* [1]

Едва был создан мир огромный, велелепный,
Явился человек, прекраснейшая тварь,
Предмет любви творца, любовию рожденный;
Явился — весь сей мир приветствует его,
В восторге и любви, единою улыбкой.
Узрев собор красот и *чувствуя себя,*
Сей гордый мира царь почувствовал и бога,
Причину бытия — толь живо ощутил
Величие творца, его премудрость, благость,
Что сердце у него в гимн нежный излилось,
Стремясь лететь к отцу... Поэзия святая!
Се ты в устах его, в источнике своем,
В высокой простоте! Поэзия святая!
Благословляю я рождение твое!

Когда ты, человек, в невинности сердечной,
Как роза цвел в раю, Поэзия тебе
Утехою была. Ты пел свое блаженство,
Ты пел творца его. Сам бог тебе внимал,
Внимал, благословлял твои святые гимны:
Гармония была душою гимнов сих —
И часто ангелы в небесных мелоди́ях,
На лирах золотых, хвалили песнь твою.

Ты пал, о человек! Поэзия упала;
Но дщерь небес еще сияла лепотой,
Когда несчастный, вдруг раскаяся в грехе,
Молитвы воспевал — сидя на бережку
Журчащего ручья и слезы проливая,
В унынии, в тоске тебя воспоминал,
Тебя, эдемский сад! Почасту мудрый старец,
Среди сынов своих, внимающих ему,

---

[1] Песни божественных арфистов звучат как одухотворенные. *Клопшток.* — *Ред.*

Согласно, важно пел таинственные песни
И юных научал преданиям отцов.
Бывало иногда, что ангел ниспускался
На землю, как эфир, и смертных наставлял
В Поэзии святой, небесною рукою
Настроив лиры им —

Живее чувства выражались,
Звучнее песни раздавались,
Быстрее мчалися к творцу.

Столетия текли и в вечность погружались —
Поэзия всегда отрадою была
Невинных, чистых душ. Число их уменьшалось;
Но гимн царю царей вовек не умолкал —
И в самый страшный день, когда пылало небо
И бурные моря кипели на земли,
Среди пучин и бездн, с невиннейшим семейством
(Когда погибло всё) Поэзия спаслась.
Святый язык небес нередко унижался,
И смертные, забыв великого отца,
Хвалили вещество, бездушные планеты!
Но был избранный род, который в чистоте
Поэзию хранил и ею просвещался.
Так славный, мудрый бард, древнейший из певцов,
Со всею красотой священной сей науки
Воспел, как мир истек из воли божества.
Так оный муж святый, в грядущее проникший,
Пел миру часть его. Так царственный поэт,
Родившись пастухом, но в духе просвещенный,
Играл хвалы творцу и песнию своей
Народы восхищал. Так в храме Соломона
Гремела богу песнь!

Во всех, во всех странах Поэзия святая
Наставницей людей, их счастием была;
Везде она сердца любовью согревала.
Мудрец, Натуру знав, познав ее творца
И слыша глас его и в громах и в зефирах,
В лесах и на водах, на арфе подражал

Аккордам божества, и глас сего поэта
Всегда был божий глас!

Орфей, фракийский муж, которого вся древность
Едва не богом чтит, Поэзией смягчил
Сердца лесных людей, воздвигнул богу храмы
И диких научил всесильному служить.
Он пел им красоту Натуры, мирозданья;
Он пел им тот закон, который в естестве
Разумным оком зрим; он пел им человека,
Достоинство его и важный сан; он пел,

И звери дикие сбегались,
И птицы стаями слетались
Внимать гармонии его;
И реки с шумом устремлялись,
И ветры быстро обращались
Туда, где мчался глас его.

Омир в стихах своих описывал героев —
И пылкий юный грек, вникая в песнь его,
В восторге восклицал: *я буду Ахиллесом!*
Я кровь свою пролью, за Грецию умру!
Дивиться ли теперь геройству Александра?
Омира он читал, Омира он любил. —
Софокл и Эврипид учили на театре,
Как душу возвышать и полубогом быть.
Бион и Теокрит и Мосхос воспевали
Приятность сельских сцен, и слушатели их
Пленялись красотой Природы без искусства,
Приятностью села. Когда Омир поет,
Всяк воин, всяк герой; внимая Теокриту,
Оружие кладут — герой теперь пастух!
Поэзии сердца, все чувства — всё подвластно.

Как Сириус блестит светлее прочих звезд,
Так Августов поэт, так пастырь Мантуанский
Сиял в тебе, о Рим! среди твоих певцов.
Он пел, и всякий мнил, что слышит глас Омира;
Он пел, и всякий мнил, что сельский Теокрит
Еще не умирал или воскрес в сем барде.
Овидий воспевал начало всех вещей,

Златый блаженный век, серебряный и медный,
Железный, наконец, несчастный, страшный век,
Когда гиганты, род надменный и безумный,
Собрав громады гор, хотели вознестись
К престолу божества; но тот, кто громом правит,
Погреб их в сих горах.[1]

Британия есть мать поэтов величайших.
Древнейший бард ее, Фингалов мрачный сын,
Оплакивал друзей, героев, в битве падших,
И тени их к себе из гроба вызывал.
Как шум морских валов, носяся по пустыням
Далеко от брегов, уныние в сердцах
Внимающих родит, — так песни Оссиана,
Нежнейшую тоску вливая в томный дух,
Настраивают нас к печальным представленьям;
Но скорбь сия мила и сладостна душе.
Велик ты, Оссиан, велик, неподражаем!

Шекспир, Натуры друг! Кто лучше твоего
Познал сердца людей? Чья кисть с таким
искусством
Живописала их? Во глубине души
Нашел ты ключ ко всем великим тайнам рока
И светом своего бессмертного ума,
Как солнцем, озарил пути ночные в жизни!
«Все башни, коих верх скрывается от глаз
В тумане облаков; огромные чертоги
И всякий гордый храм исчезнут, как мечта, —
В течение веков и места их не сыщем», —
Но ты, великий муж, пребудешь незабвен![2]

---

[1] Сочинитель говорит только о тех поэтах, которые наиболее трогали и занимали его душу в то время, как сия пиеса была сочиняема.

[2] Сам Шекспир сказал:

The cloud cap'd towers, the gorgeous palaces,
The solemn temples, the great globe itselfe,
Yea, all which it inherits, shall dissolve,
And, like the baseless fabric of a vision,
Leave not a wreck behind.

Какая священная меланхолия вдохнула в него сии стихи?

Мильтон, высокий дух, в гремящих страшных песнях
Описывает нам бунт, гибель Сатаны;
Он душу веселит, когда поет Адама,
Живущего в раю; но голос ниспустив,
Вдруг слезы из очей ручьями извлекает,
Когда поет его, подпадшего греху.

О Йонг, несчастных друг, несчастных утешитель!
Ты ба́льзам в сердце льешь, сушишь источник слез,
И, с смертию дружа, дружишь ты нас и с жизнью!

Природу возлюбив, Природу рассмотрев
И вникнув в круг времен, в тончайшие их тени,
Нам Томсон возгласил Природы красоту,
Приятности времен. Натуры сын любезный,
О Томсон! ввек тебя я буду прославлять!
Ты выучил меня Природой наслаждаться
И в мрачности лесов хвалить творца ее!

Альпийский Теокрит, сладчайший песнопевец!
Еще друзья твои в печали слезы льют —
Еще зеленый мох не виден на могиле,
Скрывающей твой прах! В восторге пел ты нам
Невинность, простоту, пастушеские нравы
И нежные сердца свирелью восхищал.
Сию слезу мою, текущую толь быстро,
Я в жертву приношу тебе, Астреин друг!
Сердечную слезу, и вздох, и песнь поэта,
Любившего тебя, прими, благослови,
О дух, блаженный дух, здесь в Геснере блиставший! [1]

Несяся на крылах превыспренних орлов,
Которые певцов божественныя славы
Мчат в вышние миры, да тему почерпнут
Для гимна своего, певец избранный Клопшток
Вознесся выше всех, и там, на небесах,
Был тайнам научен, и той великой тайне,
Как бог стал человек. Потом воспел он нам
Начало и конец Мессииных страданий,

[1] Сии стихи прибавлены после.

Спасение людей. Он богом вдохновен —
Кто сердцем всем еще привязан к плоти, к миру,
Того язык немей, и песней толь святых
Не оскверняй хвалой; но вы, святые мужи,
В которых уже глас земных страстей умолк,
В которых мрака нет! вы чувствуете цену
Того, что Клопшток пел, и можете одни,
Во глубине сердец, хвалить сего поэта!
Так старец, отходя в блаженнейшую жизнь,
В восторге произнес: *о Клопшток несравненный!*[1]
Еще великий муж собою красит мир —
Еще великий дух земли сей не оставил.
Но нет! он в небесах уже давно живет —
Здесь тень мы зрим сего священного поэта.

О россы! век грядет, в который и у вас
Поэзия начнет сиять, как солнце в полдень.
Исчезла нощи мгла — уже Авроры свет
В **** блестит, и скоро все народы
На север притекут светильник возжигать,
Как в баснях Прометей тек к огненному Фебу,
Чтоб хладный, темный мир согреть и осветить.

Доколе мир стоит, доколе человеки
Жить будут на земле, дотоле дщерь небес,
Поэзия, для душ чистейших благом будет.
Доколе я дышу, дотоле буду петь,
Поэзию хвалить и ею утешаться.
Когда ж умру, засну и снова пробужусь, —

Тогда, в восторгах погружаясь,
И вечно, вечно наслаждаясь,
Я буду гимны петь творцу,
Тебе, мой бог, господь всесильный,
Тебе, любви источник дивный,
Узрев там всё лицем к лицу!

1787

[1] Я читал об этом в одном немецком журнале.

5. ⟨ ИЗ ПИСЬМА К И. И. ДМИТРИЕВУ ⟩

Любовник Флоры не играет,
Не резвится у нас в лугах;
Борей шумит, древа качает —
А мы сидим в своих домах.

18 мая 1788

6. К Д ⟨ МИТРИЕВУ ⟩

«Многие барды, лиру настроив,
Смело играют, поют;
Звуки их лиры, гласы их песней
Мчатся по рощам, шумят.

Многие барды, тоны возвысив,
Страшные битвы поют;
В звуках их песней слышны удары,
Стон пораженных и смерть.

Многие барды, тоны унизив,
Сельскую радость поют —
Нравы невинных, кротких пастушек,
Вздохи, утехи любви.

Многие барды в шумном восторге
Нам воспевают вино,
Всех призывая им утоляти
Скуку, заботы, печаль.

Все ли их песни трогают сердце,
Душу приводят в восторг?
Все ли Омиры, Геснеры, Клейсты?
Где Анакрéон другой?

Мало осталось бардов великих!» —
Так воспевая, вздохнул;
Слезы из сердца тихо катятся;
Лира упала из рук.

Быстро зефиры с Невского брега,
Быстро несутся ко мне —
Веют — вливают сладкие песни,
Нежные песни в мой слух...

Я восхищаюсь! — В радости сердца
Громко взываю, пою:
«Древние барды дух свой влияли
В нового барда Невы!»

17 ноября 1788

7. ГОСПОДИНУ Д⟨МИТРИЕВУ⟩ НА БОЛЕЗНЬ ЕГО

Болезнь есть часть живущих в мире;
Страдает тот, кто в нем живет.
В стране подлунной всё томится;
В юдоли сей покоя нет.

Но тем мы можем утешаться,
Что нам не век в сем мире жить;
Что скоро, скоро мы престанем
Страдать, стенать и слезы лить.

В страны блаженства вознесемся,
Где нет болезни, смерти нет.
Тогда, мой друг, тогда узнаем,
Почто страдали столько лет.

Тогда мы, светом озаряся,
Падем, поклонимся творцу;
В восторге слезы проливая,
Воскликнем к нашему отцу:

«Ты благ, премудр, могущ чудесно!
Ты всё во благо превратил,
Что нам великим злом казалось;
Ты нас к блаженству сотворил!»

1788

8. ВЕСЕННЯЯ ПЕСНЬ МЕЛАНХОЛИКА

Зима свирепая исчезла,
Исчезли мразы, иней, снег;
И мрак, всё в мире покрывавший,
Как дым рассеялся, исчез.

Не слышим рева ветров бурных,
Страшивших странника в пути;
Не видим туч тяжелых, черных,
Текущих с севера на юг.

Весна с улыбкою приходит;
За нею следом мир течет.
На персях нежныя Природы
Играет, резвится Зефир.

Дождь тихий с неба к нам лиется
И всё творение живит;
В полях все травы зеленеют,
И луг цветами весь покрыт.

Уже фиалка распустилась,
Смиренно под кустом цветет,
Амброзией питает воздух;
Не ждя похвал, благотворит.

На ветвях птички воспевают
Хвалу всещедрому творцу;
Любовь их песни соглашает,
Любовь сердца их веселит.

Овечки кроткие гуляют
И щиплют травку на лугах;
В сердцах любовь к творцу питают —
Без слов его благодарят.

Пастух играет на свирели,
Лежа беспечно на траве;
Питаясь духом благовонным,
Он хвалит красоту весны.

Везде, везде сияет радость,
Везде веселие одно;
Но я, печалью отягченный,
Брожу уныло по лесам.

В лугах печаль со мною бродит.
Смотря в ручей, я слезы лью;
Слезами воду возмущаю,
Волную вздохами ее.

Творец премудрый, милосердый!
Когда придет весна моя,
Зима печали удалится,
Рассеется душевный мрак?

1788

9. ВОЕННАЯ ПЕСНЬ

В чьих жилах льется кровь героев,
Кто сердцем муж, кто духом росс —
Тот презри негу, роскошь, праздность,
Забавы, радость слабых душ!

Туда, где знамя брани веет,
Туда, где гром войны гремит,
Где воздух стонет, солнце меркнет,
Земля дымится и дрожит;

Где жизнь бледнеет и трепещет;
Где злобы, клятвы, ада дщерь,
Где смерть с улыбкой пожирает
Тьмы жертв и кровь их жадно пьет, —

Туда спеши, о сын России!
Разить бесчисленных врагов!
Как столп огня, палящий нивы,
Теки, стремись по их рядам!

Перуном будь, и стрелы грома
Бросай на них и всех губи!

Да в буре гнева глас промчится:
Умри, умри, России враг!

Губи! — Когда же враг погибнет,
Сраженный храбростью твоей,
Смой кровь с себя слезами сердца:
Ты ближних, братий поразил!

1788

10. АНАКРЕОНТИЧЕСКИЕ СТИХИ А. А. П⟨ЕТРОВУ⟩

Зефир прохладный веет,
И, Флору оставляя,
Зефир со мной играет,
Меня утешить хочет;
Печаль мою развеять
Намерен непременно.
Зефир! напрасно мыслишь
Меня развеселити,
Мне плакать не давая!
Ты в сердце не проникнешь,
Моя же горесть в сердце.
Но если ты намерен
Мне службу сослужити,
Лети, Зефир прекрасный,
К тому, который любит
Меня любовью нежной;
Лети в деревню к другу;
Найдя его под тенью
Лежащего покойно,
Ввей в слух его тихонько
Чтó ты теперь услышишь:

«Расставшися с тобою,
Чего не думал сделать?
Рассматривал я присму,
Желая то увидеть,
Что Нютонову душу
Толико занимало,

Что Нютоново око
В восторге созерцало.
Но, ах! мне надлежало
Тотчас себе признаться,
Что Нютонова дара
Совсем я не имею;
Что мне нельзя проникнуть
В состав чудесный света,
Дробить лучей седмичных
Великого светила. —
Я Нютона оставил.

Читая филосо́фов,
Я вздумал философом
Прослыть в ученом свете;
Схватив перо, бумагу,
Хотел писать я много
О том, как человеку
Себя счастливым сделать
И мудрым быть в сей жизни.
Но, ах! мне надлежало
Тотчас себе признаться,
Что дух сих философов
Во мне не обитает;
Что я того не знаю,
О чем писать намерен. —
Вздохнув, перо я бросил.

Шатаяся по рощам,
Внимая Филомеле,
Я Томсоном быть вздумал
И петь златое лето;
Но, ах! мне надлежало
Тотчас себе признаться,
Что Томсонова гласа
Совсем я не имею,
Что песнь моя несносна. —
Вздохнув, молчать я должен.

Теперь брожу я в поле,
Грущу и плачу горько,

Почувствуя, как мало
Талантов я имею».

Зефир, Зефир прекрасный!
Лети в деревню к другу;
Найдя его под тенью
Лежащего покойно,
Ввей в слух его тихонько
Что́ ты теперь услышал.

1788 (?)

11. ГИМН[1]

(Перевод с английского)

Четыре времена, в пременах ежегодных,
Ничто иное суть, как *в разных видах* бог.
Вращающийся год, отец наш всемогущий,
Исполнен весь тебя. Приятною весной
Повсюду красота твоя, господь, сияет,
И нежность и любовь твоя везде видна.
Краснеются поля, бальзамом воздух дышит,
И эхо по горам разносится, звучит;
С улыбкою леса главу свою подъемлют —
Веселием живут все чувства и сердца.
Грядет к нам в летних днях твоя, о боже! слава;
Повсюду на земле блистает свет и жар;
От солнца твоего лиется совершенство
На полнящийся год; и часто к нам твой глас,
Свод неба потряся, вещает в страшных громах;
И часто на заре, в средине жарких дней,
В тенистом вечеру, по рощам и потокам,
Приятно шепчет он в прохладном ветерке.
В обильной осени твоя безмерна благость
И милость без конца бывает нам явна,
Всеобще празднество для тварей учреждая.
Зимою страшен ты! Там бури, облака
Свивая вкруг себя, гоняя вьюгу вьюгой,

[1] Сим гимном заключает Томсон свою поэму «Сезон».

В величественной тьме на вихрях вознесясь,
Ты мир благоговеть со страхом заставляешь;
Натуру всю смирит шумливый твой Борей!

О та́инственный круг! Какой великий Разум,
Какую силу в сем глубоко ощутишь!
Простейший оборот, но благо учрежденный, —
Столь мудро и добро, добро для тварей всех, —
Столь неприметно тень в другую переходит,
И в целом, вместе всё так стройно, хорошо,
Что всякий *новый вид* вновь сердце восхищает.
Но часто человек, в безумии бродя,
Совсем не зрит тебя, твоей руки всесильной,
Чертящей в тишине безмолвных сфер пути
И действующей в сей сокрытой, тайной бездне,
Откуду чрез пары те блага шлешь ты к нам,
Которые весну всегда обогащают, —
Руки, которая огнем палящий день
Из солнца прямо к нам на землю извергает,
Питает тварей всех и бури мещет вниз;
Которая — когда приятная премена
Является везде на радостной земле —
Восторгом движет все пружины жизни в мире.

Внимай Натура вся! и всё, что в ней живет,
Соединись под сим пространным храмом неба,
Усердием горя воспеть всеобщий гимн!
Приятные певцы, прохладные Зефиры,
Да веете тому, чей дух дыхает в вас!
Вещайте вы о нем во тьмах уединенных,
Где со́сна на горе, еда́ва качая верх,
Священных ужасов мрак теней исполняет!
И вы, которых рев слух издали разит
И весь смятенный мир приводит в ужас,
в трепет!
Возвысьте к небесам свою бурливу песнь!
Поведайте, кто вас толь грозно разъяряет!
Журчите вы, ручьи, трепещущий поток,
Журчите песнь ему, хвалу его гласите,
Вещайте мне сию сладчайшую хвалу,
Когда я в тишине глубоко размышляю!
Вы, реки быстрые, кипящи глубины —

Кротчайшая вода, блестящим лавиринфом
Текущая в лугах, — великий Океан,
Мир тайный, мир чудес, чудес неисчислимых!
Воскликните его предивную хвалу,
Того, который вам величественным гласом
Шуметь и утихать мгновенно, вдруг велит!
Чистейший фимиам все вкупе воскурите,
Травы, цветы, плоды, в смешéнных облаках
Тому, который вас всех солнцем возвышает,
Дыханием своим вливает запах сей
И кистию своей толь чудно испещряет!
Качайтеся, леса, волнуйтесь, нивы все,
Волнуйтеся ему и песнь свою ввевайте
В сердечный слух жнецу, когда идет домой,
На отдых по труде, при лунном кротком свете!
Вы, стражи в небесах, когда без чувств земля
В глубоком сне лежит, — созвездия! излейте
Кротчайшие лучи, когда на тверди сей,
Блистающей в огнях, все ангелы играют
На лирах сребряных! О ты, источник дня,
Великого творца внизу здесь лучший образ,
О солнце, — чтó всегда из мира в мир лиешь
Сей жизни океан! пиши на всей Натуре
Огнем лучей своих хвалу сего творца!
Гремит ужасный гром!.. Молчи благоговейно,
Преклонший выю мир, доколе облака,
Едино за другим, поют сей гимн великий!
Да холмы возгласят блеяние свое!
Удерживайте звук, громады мшистых камней!
Долины да гласят отзывный громкий рев!
Великий пастырь царь, и царство безмятежно
Сего царя царей еще приидет впредь.
Проснитесь все леса! из рощ да изнесется
Пространнейшая песнь! Когда ж мятежный день,
Кончаяся, весь мир вертящийся повергнет
В дремоту, в крепкий сон, — сладчайшая из птиц,
Прогнеина сестра! пленяй молчащи тени
И нощи возвещай премудрого хвалу!
А вы, для коих всё творение ликует, —
Вы сердце и глава всего, всего язык!
Вам должно увенчать сей важный гимн Природы!
В обширных городах толпящийся народ!

Соедини свой глас с глубоким сим органом,[1]
Долгоотзывный глас, который по часам,
Сквозь толстый, шумный бас, в торжественные стойки
Пронзительно звучит; и как единый жар,
Смешаяся с другим, жар общий увеличит,
В усердии все вдруг возвысьте вы его, —
Возвысьте все свой глас к превыспреннему небу!
Когда же лучше вам густые тени сел,
Когда для вас суть храм священныя дубравы, —
То пусть всегда свирель пастушья, девы песнь —
Прелестный серафим, в восторги приводящий, —
И лира бардова там *бога всех времен,*
Во всё теченье их согласно воспевают!
А если б я забыл любезный свой предмет,
Когда цветут цветы, луч солнца жжет равнину
И осень на земле, лия в сердца восторг,
Сияет и блестит; когда с востока ветры,
Навея мрак на всё, к нам зиму принесут, —
То пусть тогда язык мой вовсе онемеет,
Утратит мысль моя всю живость, весь свой жар
И, радостям умрев, забудет сердце биться!

Хотя бы мне судьба на отдаленный край
Зеленыя земли сокрыться повелела —
В те дальние страны, где варвары живут,
К рекам, которых ввек не поминали песни,
Где солнце наперед лучом своим златит
Верхи Индийских гор, где луч его вечерний
Блистает посреде Атлантских островов, —
Равно то для меня, когда господь присутствен
И чувствуем везде: в пустынях и степях,
Равно как в городах, наполненных народом, —
Где жизнью дышит он, там радость быть должна.
Когда же наконец настанет час важнейший
Мистический полет мой окрилить в миры,
Которым быти впредь, — я рад повиноваться;
И там, усилясь вновь, начну я воспевать
Велики чудеса, которые увижу.

---

[1] Кто знает музыку, тому не странно покажется выражение *глубокий орган,* т. е. орган, издающий глубокие тоны.

Куда я ни пойду, везде, везде узрю
Всеобщия Любви блаженную улыбку;
Любви, которою круги миров стоят,
Живут все их сыны и коя вечно *благо*
Выводит из того, что *кажется нам злом,*
Из блага *лучшее,* и *лучшее* во веки. . .
Конца сей цепи нет. Но я теряюсь в нем,
Теряюся совсем в *Неизреченном Свете.*
Молчание! гряди витийственно вникать,
Вникать в хвалу его! . .

1789

12. ГРАФ ГВАРИНОС

Древняя гишпанская историческая песня

Худо, худо, ах, французы,
В Ронцевале было вам!
Карл Великий там лишился
Лучших рыцарей своих.

И Гваринос был поиман
Многим множеством врагов;
Адмирала вдруг пленили
Семь арабских королей.

Семь раз жеребей бросают
О Гвариносе цари;
Семь раз сряду достается
Марлотесу он на часть.

Марлотесу он дороже
Всей Аравии большой.
«Ты послушай, что я молвлю,
О Гваринос! — он сказал, —

Ради Аллы, храбрый воин,
Нашу веру приими!
Всё возьми, чего захочешь,
Что приглянется тебе.

Дочерей моих обеих
Я Гвариносу отдам;
На любой из них женися,
А другую так возьми,

Чтоб Гвариносу служила,
Мыла, шила на него.
Всю Аравию приданым
Я за дочерью отдам».

Тут Гваринос слово молвил;
Марлотесу он сказал:
«Сохрани господь небесный
И Мария, мать его,

Чтоб Гваринос, христианин,
Магомету послужил!
Ах! во Франции невеста
Дорогая ждет меня!»

Марлотес, пришедши в ярость,
Грозным голосом сказал:
«Вмиг Гвариноса окуйте,
Нечестивого раба;

И в темницу преисподню
Засадите вы его.
Пусть гниет там понемногу,
И умрет, как бедный червь!

Цепи тяжки, в семь сот фунтов,
Возложите на него,
От плеча до самой шпоры». —
Страшен в гневе Марлотес!

«А когда настанет праздник,
Пасха, Святки, Духов день,
В кровь его тогда секите
Пред глазами всех людей».

Дни проходят, дни приходят,
И настал Иванов день;
Христиане и арабы
Вместе празднуют его.

Христиане сыплют галгант;[1]
Мирты мечет всякий мавр.[2]
В почесть празднику заводит
Разны игры Марлотес.

Он высоко цель поставил,
Чтоб попасть в нее копьем.
Все свои бросают копья,
Все арабы метят в цель.

Ах, напрасно! нет удачи!
Цель для слабых высока.
Марлотес велел во гневе
Чрез герольда объявить:

«Детям груди не сосати,
А большим не пить, не есть,
Если цели сей на землю
Кто из мавров не сшибет!»

И Гваринос шум услышал
В той темнице, где сидел.
«Мать святая, чиста дева!
Что за день такой пришел?

Не король ли ныне вздумал
Выдать замуж дочь свою?
Не меня ли сечь жестоко
Час презлой теперь настал?»

Страж темничный то подслушал.
«О Гваринос! свадьбы нет;

---

[1] Индейское растение.

[2] В день св. Иоанна гишпанцы усыпали улицы галгантом и миртами.

Ныне сечь тебя не будут;
Трубный звук не то гласит. . .

Ныне праздник Иоаннов;
Все арабы в торжестве.
Всем арабам на забаву
Марлотес поставил цель.

Все арабы копья мечут,
Но не могут в цель попасть;
Почему король во гневе
Чрез герольда объявил:

«Пить и есть никто не может,
Буде цели не сшибут».
Тут Гваринос встрепенулся;
Слово молвил он сие:

«Дайте мне коня и сбрую,
С коей Карлу я служил;
Дайте мне копье булатно,
Коим я врагов разил.

Цель тотчас сшибу на землю,
Сколь она ни высока.
Если ж я сказал неправду,
Жизнь моя у вас в руках».

«Как! — на то тюремщик молвил, —
Ты семь лет в тюрьме сидел,
Где другие больше года
Не могли никак прожить;

И еще ты думать можешь,
Что сшибешь на землю цель? —
Я пойду сказать инфанту,
Чтó теперь ты говорил».

Скоро, скоро поспешает
Страж темничный к королю;
Приближается к инфанту
И приносит весть ему:

«Знай: Гваринос-христианин,
Что в тюрьме семь лет сидит,
Хочет цель сшибить на землю,
Если дашь ему коня».

Марлотес, сие услышав,
За Гвариносом послал;
Царь не думал, чтоб Гваринос
Мог еще конем владеть.

Он велел принесть всю сбрую
И коня его сыскать.
Сбруя ржавчиной покрыта,
Конь возил семь лет песок.

«Ну, ступай! — сказал с насмешкой
Марлотес, арабский царь. —
Покажи нам, храбрый воин,
Как сильна рука твоя!»

Так, как буря разъяренна,
К цели мчится сей герой;
Мечет он копье булатно —
На земле вдруг цель лежит.

Все арабы взволновались,
Мечут копья все в него;
Но Гваринос, воин смелый,
Храбро их мечом сечет.

Солнца свет почти затмился
От великого числа
Тех, которые стремились
На Гвариноса все вдруг.

Но Гваринос их рассеял
И до Франции достиг,
Где все рыцари и дамы
С честью приняли его.

1789

13. ОСЕНЬ

Веют осенние ветры
В мрачной дубраве;
С шумом на землю валятся
Желтые листья.

Поле и сад опустели;
Сетуют холмы;
Пение в рощах умолкло —
Скрылися птички.

Поздние гуси станицей
К югу стремятся,
Плавным полетом несяся
В горних пределах.

Вьются седые туманы
В тихой долине;
С дымом в деревне мешаясь,
К небу восходят.

Странник, стоящий на холме,
Взором унылым
Смотрит на бледную осень,
Томно вздыхая.

Странник печальный, утешься!
Вянет Природа
Только на малое время;
Всё оживится,

Всё обновится весною;
С гордой улыбкой
Снова Природа восстанет
В брачной одежде.

Смертный, ах! вянет навеки!
Старец весною
Чувствует хладную зиму
Ветхия жизни.

1789
Женева

14. ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ

Нежная матерь Природа!
Слава тебе!
Снова твой сын оживает!
Слава тебе!

Сумрачны дни мои были.
Каждая ночь
Медленным годом казалась
Бедному мне.

Желчию облито было
Всё для меня;
Скука, уныние, горесть
Жили в душе.

Черная кровь возмущала
Ночи мои
Грозными, страшными снами,
Адской мечтой.

Томное сердце вздыхало
Ночью и днем. —
Тронули матерь Природу
Вздохи мои.

Перст ее, к сердцу коснувшись,
Кровь разжидил;
Взор ее светлый рассеял
Мрачность души.

Всё для меня обновилось;
Всем веселюсь:
Солнцем, зарею, звездами,
Ясной луной.

Сон мой приятен и кроток;
Солнечный луч
Снова меня призывает
К радостям дня.

13 декабря 1789
Женева

15. МИШЕНЬКЕ

Итак, ты хочешь песни,
Любезный, милый отрок?
Не всем пою я песни,
И редко, очень редко
За арфу принимаюсь.
В моих весенних летах
Я пел забавы детства,
Невинность и беспечность.
Потом, в зрелейших летах,
Я пел блаженство дружбы,
С любезным Агатоном
В восторге обнимаясь.
Я пел хвалу Никандру,
Когда он беззащитным
Был верною защитой
И добрыми делами
Ни мало не хвалился.
Я пел хвалу Наукам,
Которые нам в душу
Свет правды проливают;
Которые нам служат
В час горестный отрадой.
Где снежные громады
Луч солнца погашают;
Где мрачный, острый *Шрекгорн* [1]
Гром, бури отражает
И страшные *лавины* [2]
В долины низвергает, —
Там в ужасе я славил
Величие Натуры.
В странах, где Эльба, Реин
И Сона быстро мчатся
Между брегов цветущих,
Я пел Природы щедрость,
Приятность, миловидность.
Теперь, любезный отрок,
Тебе пою я песню.

---

[1] Одна из высочайших гор в Швейцарии.
[2] Так называются в Швейцарии кучи снега, катящиеся с гор.

В долинах мирных, тихих,
За снежными горами,
Живет мудрец великой,[1]
Который научает,
Как можно в наших лицах
Всю душу ясно видеть.
Недолго я учился,
Однако ж знаю нечто,
Чему мудрец сей учит.
В тот день, как ты родился,
Природа улыбалась;
Твоя душа любезна,
Подобно сей улыбке
Прекрасныя Природы.
Цвети, любезный отрок!
Любя добро всем сердцем,
Ты будешь счастлив в жизни;
Она подобна будет
Приятнейшей улыбке
Прекрасныя Природы.

11 июня 1790
Лондон

16. ФИЛЛИДЕ

Проснись, проснись, Филлида!
Взгляни на день прекрасный,
В который ты родилась!
Смотри, как он гордится
И яркими лучами
На зелени играет!
Смотри, как вся Природа
Ликует, веселится!
Взгляни же и на друга,
Который для прелестной
Принес цветов прелестных
И арфу златострунну,

---

[1] Лафатер, известный в ученом свете по своим физиономическим сочинениям.

Чтоб радостную песню
Сыграть на ней Филлиде,
В счастливый день рожденья
Красавицы любезной,
И в нежной мелодии
Излить желанья дружбы.

Да будет год твой красный
Единым майским утром,
Которое питает
Ясмины и лилеи
И дух их ароматный
В зефирах развевает!
Будь радостна, беспечна,
Как радостен, беспечен
Певец весны и утра,
Виясь под облаками!
Когда ж вздохнуть захочешь —
Увы! где свет без тени? —
Да будет вздох твой кроток!
И если в нежных чувствах
Слезу прольешь из сердца,
Блистай она подобно
Росе на юных розах,
Живящей цвет их алый!

В чудесном же искусстве,
Любовию найденном,
Будь в год сей Прометеем,
Жизнь в мертвое вливая!
Пиши блестящий образ
Земного совершенства —
Представь нам Аполлона,
И вдруг, когда потужишь,
Что юноша не дышит, —
Да оживится образ,
И, став перед тобою. . . .
Филлида! я умолкну.

1790

17—35. *ИЗ «ПИСЕМ РУССКОГО ПУТЕШЕСТВЕННИКА»*

1
АЛИНА

О дар, достойнейший небес,
Источник радости и слез,
Чувствительность! сколь ты прекрасна,
Мила, — но в действиях несчастна! ..
Внимайте, нежные сердца!

В стране, украшенной дарами
Природы, щедрого творца,
Где Сона светлыми водами
Кропит зеленые брега,
Сады, цветущие луга,
Алина милая родилась;
Пленяла взоры красотой,
А души ангельской душой;
Пленяла — и сама пленилась.
Одна любовь в любви закон,
И сердце в выборе невластно:
Что мило, то всегда прекрасно;
Но нежный юноша Милон
Достоин был Алины нежной;
Как старец, в младости умен,
Любезен всем, от всех почтен.
С улыбкой гордой и надежной
Себе подруги он искал;
Увидел — вольности лишился:
Алине сердцем покорился;
Сказав: *люблю!* ответа ждал. . .
Еще Алина слов искала;
Боялась сердцу волю дать,
Но всё молчанием сказала. —
Друг друга вечно обожать
Они клялись чистосердечно.
Но что в минутной жизни вечно?
Что клятва? — искренний обман!

Что сердце? — ветреный тиран!
Оно в желаньях своевольно
И самым счастьем — недовольно.

И самым счастьем! — Так Милон,
Осыпанный любви цветами,
Ее нежнейшими дарами,
Вдруг стал задумчив. Часто он,
Ласкаемый подругой милой,
Имел вид томный и унылый
И в землю потуплял глаза,
Когда блестящая слеза
Любви, чувствительности страстной
Катилась по лицу прекрасной;
Как в пламенных ее очах
Стыдливость с нежностью сражалась,
Грудь тихо, тайно волновалась,
И розы тлели на устах.
Чего ему недоставало?
Он милой был боготворим!
Прекрасная дышала им!
Но верх блаженства есть начало
Унылой томности в душах;
Любовь, восторг, холодность смежны.
Увы! почто ж сей пламень нежный
Не вместе гаснет в двух сердцах?

Любовь имеет взор орлиный:
Глаза чувствительной Алины
Могли ль премены не видать?
Могло ль ей сердце не сказать:
«Уже твой друг не любит страстно»?
Она надеется (напрасно!)
Любовь любовью обновить:
Ее легко найти исканьем,
Всегдашней ласкою, стараньем;
Но чем же можно возвратить?
Ничем! в немилом всё немило.
Алина — то же, что была,
И всех других пленять могла,
Но чувство друга к ней простыло;

Когда он с нею — скука с ним.
Кто нами пламенно любим,
Кто прежде сам любил нас страстно,
Тому быть в тягость наконец
Для сердца нежного ужасно!
Милон не есть коварный льстец:
Не хочет больше притворяться,
Влюбленным без любви казаться —
И дни проводит розно с той,
Которая одна, без друга,
Проводит их с своей тоской.
Увы! несчастная супруга
В молчании страдать должна. . .
И скоро узнает она,
Что ветреный Милон другою
Любезной женщиной пленен;
Что он сражается с собою
И, сердцем в горесть погружен,
Винит жестокость злой судьбины! [1]
Удар последний для Алины!
Ах! сердце друга потерять
И счастию его мешать
В другом любимом им предмете —
Лютее всех мучений в свете!
Мир хладный, жизнь противны ей;
Она бежит от глаз людей. . .
Но горесть лишь себе находит
Во всем, везде, где б ни была! . .
Алина в мрачный лес приходит
(Несчастным тень лесов мила!)
И видит храм уединенный,
Остаток древности священный;
Там ветр в развалинах свистит
И мрамор желтым мхом покрыт;
Там древность божеству молилась;
Там после, в наши времена,
Кровь двух любовников струилась:
Известны свету имена

[1] Женщина, в которую Милон был влюблен, по словам госпожи Н., сама любила его, но имела твердость отказать ему от дому, для того, что он был женат.

Фальдони, нежныя Терезы; [1]
Они жить вместе не могли
И смерть разлуке предпочли.
Алина, проливая слезы,
Равняет жребий их с своим
И мыслит: «Кто любя любим,
Тот должен быть судьбой доволен,
В темнице и в цепях он волен
Об друге сладостно мечтать —
В разлуке, в горестях питать
Себя надеждою счастливой.
Неблагодарные! зачем
В жару любви нетерпеливой
И в исступлении своем
Вы небо смертью оскорбили?
Ах! мне бы слезы ваши были
Столь милы, как... любовь моя!
Но счастьем полным насладиться,
Изменой вдруг его лишиться
И в тягость другу быть, как я...
В подобном бедствии нас должно
Лишь богу одному судить!..
Когда мне здесь уже не можно
Для счастия супруга жить,
Могу еще, назло судьбине,
Ему пожертвовать собой!»

Вдруг обнаружились в Алине
Все признаки болезни злой,
И смерть приблизилась к несчастной.
Супруг у ног ее лежал;
Неверный слезы проливал
И снова, как любовник страстный,
Клялся ей в нежности, в любви;

---

[1] См. III часть «Писем русского путешественника». Церковь, в которой они застрелились, построена на развалинах древнего храма, как сказывают. Все, что здесь говорит или мыслит Алина, взято из ее журнала, в котором она почти с самого детства записывала свои мысли и который хотела сжечь, умирая, но не успела. За день до смерти несчастная ходила на то место, где Фальдони и Тереза умертвили себя.

(Но поздно!) говорил: «Живи,
Живи, о милая! для друга!
Я, может быть, виновен был!»
— «Нет! — томным голосом супруга
Ему сказала, — ты любил,
Любил меня! и я сердечно,
Мой друг, благодарю тебя!
Но если здесь ничто не вечно,
То как тебе винить себя?
Цвет счастья, жизнь, ах! всё неверно!
Любви блаженство столь безмерно,
Что смертный был бы самый бог,
Когда б продлить его он мог. . .
Ничто, ничто моей кончины
Уже не может отвратить!
Последний взор твоей Алины
Стремится нежность изъявить. . .
Но дай ей умереть счастливо;
Дай слово мне — спокойным быть,
Снести потерю терпеливо
И снова — для любови жить!
Ах! если ты с другою будешь
Дни в мирных радостях вести,
Хотя Алину и забудешь,
Довольно для меня! . . Прости!
Есть мир другой, где нет измены,
Нет скуки, в чувствах перемены,
Там ты увидишься со мной
И там, надеюсь, будешь мой! . .»
Навек закрылся взор Алины.
Никто не мог понять причины
Сего внезапного конца;
Но вы, о нежные сердца,
Ее, конечно, угадали!
В несчастьи жизнь нам немила. . .
Спросили медиков: узнали,
Что яд Алина приняла. . .
Супруг, как громом пораженный,
Хотел идти за нею вслед;
Но, гласом дружбы убежденный,
Остался жить. Он слезы льет;

И сею горестною жертвой
Суд неба и людей смягчил;
Живой Алине изменил,
Но хочет верным быть ей мертвой!

2

⟨ ПЕСНЯ АРФИСТА ⟩

Я в бедности на свет родился
И в бедности воспитан был;
Отца в младенчестве лишился
И в свете сиротою жил.

Но бог, искусный в песнопеньи,
Меня, сиротку, полюбил;
Явился мне во сновиденьи
И арфу с ласкою вручил;

Открыл за тайну, как струною
С сердцами можно говорить
И томной, жалкою игрою
Всех добрых в жалость приводить.

Я арфу взял — ударил в струны;
Смотрю — и в сердце горя нет!..
Тому не надобно Фортуны,
Кто с Фебом в дружестве живет!

3

⟨ ПЕСНЯ ЦЮРИХСКОГО ЮНОШИ ⟩

Отечество мое! Любовию к тебе горит вся кровь моя; для пользы твоея готов ее пролить; умру твоим нежнейшим сыном.

Отечество мое! Ты все в себе вмещаешь, чем смертный может наслаждаться в невинности своей. В тебе прекрасен вид Природы; в тебе целителен и ясен воздух; в тебе земные блага рекою полною лиются.

Отечество мое! Любовию к тебе горит вся кровь моя; для пользы твоея готов ее пролить; умру твоим нежнейшим сыном.

Мы все живем в союзе братском; друг друга любим, не боимся и чтим того, кто добр и мудр. Не знаем роскоши, которая свободных в рабов, в тиранов превращает. Начто нам блеск искусств, когда Природа здесь сияет во всей своей красе — когда мы из грудей ее пием блаженство и восторг?

Отечество мое! Любовию к тебе горит вся кровь моя; для пользы твоея готов ее пролить; умру твоим нежнейшим сыном.

4

⟨ ИЗ МЕЛОДРАМЫ «ПЕТР ВЕЛИКИЙ» ⟩

Жил-был в свете добрый царь,
Православный государь.
Все сердца его любили,
Все отцом и другом чтили.

Любит царь детей своих;
Хочет он блаженства их:
Сан и пышность забывает,
Трон, порфиру оставляет.

Царь как странник в путь идет
И обходит целый свет.
Посох есть ему — держава,
Все опасности — забава.

Для чего ж оставил он
Царский сан и светлый трон?
Для чего ему скитаться,
Хладу, зною подвергаться?

Чтоб везде добро сбирать,
Душу, сердце украшать
Просвещения цветами,
Трудолюбия плодами.

Для чего ж ему желать
Душу, сердце украшать
Просвещения цветами,
Трудолюбия плодами?

Чтобы мудростью своей
Озарить умы людей,
Чад и подданных прославить
И в *искусстве жить* наставить.

О *великий* государь!
Первый, первый в свете царь!
Всю вселенную пройдете,
Но другого не найдете.

5

⟨ ИЗ МЕЛОДРАМЫ «РАУЛЬ СИНЯЯ БОРОДА» ⟩

Реки там, виясь, сверкают,
Солнца ясные лучи
Всю Природу озлащают,
Но булатные мечи
Не сияют, не сверкают...

6

Без награды добродетель
Не бывает никогда;
Ей в подсолнечной свидетель
Бог и совесть завсегда.
Люди также примечают,
Кто похвально жизнь ведет;
За невинность увенчают
Девушку в осьмнадцать лет...[1]

7

⟨ ПОЛИТИКА ⟩

Дщерь гордости властолюбивой,
Обманов и коварства мать,
Все виды можешь принимать:
Казаться мирною, правдивой,

---

[1] Ей непременно надлежало быть осьмнадцати лет.

Покойною в опасный час,
Но сон вовеки не смыкает
Ее глубоко впавших глаз;
Она трудится, вымышляет,
Печать у Истины берет
И взоры обольщает ею,
За небо будто восстает,
Но адской злобою своею
Разит лишь собственных врагов.

8

‹ НАДГРОБНЫЕ НАДПИСИ ›

1

Вселенныя любовь иль страх,
Цари! что вы по смерти? .. прах!

2

Великий человек достоин монумента,
Великий государь достоин алтарей.

3

ЭПИТАФИЯ ТЮРЕНА

Честь Франции Тюрен
С царями погребен.
Сим Лудовик его и в гробе награждает,
Желая свету доказать,
Что он единым почитает
На троне быть или трон славно защищать.

9

Кто ж милых не терял? Оставь холодный свет
И горесть разделяй с унылыми древами,
С кристаллом томных вод и с нежными цветами;
Чувствительный во всем себе друзей найдет.
Там урну хладную с любовью осеняют

Топо́ль высокий, бледный тис,
И ты, друг мертвых, кипарис!
Печальные сердца твою приятность знают,
Любовник нежный мирты рвет,
Для славы гордый лавр растет;
Но ты милее тем, которые стенают
Над прахом счастья и друзей!

10

Там всё велико, всё прелестно,
Искусство славно и чудесно;
Там истинный Армидин сад
Или великого героя
Достойный мирный вертоград,
Где он в объятиях покоя
Еще желает *побеждать*
Натуру смелыми трудами
И каждый шаг свой означать
Могуществом и чудесами,
Едва понятными уму.
Стихии творческой Природы
Подвластны кажутся ему;
В его руках земля и воды.
Там храмы в рощах ореяд
Под кровом зелени блистают;
Там бронзы дышат, говорят;
Там реки ток свой пресекают
И, вверх стремяся, упадают
Жемчужным радужным дождем,
Лучами солнца озлащенным;
Потом, извивистым путем,
Древами темно осененным,
Едва журчат среди лугов.
Там, в тихой мрачности лесов,
Везде встречаются сильваны,
Подруги скромныя Дианы.
Там каждый мрамор — бог,
лесочек всякий — храм.[1]
Герой, известный всем странам,

[1] Я удержал в этом славном стихе меру оригинала.

На лаврах славы отдыхая
И будто весь Олимп сзывая
К себе на велелепный пир,
С богами торжествует мир.

11

⟨ К ВЕРСАЛЬСКИМ САДАМ ⟩

К великолепию цари осуждены;
Мы требуем от них огромности блестящей,
Во изумление наш разум приводящей;
Как солнцем, ею быть хотим ослеплены.

12

⟨ НАДПИСИ В ПАРКЕ ЭРМЕНОНВИЛЯ ⟩

1

Ищи в других местах искусства красоты:
Здесь вид богатыя Природы
Есть образ счастливой свободы
И милой сердцу простоты.

2

⟨НАДПИСЬ НА ДВЕРЯХ ХИЖИНЫ⟩

Здесь поклоняюся творцу
Природы дивныя и нашему отцу.

3

⟨НАДПИСЬ НА ВЯЗЕ⟩

Под сению его я с милой изъяснился,
Под сению его узнал, что я любим!

4

⟨НАДПИСЬ НА ДВЕРЯХ БАШНИ⟩

Здесь было царство Габриели;
Ей подлежало дань платить.
Французы исстари умели
Сердцами красоту дарить.

5

Здесь Габриели страстной
Взор нежность изъявлял,
Здесь бог войны ужасный
В цепях любви вздыхал.
Француз в восторг приходит
От имени ея;
Оно на мысль приводит
Нам доброго царя.

6

⟨НАДПИСЬ В ГРОТЕ⟩

Являйте зе̓ркальные воды
Всегда любезный вид Природы
И образ милой красоты!
С зефирами играйте
И мне воспоминайте
Петрарковы мечты!

7

⟨НАДПИСЬ НА СКАМЬЕ⟩

Жан-Жак любил здесь отдыхать,
Смотреть на зелень дерна,
Бросать для птичек зерна
И с нашими детьми играть.

8

Среди журчащих вод, под сению священной,
Ты видишь гроб Руссо, наставника людей,
Но памятник его нетленный
Есть чувство нежных душ и счастие детей. [1]

[1] Перевод одной из надписей.

13

⟨ К АМУРУ ⟩

Одною нежностью богат,
Как Правда сердцем обнаружен,
Как Непорочность безоружен,
Как Постоянство некрылат,
Он был в Астреин век. Уже мы не находим
Его нигде; но жизнь в искании проводим.

14

⟨ ЭПИТАФИЯ ДЖОНУ ГЕЮ ⟩

Всё в свете есть игра, жизнь самая — ничто.
Так прежде *думал* я, а ныне *знаю* то.

15

⟨ НАДПИСЬ К СНЕЖНОМУ ПАМЯТНИКУ ⟩

Мы сделаем царю и другу своему
Лишь снежный монумент; милее он ему,
Чем мрамор драгоценный,
Из дальних стран за счет убогих привезенный.

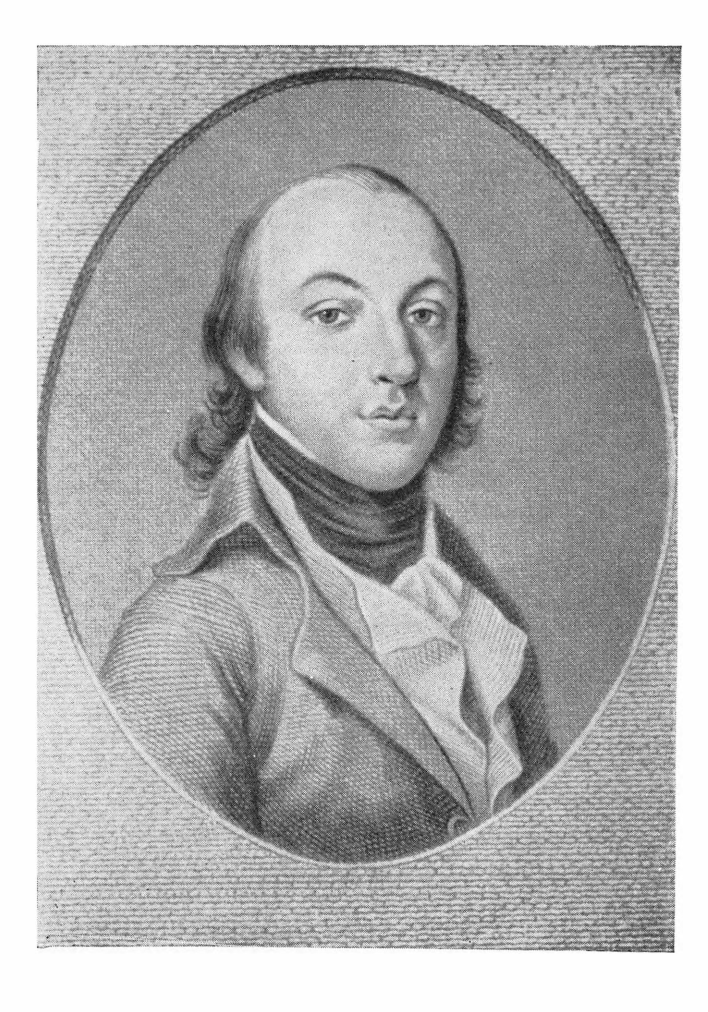
16

ЭПИТАФИИ

1

ТАЛЕСУ

Когда от старости Талесов взор затмился,
Когда уже и звезд не мог он различить,
Мудрец на небо преселился,
Чтоб к ним поближе быть.



2

РОГАТОМУ ЧЕЛОВЕКУ

Здесь погребен Трульяк. Не будучи женат,
Сей жалкий человек (о диво!) был рогат!

17

⟨ ГИМН СЛЕПЫХ ⟩

Владыко мира и судьбины!
Дай видеть нам луч солнца твоего
Хотя на час, на миг единый,
И новой тьмой для нас покрой его,
Лишь только б мы узрели
Благотворителей своих
И милый образ их
Навек в сердцах запечатлели.

18

Из юных нимф ее дочь Тамеса, Лодона,
Была славнее всех; и взор Эндимиона
Лишь потому ее с Дианой различал,
Что месяц золотой богиню украшал.
Но, смертных и богов пленяя, не пленялась:
Одна свобода ей с невинностью мила,
И ловля птиц, зверей — утехою была.
Одежда легкая на нимфе развевалась,
Зефир играл в ее струистых волосах,
Резной колчан звенел с стрелами на плечах,
И меткое копье[1] за серною свистало.
Однажды Пан ее увидел, полюбил,
И сердце у него желаньем воспылало.
Она бежит... В любви предмет бегущий мил,
И нимфа робкая стыдливостью своею
Для дерзкого еще прелестнее была.
Как горлица летит от хищного орла,

---

[1] Легкие копья, с которыми изображаются Дианины нимфы, были бросаемы в зверей.

Как яростный орел стремится вслед за нею,
Так нимфа от него, так он за нимфой вслед —
И ближе, ближе к ней... Она изнемогает,
Слаба, бледна... В глазах ее темнеет свет.
Уже тень Панова Лодону настигает,
И нимфа слышит стук ног бога за собой,
Дыхание его, как ветер, развевает
Ей волосы... Тогда, оставлена судьбой,
В отчаяньи своем несчастная, к богине
Душою обратясь, так мыслила: «Спаси,
О Цинтия! меня; в дубравы пренеси,
На родину мою! Ах! Пусть я там отныне
Стенаю горестно и слезы лью ручьем!»
Исполнилось... И вдруг, как будто бы слезами
Излив тоску свою, она течет струями,
Стеная жалобно в журчании своем.
Поток сей и теперь Лодоной называем,
Чист, хладен, как она; тот лес им орошаем,
Где нимфа некогда гуляла и жила.
Диана моется в его воде кристальной,
И память нимфина доныне ей мила:
Когда вообразит ее конец печальный,
Струи сливаются с богининой слезой.
Пастух, задумавшись, журчанью их внимает,
Сидя под тению, в них часто созерцает
Луну у ног своих и горы вниз главой,
Плывущий ряд дерев, над берегом висящих
И воду светлую собою зеленящих.
Среди прекрасных мест излучистым путем
Лодона тихая едва-едва струится,
Но вдруг, быстрее став в течении своем,
Спешит с отцом ее навек соединиться.[1]

19

Господь есть бедных покровитель
И всех печальных утешитель;
Всевышний зрит, что нужно нам,
И двум тоскующим сердцам
Пошлет в свой час отраду.

---

[1] С Темзою, которая в поэзии называется богом Тамесом.

Отдаст ли нас он в жертву гладу?
Забудет ли отец детей?
Прохожий сжалится над нами
(Есть сердце у людей!),
А мы молитвой и слезами
Заплатим долг ему.

<*1790—1791*>

36. К БОГИНЕ ЗДРАВИЯ

Сойди, сойди, богиня!
Сойди ко мне с небес,
Цветущая Игея!
Снеси златой сосуд
С целебным питием!

Уста мои завяли,
В глазах весь огнь погас,
И сердце томно бьется;
Едва дышать могу —
Едва-едва живу.

И червя оживляет
Прохладный ветерок;
И травку освежает
Небесная роса:
Всегда ли мне страдать?

Хотя едину каплю,
Посланница богов,
Хотя едину каплю
Пролей в мои уста —
И буду исцелен!

Сойди, сойди, богиня!
Сойди ко мне с небес,
Цветущая Игея!
Снеси златой сосуд
С целебным питием!

<*1791*>

37. К ПРЕКРАСНОЙ

Где ты, Прекрасная, где обитаешь?
Там ли, где песни поет Филомела,
Кроткая ночи певица,
Сидя на миртовой ветви?

Там ли, где с тихим журчаньем стремится
Чистый ручей по зеленому лугу,
Душу мою призывая
К сладкой дремоте покоя?

Там ли, где юная, пышная роза,
Утром кропимая, нежно алеет,
Скромно с Зефиром лобзаясь,
Сладостью воздух питая?

Там ли, где солнечный луч освещает
Гор неприступных хребет разноцветный, [1]
Где обитали издревле
Высшие силы и боги?

Глас твой божественный часто внимаю;
Часто сквозь облако образ твой вижу,
Руки к нему простираю —
Облако, воздух объемлю!

1791

38. ВЕСЕЛЫЙ ЧАС

Братья, рюмки наливайте!
Лейся через край вино!
Всё до капли выпивайте!
Осушайте в рюмках дно!

---

[1] Когда в хороший вечер перед захождением солнца из некоторого отдаления смотришь на высокие, снегом покрытые горы, то верхи их кажутся разноцветными.

Мы живем в печальном мире;
Всякий горе испытал,
В бедном рубище, в порфире, —
Но и радость бог нам дал.

Он вино нам дал на радость,
Говорит святой мудрец:
Старец в нем находит младость,
Бедный — горестям конец.

Кто всё плачет, всё вздыхает,
Вечно смотрит сентябрем, —
Тот науки жить не знает
И не видит света днем.

Всё печальное забудем,
Что смущало в жизни нас;
Петь и радоваться будем
В сей приятный, сладкий час!

Да светлеет сердце наше,
Да сияет в нем покой,
Как вино сияет в чаше,
Осребряемо луной!

1791

39. РАИСА

Древняя баллада

Во тьме ночной ярилась буря;
Сверкал на небе грозный луч;
Гремели громы в черных тучах,
И сильный дождь в лесу шумел.

Нигде не видно было жизни;
Сокрылось всё под верный кров.
Раиса, бедная Раиса,
Скиталась в темноте одна.

Нося отчаяние в сердце,
Она не чувствует грозы,
И бури страшный вой не может
Ее стенаний заглушить.

Она бледна, как лист увядший,
Как мертвый цвет, уста ее;
Глаза покрыты томным мраком,
Но сильно бьется сердце в ней.

С ее открытой белой груди,
Язвимой ветвями дерев,
Текут ручьи кипящей крови
На зелень влажныя земли.

Над морем гордо возвышался
Хребет гранитныя горы;
Между стремнин, по камням острым
Раиса всходит на него.

(Тут бездна яростно кипела
При блеске огненных лучей;
Громады волн неслися с ревом,
Грозя всю землю потопить.)

Она взирает, умолкает;
Но скоро жалкий стон ея
Смешался вновь с шумящей бурей:
«Увы! увы! погибла я!

Кронид, Кронид, жестокий, милый!
Куда ушел ты от меня?
Почто Раису оставляешь
Одну среди ужасной тьмы?

Кронид! поди ко мне! Забуду,
Забуду всё, прощу тебя!
Но ты нейдешь к Раисе бедной! . .
Почто тебя узнала я?

Отец и мать меня любили,
И я любила нежно их;
В невинных радостях, в забавах
Часы и дни мои текли.

Когда ж явился ты, как ангел,
И с нежным вздохом мне сказал:
«Люблю, люблю тебя, Раиса!» —
Забыла я отца и мать.

В восторге, с трепетом сердечным
И с пламенной слезой любви
В твои объятия упала
И сердце отдала тебе.

Душа моя в твою вселилась,
В тебе жила, дышала я;
В твоих глазах свет солнца зрела;
Ты был мне образ божества.

Почто я жизни не лишилась
В объятиях твоей любви?
Не зрела б я твоей измены,
И счастлив был бы мой конец.

Но рок судил, чтоб ты другую
Раисе верной предпочел;
Чтоб ты меня навек оставил,
Когда сном крепким я спала,

Когда мечтала о Крониде
И мнила обнимать его!
Увы! я воздух обнимала...
Уже далеко был Кронид!

Мечта исчезла, я проснулась;
Звала тебя, но ты молчал;
Искала взором, но не зрела
Тебя нигде перед собой.

На холм высокий я спешила...
Несчастная!.. Кронид вдали

Бежал от глаз моих с Людмилой!
Без чувств тогда упала я.

С сея ужасныя минуты
Крушусь, тоскую день и ночь;
Ищу везде, зову Кронида, —
Но ты не хочешь мне внимать.

Теперь злосчастная Раиса
Звала тебя в последний раз...
Душа моя покоя жаждет...
Прости!.. Будь счастлив без меня!»

Сказав сии слова, Раиса
Низверглась в море. Грянул гром:
Сим небо возвестило гибель
Тому, кто погубил ее.

1791

40. НА РАЗЛУКУ С П ⟨ЕТРОВЫМ⟩

Настал разлуки горький час!..
Прости, мой друг! В последний раз
Тебя я к сердцу прижимаю;
Хочу сказать: не плачь! — и слезы проливаю!
Но так назначено судьбой —
Прости, — и ангел мира
В дыхании зефира
Да веет за тобой!

Уже я вижу пред собой
Весь путь, на коем знатность, слава
Тебя с дарами ждут. Души твоей и нрава
Ничто не пременит; ты будешь вечно *ты* —
Я в том, мой друг, уверен.
Не ослепят тебя блестящие мечты;
Рассудку, совести всегда пребудешь верен
И, видя вкруг себя пороки, подлость, лесть,
Которых цель есть суетная честь,
Со вздохом вспомнишь то приятнейшее время,
Когда со мной живал под кровом тишины;

Когда нам жизнь была не тягостное бремя,
Но радостный восторг; когда, удалены
От шума, от забот, с весельем мы встречали
Аврору на лугах и в знойные часы
В прохладных гротах отдыхали;
Когда вечерние красы
И песни соловья вливали в дух наш сладость...
Ах! часто мрак темнил над нами синий свод;
Но мы, вкушая радость,
Внимали шуму горных вод
И сон с тобою забывали!
Нередко огнь блистал, гремел над нами гром;
Но мы сердечно ликовали
И улыбались пред отцом,
Который простирал к нам с неба длань благую;
В восторге пели мы гимн славы, песнь святую,
На крыльях молнии к нему летел наш дух!..
Ты вспомнишь всё сие, и слезы покатятся
По бледному лицу. Ах милый, нежный друг!
Сии блаженны дни вовек не возвратятся! —
Невольный тяжкий вздох колеблет грудь мою...
Грядет весна в наш мир, и холмы зеленеют,
И утренний певец[1] гласит нам песнь свою —
Увы! тебя здесь нет!.. цветы везде пестреют,
Но сердце у меня в печали не цветет...
Прости! благий отец и гений твой с тобою;
Кто в мире и любви умеет жить с собою,
Тот радость и любовь во всех странах найдет.

Прости! твой друг умрет тебя достойным,
Послушным истине, в душе своей покойным,
Не скажут ввек об нем, чтоб он чинов искал,
Чтоб знатным подлецам когда-нибудь ласкал.
Пред богом только он колена преклоняет;
Страшится — одного себя;
Достоинства одни сердечно уважает
И любит всей душой тебя.

1791

---

[1] Жаворонок.

41. ПЕСНЬ МИРА

Мир блаженный, чадо неба,
К нам с оливою летит,
И венец светлее Феба
На главе его блестит.
Он в дыхании зефира
Ниспускается в наш край
И от горних стран эфира
В тьму низносит светлый рай.

Хор

Бури, громы умолкают;
Тучи черны исчезают;
Исчезает, как призра́к,
Ужас бледный, дым и мрак.

Всё в Природе оживает;
Свет проник в густую тень:
Пышно роза расцветает,
Как весною в красный день;
Луг пушится, зеленеет,
Клас сребрится вдалеке,
Плод златый на древе зреет,
Ба́льзам веет в ветерке.

Хор

Миллионы, веселитесь,
Миллионы, обнимитесь,
Как объемлет брата брат!
Лобызайтесь все стократ!

Птички снова прилетают
В наши рощи и леса;
Снова в песнях прославляют
Мир, свободу, небеса.
Агнец тигра не боится
И гуляет с ним в лугах;
Всё творение дружится,
На земле и на водах.

Хор

Миллионы да ликуют!
Миллионы торжествуют!
Век Астреин, оживи!
С целым миром мы в любви!

В рощах слышны звуки лиры;
На брегах кристальных вод
Нимфы, фауны, сатиры
Составляют хоровод.
И Силен неутомимый
Громким голосом поет;
Пляшет с нимфою любимой
И к веселью всех зовет.

Хор

Пойте, пойте духа радость!..
Лейте, лейте в сердце сладость!
Век Астреин, оживи!
С целым миром мы в любви!

Музы, грации, сплетая
Цепь из лавров и лилей,
Ею крылья обвивая
Бога тихих, райских дней,
Нежно все его ласкают
С видом счастливой любви
И в восторге восклицают:
«Вечно с нами, Мир, живи!»

Хор

Вечно с нами, Мир прелестный,
Вечно с нами, сын небесный,
Вечно с нами обитай
И блаженством нас питай!

Полно нам губить друг друга,
Сирым слезы проливать!
И печальная супруга
Да престанет горевать!

Долго смертные не знали,
Что блаженство есть любовь;
Счастья в хищности искали,
И лилась реками кровь.

Хор

Смертный ныне просветился
И ко дружбе обратился.
Век Астреин, оживи!
С целым миром мы в любви!

Цепь составьте, миллионы,
Дети одного отца!
Вам даны одни законы,
Вам даны одни сердца!
Братски, нежно обнимитесь
И клянитеся — любить!
Чувством, мыслию клянитесь:
Вечно, вечно в мире жить!

Хор

Мы клянемся все сердечно
В мире с братьями жить вечно!
Отче! слышишь клятву чад?
Мы твердим ее стократ.

Декабрь 1791

42. СТРАННЫЕ ЛЮДИ

(Подражание Лихтверу)

Клеант объездил целый свет
И, видя, что нигде для смертных счастья нет,
Домой к друзьям своим с котомкой возвратился.
Друзья его нашли, что он переменился
Во многом, но не в дружбе к ним.
По зимним вечерам рассказывал он им,
Что чудного ему в подсолнечной встречалось
И с ним самим случалось.
Однажды он сказал: «Вы знаете, друзья,
Что есть на свете сем гиганты патагоны

И дикие гуроны
(А сколько верст до них, исчислю после я),
Подалее на юг живет народ чуднейший,
Гораздо их страннейший.
О людях сих нигде я в книгах не читал;
Нигде подобных им и в свете не видал;
От утра до ночи сидят они как сидни,
Не пьют и не едят,
Не дремлют и не спят,
Как будто нет в них жизни.
Хотя б над ними гром гремел
И армии вокруг сражались;
Хотя б небесный свод горел,
Трещал и пасть хотел, — они б не испугались
И с места б не сошли, быв глухи и без глаз.
Хотя по временам они и повторяют
Какие-то слова, при коих всякий раз
Глаза свои кривляют;
Однако же нельзя совсем расслушать их.
Я часто подле них
Стоял и удивлялся,
Смотрел и ужасался.
Поверьте мне, друзья, что образ сих людей
Останется навек в душе моей.
Отчаяние, ярость,
Тоска и злая радость
Являлись в лицах их. Они казались мне
Как эвмениды злобны,
Плутоновым судьям [1] угрюмостью подобны
И бледны, как злодей в доказанной вине.
«Но что же ум их занимает? —
Спросили все друзья. — Не благо ли людей?»
— «Ах, нет! О том никто из них не помышляет».
— «Так, верно, мыслию своей
В других мирах они летают?»
— «Никак!»
— «И так
О камне мудрых рассуждают?
Или хотят узнать, как тело в жизни сей

[1] То есть Миносу и прочим, которые у Плутона судили мертвых.

Сопряжено с душей?
Или грустят о том, что много нагрешили?»
— «Нет, всё не то, и вы загадки не решили»
— «Так отчего ж они не пьют и не едят,
Молчат и целый день сидят,
Не видят, не внимают?
Что ж делают они?» — «Играют! ! !».

<1792>

43. К МИЛОСТИ[1]

Что может быть тебя святее,
О Милость, дщерь благих небес?
Что краше в мире, что милее?
Кто может без сердечных слез,
Без радости и восхищенья,
Без сладкого в крови волненья
Взирать на прелести твои?

Какая ночь не озарится
От солнечных твоих очей?
Какой мятеж не укротится
Одной улыбкою твоей?
Речешь — и громы онемеют;
Где ступишь, там цветы алеют
И с неба льется благодать.

Любовь твои стопы лобзает
И нежной Матерью зовет;
Любовь тебя на трон венчает
И скиптр в десницу подает.
Текут, текут земные роды,
Как с гор высоких быстры воды,
Под сень державы твоея.

Блажен, блажен народ, живущий
В пространной области твоей!

[1] Писано в царствование Екатерины.

Блажен певец, тебя поющий
В жару, в огне души своей!
Доколе Милостию будешь,
Доколе права не забудешь,
С которым человек рожден;

Доколе гражданин довольный
Без страха может засыпать
И дети-подданные вольны
По мыслям жизнь располагать,
Везде Природой наслаждаться,
Везде наукой украшаться
И славить прелести твои;

Доколе злоба, дщерь Тифона,
Пребудет в мрак удалена
От светлозолотого трона;
Доколе правда не страшна
И чистый сердцем не боится
В своих желаниях открыться
Тебе, владычице души;

Доколе всем даешь свободу
И света не темнишь в умах;
Пока доверенность к народу
Видна во всех твоих делах, —
Дотоле будешь свято чтима,
От подданных боготворима
И славима из рода в род.

Спокойствие твоей державы
Ничто не может возмутить;
Для чад твоих нет большей славы,
Как верность к Матери хранить.
Там трон вовек не потрясется,
Где он любовию брежется
И где на троне — ты сидишь.

<Апрель> 1792

44. ЭПИТАФИИ

Одна нежная мать просила меня сочинить надгробную надпись для умершей двулетней дочери ее. Я предложил ей на выбор следующие пять эпитафий; она выбрала последнюю и приказала вырезать ее на гробе.

1

Небесная душа на небо возвратилась,
К источнику всего, в объятия отца.
Пороком здесь она еще не омрачилась;
Невинностью своей пленяла все сердца.

2

И на земле она, как ангел, улыбалась:
Что ж там, на небесах?

3

В объятиях земли покойся, милый прах!
Небесная душа, ликуй на небесах!

4

Едва блеснула в ней небесная душа,
И к солнцу всех миров поспешно возвратилась.

5

Покойся, милый прах, до радостного утра!

1792

45. ПРОСТИ

Кто мог любить так страстно,
Как я любил тебя?
Но я вздыхал напрасно,
Томил, крушил себя!

Мучительно плениться,
Быть страстным одному!

Насильно полюбиться
Не можно никому.

Не знатен я, не славен, —
Могу ль кого прельстить?
Не весел, не забавен, —
За что меня любить?

Простое сердце, чувство
Для света ничего.
Там надобно искусство —
А я не знал его!

(Искусство величаться,
Искусство ловким быть,
Умнее всех казаться,
Приятно говорить.)

Не знал — и, ослепленный
Любовию своей,
Желал я, дерзновенный,
И сам любви твоей!

Я плакал, ты смеялась,
Шутила надо мной, —
Моею забавлялась
Сердечною тоской!

Надежды луч бледнеет
Теперь в душе моей...
Уже другой владеет
Навек рукой твоей!..

Будь счастлива — покойна,
Сердечно весела,
Судьбой всегда довольна,
Супругу — ввек мила!

Во тьме лесов дремучих
Я буду жизнь вести,
Лить токи слез горючих,
Желать конца — прости!

1792

46. КЛАДБИЩЕ

Один голос

Страшно в могиле, хладной и темной!
Ветры здесь воют, гробы трясутся,
Белые кости стучат.

Другой голос

Тихо в могиле, мягкой, покойной.
Ветры здесь веют; спящим прохладно;
Травки, цветочки растут.

Первый

Червь кровоглавый точит умерших,
В черепах желтых жабы гнездятся,
Змии в крапиве шипят.

Второй

Крепок сон мертвых, сладостен, кроток;
В гробе нет бури; нежные птички
Песнь на могиле поют.

Первый

Там обитают черные враны,
Алчные птицы; хищные звери
С ревом копают в земле.

Второй

Маленький кролик в травке зеленой
С милой подружкой там отдыхает;
Голубь на веточке спит.

Первый

Сырость со мглою, густо мешаясь,
Плавают тамо в воздухе душном;
Древо без листьев стоит.

Второй

Тамо струится в воздухе светлом
Пар благовонный синих фиалок,
Белых ясминов, лилей.

Первый

Странник боится мертвой юдоли;
Ужас и трепет чувствуя в сердце,
Мимо кладбища спешит.

Второй

Странник усталый видит обитель
Вечного мира — посох бросая,
Там остается навек.

1792

47. ВЕСЕННЕЕ ЧУВСТВО

Пришла весна — цветет земля,
Древа шумят в венцах зеленых,
Лучами солнца позлащенных,
Красуются луга, поля,
Стада вокруг холмов играют,
На ветвях птички воспевают
Приятность теплых, ясных дней,
Блаженство участи своей!

И лев, среди песков сыпучих,
Любовь и нежность ощутил;
И хищный тигр в лесах дремучих
Союз с Природой заключил.
Любовь! везде твоя держава;
Везде твоя сияет слава;
Земля есть твой огромный храм.
Тебе курится фимиам
Цветов, и древ, и трав душистых,
На суше, на водах сребристых,
Во всех подсолнечных странах,
Во всех чувствительных сердцах!
Но кто дерзает мир священный,
Мир кроткий, мир блаженный
Своею злобой нарушать?..
Бессмертный человек!.. создáнный
Собой Натуру украшать!..

Любимец божества избранный!
Венец творения и цвет!

Когда Природа оживает,
Любовь сердца зверей питает,
Он кровь себе подобных льет; [1]
Безумства мраком ослепленный
И адской желчью упоенный,
Терзает братий и друзей,
Ко счастью вместе с ним рожденных,
Душою, чувством одаренных,
Отца единого детей!

1 мая 1793

48. НАДГРОБНАЯ НАДПИСЬ БОННЕТУ [2]

Он был велик душой своей
И миру жизнию полезен;
Любил Природу и людей, —
Природе, людям был любезен;
Гремящим гласом прославлял
Величие творца вселенной
И бедных смертных утешал
Надеждой вечности блаженной. —
Леман! [3] в зерцале вод твоих
Затмился зрак его священный;
Но ум, но дух его нетленный
Живет в творениях своих.

1793

[1] Начало военных действий весною.

[2] Которая излилась из души моей в самый тот час, как я получил известие о смерти сего незабвенного друга человечества, сего великого Философа, сего истинного мудреца, любезного моему сердцу.

[3] Женевское озеро. Боннет жил на берегу его.

49. ПРИНОШЕНИЕ ГРАЦИЯМ

Любезные душе чувствительной и нежной,
Богини дружества,[1] утехи безмятежной!
Вы, кои в томну грудь — под мраком черных туч
Ужасныя грозы, носящейся над нами
В юдоли жизни сей, — лиете светлый луч
От взора своего и белыми руками,
С улыбкой на устах, сушите реки слез,
Текущие из глаз, печалью отягченных!
Богини кроткие, любимицы небес,
Подруги нежных муз и всех красот нетленных!
Вы, кои в миртовых и розовых венках,
Обнявшись, ходите по рощам и долинам,
По бархатным лугам, фиалкам и ясминам,
Цветущий образ свой являете в ручьях,
Приветствуете нимф, в источниках живущих,
И мирных пастухов, красу весны поющих!
О вы, которых вся земля боготворит
И сча́стливый мудрец и дикий свято чтит;
Которым вместо жертв и вместо фимиама
Приносятся сердца; которым вместо храма
Пространный служит мир; без коих красота
Не может нас пленять, и самая Природа
Была бы без души, печальна и пуста;
Без коих жизнь мертва, не сладостна свобода,
Не ясен солнца свет и сердцу нет отрад;
Которых прелести божественный Сократ
Искусною рукой на мраморе представил[2]
И новый Теокрит[3] на стройной лире славил!
Богини милые! благословите сей
Свободный плод моих часов уединенных,
Природе, тишине и музам посвященных!
Вручаю вам его, сей дар души моей.
С улыбкою любви, небесные, примите,
Что вам дарит любовь; улыбкой освятите
Сплетенный мной венок из белых тубероз,
Из свежих ландышей, из юных алых роз:
Для вас одних сплетен он чистою рукою.

---

[1] Древние при алтаре граций заключали союзы дружества.
[2] Известно, что Сократ изваял образ граций.
[3] Геснер.

Но, ах! на нем слеза... Простите мне ее:
Я друга потерял!.. Пред вами ль грусть сокрою,
Прискорбие души, уныние мое?
Ах, нет! от вас я жду, любезных, утешенья,
Луча во мрачности и в горе услажденья!..
Примите малый дар — клянуся вас любить,
Богини милые, доколе буду жить!

3 июня 1793

50. ВОЛГА

Река священнейшая в мире,
Кристальных вод царица, мать!
Дерзну ли я на слабой лире
Тебя, о Волга! величать,
Богиней песни вдохновенный,
Твоею славой удивленный?
Дерзну ль игрою струн моих,
Под шумом гордых волн твоих —
Их тонкой пеной орошаясь,
Прохладой в сердце освежаясь —
Хвалить красу твоих брегов,
Где грады, веси процветают,
Поля волнистые сияют
Под тению густых лесов,
В которых древле раздавался
Единый страшный рев зверей
И эхом ввек не повторялся
Любезный слуху глас людей, —
Брегов, где прежде обитали
Орды Златыя племена;
Где стрелы в воздухе свистали
И где неверных знамена
Нередко кровью обагрялись
Святых, но слабых християн;
Где враны трупами питались
Несчастных древних россиян;
Но где теперь одной державы
Народы в тишине живут
И все одну богиню чтут,
Богиню счастия и славы, [1]

[1] Писано в царствование Екатерины.

Где в первый раз открыл я взор,
Небесным светом озарился
И чувством жизни насладился;
Где птичек нежных громкий хор
Воспел рождение младенца;
Где я Природу полюбил,
Ей первенцы души и сердца —
Слезу, улыбку — посвятил
И рос в веселии невинном,
Как юный мирт в лесу пустынном?
Дерзну ли петь, о мать река!
Как ты, красуяся в теченье
По злату чистого песка,
Несешь земли благословенье [1]
На сребряном хребте своем,
Везде щедроты разливаешь,
Везде страны обогащаешь
В блистательном пути твоем;
Как быстро плаватель бесстрашный
Летит на парусных крылах
Среди пучин стихии влажной,
В твоих лазоревых зыбях,
Хваля свой жребий, милость неба,
Хваля благоприятный ветр,
И как, прельщенный светом Феба,
Со дна подъемлется осетр,
Играет наверху с волнами,
С твоими пенными буграми,
И плесом рассекает их?
Когда ж под тучами со гневом,
С ужасным шумом, грозным ревом
Начнешь кипеть в брегах своих,
Как вихри воздух раздирают,
Как громы с треском ударяют
И молнии шипят в волнах,
Когда пловцы, спастись не чая
И к небу руки простирая,
Хлад смерти чувствуют в сердцах, —
Какая кисть дерзнет представить
Великость зрелища сего?

[1] То есть суда с хлебом и с другими плодами земли.

Какая песнь возможет славить
Ужасность гнева твоего?..
Едва и сам я в летах нежных,
Во цвете радостной весны,
Не кончил дней в водах мятежных
Твоей, о Волга! глубины.
Уже без вётрил, без кормила
По безднам буря нас носила;
Гребец от страха цепенел;
Уже зияла хлябь под нами
Своими пенными устами;
Надежды луч в душах бледнел;
Уже я с жизнию прощался,
С ее прекрасною зарей;
В тоске слезами обливался
И ждал погибели своей...
Но вдруг творец изрек *спасенье* —
Утихло бурное волненье,
И брег с улыбкой нам предстал.
Какой восторг! какая радость!
Я землю страстно лобызал
И чувствовал всю жизни сладость.
Сколь ты в величии своем,
О Волга! яростна, ужасна,
Столь в благости мила, прекрасна:
Ты образ божий в мире сем!

Теки, Россию украшая;
Шуми, священная река,
Свою великость прославляя,
Доколе времени рука
Не истощит твоей пучины...
Увы! сей горестной судьбины
И ты не можешь избежать:
И ты должна свой век скончать!
Но прежде многие народы
Истлеют, превратятся в прах,
И блеск цветущия Природы
Померкнет на твоих брегах. [1]
1793

---

[1] Мысль, что Природа стареется, есть не только пиитическая мысль; самые философы и натуралисты не отвергают ее.

51. К СОЛОВЬЮ

Пой во мраке тихой рощи,
Нежный, кроткий соловей!
Пой при свете лунной нощи!
Глас твой мил душе моей.
Но почто ж рекой катятся
Слезы из моих очей,
Чувства ноют и томятся
От гармонии твоей?
Ах! я вспомнил незабвенных,
В недрах хладныя земли
Хищной смертью заключенных;
Их могилы заросли
Все высокою травою.
Я остался сиротою...
Я остался в горе жить,
Тосковать и слезы лить!..
С кем теперь мне наслаждаться
Нежной песнию твоей?
С кем Природой утешаться?
Всё печально без друзей!
С ними дух наш умирает,
Радость жизни отлетает;
Сердцу скучно одному —
Свет пустыня, мрак ему.

Скоро ль песнию своею,
О любезный соловей,
Над могилою моею
Будешь ты пленять людей?

1793

52. ПЕСНЬ БОЖЕСТВУ [1]

Господь Природы, — бесконечный,
Миров бесчисленных творец,
Источник бытия всевечный,
Отец чувствительных сердец —

---

[1] Сочиненная на тот случай, как безумец Дюмон сказал во французском Конвенте: «Нет бога!»

Всего, что жизнь в себе питает,
Что видит славу, блеск небес,
Улыбкой радость изъявляет
И в скорби льет потоки слез!

От века сам в себе живущий,
Держащий всё в руках своих;
Нигде не зримый, всюду сущий —
В странах эфирных и земных!

Блаженство, свет, душа вселенной,
Святый, премудрый, дивный бог!
Кто — сердцем, чувством одаренный —
Тебя назвать мечтою мог?

Тебя?.. И страшным громом неба
Сей изверг в прах не обращен?
Огнем пылающего Феба
Сей злобный смертный не сожжен?

Но ты велик! но ты не знаешь,
Как мстить, наказывать врагов:
Они ничто — ты их прощаешь;
Ты зришь в врагах — своих сынов

И льешь на них дары благие;
Щадишь безумцев жалких кровь.
Исчезнет тьма в умах, и злые
Твою почувствуют любовь.

Любовь!.. и с кротким удивленьем —
В минуту славы, торжества, —
С живым сердечным восхищеньем
Падут пред троном божества;

Обнимут руку всеблагую,
Отцем простертую к сынам;
Восхвалят милость пресвятую —
Рекут: *«Есть бог! Мир — божий храм!»*

1793

58. МОЛИТВА О ДОЖДЕ

Мать любезная, Природа!
От лазоревого свода
Дождь шумящий ниспошли
Оросить лице земли!

Всё томится, унывает;
Зелень в поле увядает;
Сохнет травка и цветок —
Нежный ландыш, василек
Пылью серою покрыты,
Не питает их роса...
Дети матерью забыты!

Солнце жжет, палит леса.
Птички в рощах замолчали;
Ищут только холодка.
Ручейки журчать престали;
Истощилася река.
Агнец пищи не находит:
Черен холм и черен дол.
Конь в степи печально бродит;
Тощ и слаб ревущий вол.

Ах! такой ли ждал награды
Земледелец за труды?
Гибнут все его плоды!..
В горькой части без отрады
Он терзается тоской;
За себя, за чад страдает
И блестящею слезой
Хлеб иссохший орошает.
Дети плачут вместе с ним;
Игры все немилы им!

Мать любезная, Природа!
От лазоревого свода
Дождь шумящий ниспошли
Оросить лице земли!

Ах! доселе ты внимала
Крику слабого птенца

И в печалях утешала
Наши томные сердца, —
Неужель теперь забудешь
В нужде, в скорби чад своих?
Неужель теперь не будешь
Нежной матерью для них? —
Нет, тобою оживятся
Наши мертвые поля;
Вновь украсится земля,
Песни в рощи возвратятся,
Благодарный фимиам
Воскурится к небесам!

1793

54. ЛЮБЕЗНОЙ
В ДЕНЬ ЕЕ РОЖДЕНИЯ

В сей день тебя любовь на свет произвела,
Красою света быть, владеть людей сердцами;
Осыпала тебя приятностей цветами;
Сказала: будь мила! ..
«Будь счастлива!» сказать богиня не могла.

1793

55. СТРАННОСТЬ ЛЮБВИ, ИЛИ БЕССОННИЦА

Кто для сердца всех страшнее?
Кто на свете всех милее?
Знаю: милая моя!

«Кто же милая твоя?»
Я стыжусь; мне, право, больно
Странность чувств моих открыть
И предметом шуток быть.
Сердце в выборе не вольно! ..
Что сказать? Она... она...
Ах! нимало не важна
И талантов за собою
Не имеет никаких;
Не блистает остротою,

И движеньем глаз своих
Не умеет изъясняться;
Не умеет восхищаться
Аполлоновым огнем;
Филосо́фов не читает
И в невежестве своем
Всю ученость презирает.

Знайте также, что она
Не Венера красотою —
Так худа, бледна собою,
Так эфирна и томна,
Что без жалости не можно
Бросить взора на нее.
Странно! .. я люблю ее!

«Что ж такое думать должно?
Уверяют старики
(В этом деле знатоки),
Что любовь любовь рождает, —
Сердце нравится любя:
Может быть, она пленяет
Жаром чувств своих тебя;
Может быть, она на свете
Не имеет ничего
Для души своей в предмете,
Кроме сердца твоего?
Ах! любовь и страсть такая
Есть небесная, святая!
Ум блестящий, красота
Перед нею суета».

Нет! .. К чему теперь скрываться?
Лучше искренно признаться
Вам, любезные друзья,
Что жестокая моя
Нежной, страстной не бывала
И с любовью на меня
Глаз своих не устремляла.
Нет в ее душе огня!
Тщетно пламенем пылаю —
В милом сердце лед, не кровь!

Так, как Эхо,[1] иссыхаю —
Нет ответа на любовь!

Очарован я тобою,
Бог, играющий судьбою,
Бог коварный — Купидон!
Ядовитою стрелою
Ты лишил меня покою.
Как ужасен твой закон,
Мудрых мудрости лишая
И ученых кабинет
В жалкий Бедлам[2] превращая,
Где безумие живет!
Счастлив, кто не знает страсти!
Счастлив хладный человек,
Не любивший весь свой век!..
Я завидую сей части
И с Титанией люблю
Всем насмешникам в забаву!..[3]
По небесному уставу
Днем зеваю, ночь не сплю.

1793

56. ОТВЕТ МОЕМУ ПРИЯТЕЛЮ,
КОТОРЫЙ ХОТЕЛ, ЧТОБЫ Я НАПИСАЛ ПОХВАЛЬНУЮ ОДУ ВЕЛИКОЙ ЕКАТЕРИНЕ

Мне ли славить тихой лирой
Ту, которая порфирой
Скоро весь обнимет свет?
Лишь безумец зажигает
Свечку там, где Феб сияет.
Бедный чижик не дерзает
Петь гремящей Зевса славы:

---

[1] Т. е. нимфа, которая от любви к Нарциссу превратилась в ничто и которой вздохи слышим мы иногда в лесах и пустынях и называем эхом.

[2] Дом сумасшедших в Лондоне.

[3] Любопытные могут прочитать третье действие, вторую сцену Шекспировой пьесы «Midsummer-night's dream» <Сон в летнюю ночь>.

Он любовь одну поет;
С нею в рощице живет.

Блеск Российския державы
Очи бренные слепит:
Там на первом в свете троне,
В лучезарнейшей короне
Мать отечества сидит,
Правит царств земных судьбами,
Правит миром и сердцами,
Скиптром счастие дарит,
Взором бури укрощает,
Словом милость изливает
И улыбкой всё живит.

Что богине наши оды?
Что Великой песнь моя?
Ей певцы — ее народы,
Похвала — дела ея;
Им дивяся, умолкаю
И хвалить позабываю.

1793

57. СОЛОВЕЙ, ГАЛКИ И ВОРОНЫ

Басня

Прошедшею весною,
Вечернею зарею
В лесочке сем певал любезный соловей.
Пришла опять весна: где друг души моей?
Ах, нет его! Зачем он скрылся?
Зачем? В лесочке поселился
Хор галок и ворон. Они и день и ночь
Кричат, усталости не знают,
И слух людей (увы!) безжалостно терзают!
Что ж делать соловью? — Лететь подале прочь!
Жестокие врали и прозой и стихами!
Какому соловью петь можно вместе с вами?

1793

58. ЭПИТАФИЯ КАЛИФА АБДУЛРАМАНА

Богатства, слава, власть! я вами наслаждался;
Восток и запад мне со страхом поклонялся;
С престола я свергал сильнейших из царей;
Полвека богом слыл, был счастлив — десять дней.

1793

59. ⟨ ПЕСНЯ ИЗ ПОВЕСТИ «ОСТРОВ БОРНГОЛЬМ» ⟩

Законы осуждают
Предмет моей любви;
Но кто, о сердце, может
Противиться тебе?

Какой закон святее
Твоих врожденных чувств?
Какая власть сильнее
Любви и красоты?

Люблю — любить ввек буду.
Кляните страсть мою,
Безжалостные души,
Жестокие сердца!

Священная Природа!
Твой нежный друг и сын
Невинен пред тобою.
Ты сердце мне дала;

Твои дары благие
Украсили ее, —
Природа! ты хотела,
Чтоб Лилу я любил!

Твой гром гремел над нами,
Но нас не поражал,
Когда мы наслаждались
В объятиях любви.



О Бо́рнгольм, милый Бо́рнгольм!
К тебе душа моя
Стремится беспрестанно;
Но тщетно слезы лью,

Томлюся и вздыхаю!
Навек я удален
Родительскою клятвой
От берегов твоих!

Еще ли ты, о Лила,
Живешь в тоске своей?
Или в волнах шумящих
Скончала злую жизнь?

Явися мне, явися,
Любезнейшая тень!
Я сам в волнах шумящих
С тобою погребусь.

1793

60—67. ⟨ИЗ ПОВЕСТИ «АФИНСКАЯ ЖИЗНЬ»⟩

1

Весело в поле работать:
Будьте прилежны, друзья!
Класы златые ссекайте
Махом блестящей косы!

Солнце сияет над нами;
Птицы в кусточках поют.
Весело в поле работать:
Будьте прилежны, друзья!

Чувствуйте милость Цереры,
Доброй богини плодов!
Жителям неба любезен
Глас благодарных сердец.

Скоро настанет и вечер;
Вечер для отдыха дан.
Пользуйтесь часом работы,
Пользуйтесь временем дня!

Весело в поле работать:
Будьте прилежны, друзья!
Класы златые ссекайте
Махом блестящей косы!

Звери работы не знают,
Птицы живут без труда;
Люди не звери, не птицы —
Люди работой живут.

2
⟨ ИЗ «ЭДИПА В КОЛОНЕ» СОФОКЛА ⟩

<Эдип>

Гремит ужасный гром, небесный свод пылает —
О боги! час настал погибели моей!
Эдип, Эдип сей мир навеки оставляет
И сердца своего любезнейших друзей!..
Простите!.. гром гремит!

Хор

Гром гремит
И разит!..
Мы сердцами
И слезами
Молим вас,
Боги гнева
И Эрева,
В страшный час!
Ах! пошлите
Солнца луч!
Разгоните
Мраки туч!..
Нет спасенья,

Избавленья
Нам в бедах!..
Погибаем!..
Ощущаем
Смерть в сердцах!

3

⟨ К ОТЕЧЕСТВУ ⟩

Цвети, отечество святое,
Сынам любезное, драгое!
Мы все боготворим тебя
И в жертву принести себя
Для пользы твоея готовы.
Ах! смерть ничто, когда оковы
И стыд грозят твоим сынам!
Так древле Кодры умирали,
Так Леониды погибали
В пример героям и друзьям.
Союз родства и узы крови
Не так священны для сердец,
Как свят закон твоей любови.
Оставит милых чад отец,
И сын родителя забудет,
Спеша отечеству служить;
Умрет он, но потомство будет
Героя полубогом чтить.

4

⟨ ПЕСНЬ ВАКХУ ⟩

Вакх не терпит мрачных взоров;
Вакх, любитель громких хоров,
Радость в сердце тихо льет;
Зависть, злобу истребляет;
Горесть, скорби умерщвляет;
В мире с добрыми живет.

Пойте Вакха, пойте радость;
Пойте счастье, пойте младость —

Вакх прекрасный вечно юн,
Вакх, любитель звонких струн.

Впредь что будет, мы не знаем,
Что прошло — позабываем:
Настоящее для нас.
Презрим суетность земную,
Важность скучную, пустую;
Час веселья — сладкий час.

Пойте Вакха, пойте радость;
Пойте счастье, пойте младость —
Вакх прекрасный вечно юн,
Вакх, любитель звонких струн.

5

⟨ АМУР В ПЛЕНУ У МУЗ ⟩

Я неволен,
Но доволен
И желаю пленным быть.
Милы узы
Ваши, музы:
Их не тягостно носить.
Что мне в воле?
Я в неволе
Весел, счастлив и блажен.
Наслаждаюсь,
Восхищаюсь
И любовью упоен.

6

⟨ ПЕСНЬ САФИНА ⟩

Почто, о бог любви коварный,
Ты грудь мою стрелой пронзил?
Почто Фаон неблагодарный
Меня красой своей пленил?

Почто? — Фаон не знает страсти,
Фаон не ведает любви,
Ее над сердцем лютой власти,
Огня, волнения в крови!

Когда на юношу взираю,
Мрачится свет в моих глазах —
Дрожу, томлюся, умираю
В восторге, в пламенных слезах.[1]

Мне всё противно, всё постыло,
Когда сокроется Фаон;
Брожу в лесах одна уныло, —
Зрю тьму везде и слышу стон.

Жестокий Сафою скучает:
Ему несносен взор ея.
Жестокий Сафы убегает:
Ему несносна жизнь моя!

Начто же мне вздыхать, томиться?
Любовь злосчастная есть ад.
Иду от страсти исцелиться
В твоих пучинах, о Левкад![2]

Пусть жизнь с любовью прекратится
В шумящих пенистых волнах:
Река забвения струится
В блаженных Орковых странах.[3]

---

[1] Читатель вспомнит последнюю строфу известной Сафиной оды.

[2] Древние греки думали, что несчастные любовники, бросаясь в море с Левкадской скалы, исцеляются от своей страсти; многие бросались и — погибали.

[3] Мифология говорит, что в странах Орковых, то есть в жилище мертвых, течет Лета, *река забвения*. Души умерших прежде всего к ней провождаются — пьют с жадностию воду ее и забывают все горести земной жизни. Прекрасная выдумка! и много таких найдем мы в греческой мифологии.

Ее питательные воды
Жар груди, сердца прохладят,
И счастье мирныя свободы
Невинной Сафе возвратят.

Я там жестокого забуду,
Как утром забывают сон...
О радость!.. я любить не буду
Тебя, безжалостный Фаон!

7

НЕВИДИМЫЙ ХОР

Погибает!.. Погибает!..
Бездна Сафу поглощает!
Лира Сафина в волнах —
Нет души в ее струнах!
Жертва страсти, не порока!
Жертва бедственного рока!
Дар небесный, сладкий глас,
От судьбы тебя не спас!

8

⟨ СМЕРТЬ ОРФЕЕВА ⟩

Нимфы, плачьте! нет Орфея!..
Ветр унылый, тихо вея,
Нам вещает: *нет его!*
Ярость фурий исступленных,
Гнусной страстью воспаленных,
Прекратила жизнь того,
Кто пленял своей игрою
Кровожаждущих зверей,
Гармонической струною
Трогал сердце лютых грей
И для нежной Эвридики
В Тартар мрачный нисходил.

Ах, стенайте! — берег дикий
Прах его в себя вместил.
Сиротеющая лира
От дыхания зефира
Звук печальный издает:
Нет певца! Орфея нет!
Эхо повторяет: *нет!*
Над могилою священной,
Мягким дерном покровенной,
Филомела слезы льет.

1793

68. ‹ ПОСВЯЩЕНИЕ К «АГЛАЕ» ›

Тебе, любезная, посвящаю мою «Аглаю», тебе, единственному другу моего сердца!

Твоя нежная, великодушная, святая дружба составляет всю цену и счастье моей жизни. Ты мой благодетельный гений, гений-хранитель!

Мы живем в печальном мире; но кто имеет друга, тот пади на колена и благодари вездесущего!

Мы живем в печальном мире, где часто страдает невинность, где часто гибнет добродетель; но человек имеет утешение — любить!

Сладкое утешение!.. любить друга, любить добродетель!.. любить и чувствовать, что мы любим!

Исчезли призраки моей юности; угасли пламенные желания в моем сердце; спокойно мое воображение.

Ничто не прельщает меня в свете. Чего искать? К чему стремиться?.. К новым горестям? Они сами найдут меня — и я без ропота буду лить новые слезы.

Там лежит страннический посох мой и тлеет во прахе!

Любезная! Сии две слезы, которые выкатились теперь из глаз моих, тебе же посвящаю!

8 октября 1794

69. ПОСЛАНИЕ К ДМИТРИЕВУ
В ОТВЕТ НА ЕГО СТИХИ, В КОТОРЫХ ОН ЖАЛУЕТСЯ НА СКОРОТЕЧНОСТЬ СЧАСТЛИВОЙ МОЛОДОСТИ

Конечно так, — ты прав, мой друг!
Цвет счастья скоро увядает,
И юность наша есть тот луг,
Где сей красавец расцветает.
Тогда в эфире мы живем
И нектар сладостный пием
Из полной олимпийской чаши;
Но жизни алая весна
Есть миг — увы! пройдет она,
И с нею мысли, чувства наши
Лишатся свежести своей.
Что прежде душу веселило,
К себе с улыбкою манило,
Немило, скучно будет ей.
Надежды и мечты златые,
Как птички, быстро улетят,
И тени хладные, густые
Над нами солнце затемнят, —
Тогда, подобно Иксиону,
Не милую свою Юнону,
Но дым увидим пред собой![1]

И я, о друг мой, наслаждался
Своею красною весной;
И я мечтами обольщался —
Любил с горячностью людей,
Как нежных братий и друзей;
Желал добра им всей душею;
Готов был кровию моею
Пожертвовать для счастья их
И в самых горестях своих
Надеждой сладкой веселился
Небесполезно жить для них —
Мой дух сей мыслию гордился!
Источник радостей и благ
Открыть в чувствительных душах;

[1] Известно из мифологии, что Иксион, желая обнять Юнону, обнял облако и дым.

Пленить их истиной святою,
Ее нетленной красотою;
Орудием небесным быть
И в памяти потомства жить
Казалось мне всего славнее,
Всего прекраснее, милее!
Я жребий свой благословлял,
Любуясь прелестью награды, —
И тихий свет моей лампады
С звездою утра угасал.
Златое дневное светило
Примером, образцом мне было...
Почто, почто, мой друг, не век
Обманом счастлив человек?

Но время, опыт разрушают
Воздушный замок юных лет;
Красы волшебства исчезают...
Теперь иной я вижу свет, —
И вижу ясно, что с Платоном
Республик нам не учредить,
С Питтаком, Фалесом, Зеноном
Сердец жестоких не смягчить.
Ах! зло под солнцем бесконечно,
И люди будут — люди вечно.
Когда несчастных Данаид [1]
Сосуд наполнится водою,
Тогда, чудесною судьбою,
Наш шар приимет лучший вид:
Сатурн на землю возвратится
И тигра с агнцем помирит;
Богатый с бедным подружится
И слабый сильного простит.
Дотоле истина опасна,
Одним скучна, другим ужасна;
Никто не хочет ей внимать,
И часто яд тому есть плата,
Кто гласом мудрого Сократа

---

[1] Они в подземном мире льют беспрестанно воду в худой сосуд.

Дерзает буйству угрожать.
Гордец не любит наставленья,
Глупец не терпит просвещенья —
Итак, лампаду угасим,
Желая доброй ночи им.

Но что же нам, о друг любезный,
Осталось делать в жизни сей,
Когда не можем быть полезны,
Не можем пременить людей?
Оплакать бедных смертных долю
И мрачный свет предать на волю
Судьбы и рока: пусть они,
Сим миром правя искони,
И впредь творят что им угодно!
А мы, любя дышать свободно,
Себе построим тихий кров
За мрачной сению лесов,
Куда бы злые и невежды
Вовек дороги не нашли
И где б, без страха и надежды,
Мы в мире жить с собой могли,
Гнушаться издали пороком
И ясным, терпеливым оком
Взирать на тучи, вихрь сует,
От грома, бури укрываясь
И в чистом сердце наслаждаясь
Мерцанием вечерних лет,
Остатком теплых дней осенних.
Хотя уж нет цветов весенних
У нас на лицах, на устах
И юный огнь погас в глазах;
Хотя красавицы престали
Меня любезным называть
(Зефиры с нами отыграли!),
Но мы не до́лжны унывать:
Живем по общему закону!..
Отелло в старости своей
Пленил младую Дездемону [1]
И вкрался тихо в сердце к ней
Любезных муз прелестным даром.

[1] Смотри Шекспирову трагедию «Отелло».

Он с нежным, трогательным жаром
В картинах ей изображал,
Как случай в жизни им играл;
Как он за дальними морями,
Необозримыми степями,
Между ревущих, пенных рек,
Среди лесов густых, дремучих,
Песков горящих и сыпучих,
Где люди не бывали ввек,
Бесстрашно в юности скитался,
Со львами, тиграми сражался,
Терпел жестокий зной и хлад,
Терпел усталость, жажду, глад.
Она внимала, удивлялась;
Брала участие во всем;
В опасность вместе с ним вдавалась
И в нежном пламени своем,
С блестящею в очах слезою,
Сказала: я люблю тебя!
И мы, любезный друг, с тобою
Найдем подругу для себя,
Подругу с милою душею,
Она приятностью своею
Украсит запад наших дней.
Беседа опытных людей,
Их басни, повести и были
(Нас лета сказкам научили!)
Ее внимание займут,
Ее любовь приобретут.
Любовь и дружба — вот чем можно
Себя под солнцем утешать!
Искать блаженства нам не должно,
Но должно — менее страдать;
И кто любил, кто был любимым,
Был другом нежным, другом чтимым,
Тот в мире сем недаром жил,
Недаром землю бременил.

Пусть громы небо потрясают,
Злодеи слабых угнетают,
Безумцы хвалят разум свой!
Мой друг! не мы тому виной.

Мы слабых здесь не угнетали
И всем ума, добра желали:
У нас не черные сердца!
И так без трепета и страха
Нам можно ожидать конца
И лечь во гроб, жилище праха.
Завеса вечности страшна
Убийцам, кровью обагренным,
Слезами бедных орошенным.
В ком дух и совесть без пятна,
Тот с тихим чувствием встречает
Златую Фебову стрелу,[1]
И ангел мира освещает
Пред ним густую смерти мглу.
Там, там, за синим океаном,
Вдали, в мерцании багряном,
Он зрит... но мы еще не зрим.

1794

70. ПОСЛАНИЕ К АЛЕКСАНДРУ АЛЕКСЕЕВИЧУ ПЛЕЩЕЕВУ

Мой друг! вступая в шумный свет
С любезной, искренней душею,
В весеннем цвете юных лет,
Ты хочешь с музою моею
В свободный час поговорить
О том, чего все ищут в свете;
Что вечно у людей в предмете;
О чем позволено судить
Ученым, мудрым и невежде,
Богатым в золотой одежде
И бедным в рубище худом,
На тронах, славой окруженных,
И в сельских хижинах смиренных;
Что в каждом климате земном

[1] Древние поэты говорили, что златая Фебова стрела приносит смерть человеку.

Надежду смертных составляет,
Сердца всечасно обольщает,
Но, ах! .. не зримо ни в одном!

О счастьи слово. Удалимся
Под ветви сих зеленых ив;
Прохладой чувства освежив,
Мы там беседой насладимся
В любезной музам тишине.[1]

Мой друг! поверишь ли ты мне,
Чтоб десять тысяч было мнений,
Ученых философских прений
В архивах древности седой[2]
О средствах жить счастливо в свете,
О средствах обрести покой?
Но точно так, мой друг; в сем счете
Ошибки нет. Фалес, Хилон,
Питтак, Эпименид, Критон,
Бионы, Симмии, Стильпоны,
Эсхины, Эрмии, Зеноны,
В лицее, в храмах и садах,
На бочках, темных чердаках
О благе вышнем говорили
И смертных к счастию манили
Своею... нищенской клюкой,
Клянясь священной бородой,
Что плод земного совершенства
В саду их мудрости растет;
Что в нем нетленный цвет блаженства,
Как роза пышная, цветет.
Слова казалися прекрасны,
Но только были несогласны.
Один кричал: ступай туда!
Другой: нет, нет, поди сюда!
Что ж греки делали? Смеялись,

---

[1] Сии стихи писаны в самом деле под тению ив.

[2] Десять тысяч!! Читатель может сомневаться в верности счета; но один из древних же авторов пишет, что их было точно десять тысяч.

Ученой распрей забавлялись,
А счастье... называли сном!

И в наши времена о том
Бывает много шуму, спору.
Немало новых гордецов,
Которым часто без разбору
Дают названье мудрецов;
Они нам также обещают
Открыть прямой ко счастью след;
В глаза же счастия не знают;
Живут, как все, под игом бед;
Живут, и горькими слезами
Судьбе тихонько платят сами
За право умниками слыть,
О счастьи в книгах говорить!

Престанем льстить себя мечтою,
Искать блаженства под луною!
Скорее, друг мой, ты найдешь
Чудесный философский камень,
Чем век без горя проживешь.
Япетов сын эфирный пламень
Похитил для людей с небес,
Но счастья к ним он не принес;
Оно в удел нам не досталось
И там, с Юпитером, осталось.
Вздыхай, тужи; но пользы нет!
Судьбы рекли: «Да будет свет
Жилищем призраков, сует,
Немногих благ и многих бед!»
Рекли — и Суеты спустились
На землю шумною толпой:
Герои в латы нарядились,
Пленяся Славы красотой;
Мечом махнули, полетели
В забаву умерщвлять людей;
Одни престолов захотели,
Другие самых алтарей;
Одни шумящими рулями
Рассекли пену дальних вод;
Другие мощными руками

Отверзли в землю темный ход,
Чтоб взять пригоршни светлой пыли!
Мечты всем головы вскружили,
А горесть врезалась в сердца.
Народов сильных победитель
И стран бесчисленных властитель
Под блеском светлого венца
В душевном мраке унывает
И часто сам того не знает,
Начто величия желал
И кровью лавры омочал!
Смельчак, Америку открывший,
Пути ко счастью не открыл;
Индейцев в цепи заключивший
Цепями сам окован был,
Провел и кончил жизнь в страданье.
А сей вздыхающий скелет,
Который богом чтит стяжанье,
Среди богатств в тоске живет!..
Но кто, мой друг, в морской пучине
Глазами волны перечтет?
И кто представит нам в картине
Ничтожность всех земных сует?

Что ж делать нам? Ужель сокрыться
В пустыню Муромских лесов,
В какой-нибудь безвестный кров,
И с миром навсегда проститься,
Когда, к несчастью, мир таков?
Увы! Анахорет не будет
В пустыне счастливее нас!
Хотя земное и забудет,
Хотя умолкнет страсти глас
В его душе уединенной,
Безмолвным мраком огражденной,
Но сердце станет унывать,
В груди холодной тосковать,
Не зная, чем ему заняться.
Тогда пустыннику явятся
Химеры, адские мечты,
Плоды душевной пустоты!
Чудовищ грозных миллионы,

Змеи летучие, драконы,
Над ним крылами зашумят
И страхом ум его затмят...[1]
В тоске он жизнь свою скончает!

Каков ни есть подлунный свет,
Хотя блаженства в оном нет,
Хотя в нем горесть обитает, —
Но мы для света рождены,
Душой, умом одарены
И должны в нем, мой друг, остаться.
Чем можно, будем наслаждаться,
Как можно менее тужить,
Как можно лучше, тише жить,
Без всяких суетных желаний,
Пустых, блестящих ожиданий;
Но что приятное найдем,
То с радостью себе возьмем.
В лесах унылых и дремучих
Бывает краше анемон,
Когда украдкой выдет он
Один среди песков сыпучих;
Во тьме густой, в печальной мгле
Сверкнет луч солнца веселее:
Добра не много на земле,
Но есть оно — и тем милее
Ему быть должно для сердец.
Кто малым может быть доволен,
Не скован в чувствах, духом волен,
Не есть чинов, богатства льстец;
Душою так же прям, как станом;
Не ищет благ за океаном
И с моря кораблей не ждет,
Шумящих ветров не робеет,
Под солнцем домик свой имеет,
В сей день для дня сего живет
И мысли в даль не простирает;
Кто смотрит прямо всем в глаза;
Кому несчастного слеза
Отравы в пищу не вливает;

[1] Многие пустынники, как известно, сходили с ума в уединении.

Кому работа не трудна,
Прогулка в поле не скучна
И отдых в знойный час любезен;
Кто ближним иногда полезен
Рукой своей или умом;
Кто может быть приятным другом,
Любимым, счастливым супругом
И добрым милых чад отцом;
Кто муз от скуки призывает
И нежных граций, спутниц их;
Стихами, прозой забавляет
Себя, домашних и чужих;
От сердца чистого смеется
(Смеяться, право, не грешно!)
Над всем, что кажется смешно, —
Тот в мире с миром уживется
И дней своих не прекратит
Железом острым или ядом;
Тому сей мир не будет адом;
Тот путь свой розой оцветит
Среди колючих жизни терний,
Отраду в горестях найдет,
С улыбкой встретит час вечерний
И в полночь тихим сном заснет.

1794

71. К НЕЙ

Тебе ли думать, друг бесценный,
Что есть изменники в любви?
Огонь, тобою воспаленный,
Погаснет ли когда в крови?
Погаснет с жизнию, не прежде!

И мне ль непостоянным быть?
Мне ль порхать бабочкой, в надежде
Другую более любить?
Я всех неверных презираю
И с ними наш холодный век.
Как может в жизни человек
Два раза быть влюблен, не знаю:

Не станет сердца, милый друг,
И сила в чувствах ослабеет.
Однажды роза в год алеет,
Однажды красится ей луг;
Однажды любим всей душою —
Чтоб счастье райское вкусить
Или глаза навек закрыть
Со вздохом горести, с тоскою!

1794

72. ДВЕ ПЕСНИ

1

Мы желали — и свершилось!..
Лиза! Небо любит нас.
Постоянство наградилось:
Ты моя! — Блаженный час!

Быть счастливейшим супругом,
Быть любимым и любить,
Быть любовником и другом...
Ах! я рад на свете жить!

Рад терпеть, чего не можно
В здешней жизни избежать;
Рад и плакать, если должно
Смертным слезы проливать.

Нежность горе услаждает;
Дружба милою рукой
Слез потоки отирает
И вселяет в грудь покой.

Будь единственным предметом
Страсти сердца моего!
Я навек простился с светом;
Мне наскучил шум его.

Пусть Прелесты там сияют
Блеском хитростей своих;

Пусть они других прельщают;
Пусть другие любят их!

Было время заблуждений;
Я, как бабочка, летал
Вкруг блестящих привидений —
Сердца в мраморе искал!

Сон исчез — и я увидел,
Что игрушкой хитрых был;
Всех Прелест возненавидел
И невинность полюбил.

Ты одна любви достойна;
Я нашел чего искал,
И душа моя спокойна,
Всё сбылось, чего желал!

Свет забудет нас с тобою:
Что нам нужды, Лиза, в нем?
Мы с любовию одною
Век без скуки проживем.

2

Доволен я судьбою
И милою богат.
О Лиза! кто с тобою
И бедности не рад?

С тобою жизни бремя
Меня не тяготит;
С тобою, друг мой, время
Как молния летит.

Не зная, что есть слава,
Я славлю жребий свой.
Труды с тобой — забава;
В твоих глазах — покой.

Ты взглянешь — забываю
Суровость мрачных дней;

В болезнях оживаю
Улыбкою твоей.

Когда ты скажешь: милый! —
Проходит грусть моя,
Светлеет взор унылый,
Спокоен, весел я!

Тот беден, кто в сем мире
Живет лишь для себя.
Я был бы и в порфире
Несчастлив без тебя.

Но если рок ужасный
Нас, Лиза, разлучит?
Что буду я, несчастный?..
Сырой землей покрыт!

Две горлицы покажут
Тебе мой хладный прах;
Воркуя томно, скажут:
Он умер во слезах!

1794 (?)

ПРИПИСАНИЕ К Г-ЖЕ N, КОТОРАЯ ЖЕЛАЛА, ЧТОБ Я СПИСАЛ ДЛЯ НЕЕ СИИ ДВЕ ПЕСНИ

Невольник в тягостных цепях
О воле милой помышляет,
Старик о юных, красных днях;
Томимый жаждой вспоминает
О светлых, ясных ручейках.
А я чем сердце занимаю?
О счастливой любви мечтаю!

1794

73. ИЛЬЯ МУРОМЕЦ

Богатырская сказка[1]

Le monde est vieux, dit-on: je
le crois; cependant
Il le faut amuser encore comme
un enfant.

La Fontaine[2]

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Не хочу с поэтом Греции
звучным гласом Каллиопиным
петь вражды Агамемноновой
с храбрым правнуком Юпитера;
или, следуя Виргилию,
плыть от Трои разоренныя
с хитрым сыном Афродитиным
к злачным берегам Италии.
Не желаю в мифологии
черпать дивных, странных вымыслов.
Мы не греки и не римляне;
мы не верим их преданиям;
мы не верим, чтобы бог Сатурн
мог любезного родителя
превратить в урода жалкого;
чтобы Леды были — курицы
и несли весною яица;
чтобы Поллуксы с Еленами
родились от белых лебедей.
Нам другие сказки надобны;
мы другие сказки слышали
от своих покойных мамушек.
Я намерен слогом древности
рассказать теперь одну из них
вам, любезные читатели,

---

[1] Вот начало безделки, которая занимала нынешним летом уединенные часы мои. Продолжение остается до другого времени; конца еще нет, — может быть, и не будет. В рассуждении меры скажу, что она совершенно русская. Почти все наши старинные песни сочинены такими стихами.

[2] Говорят, что мир стар; я этому верю; и все же его приходится развлекать, как ребенка. *Лафонтен. — Ред.*

если вы в часы свободные
удовольствие находите
в русских баснях, в русских повестях,
в смеси былей с небылицами,
в сих игрушках мирной праздности,
в сих мечтах воображения.
Ах! не всё нам горькой истиной
мучить томные сердца свои!
ах! не всё нам реки слезные
лить о бедствиях существенных!
На минуту позабудемся
в чародействе красных вымыслов!

Не хочу я на Парнас идти;
нет! Парнас гора высокая,
и дорога к ней не гладкая.
Я видал, как наши витязи,
наши стихо-рифмо-детели,
упиваясь одопением,
лезут на вершину Пиндову,
обступаются и вниз летят,
не с венцами и не с лаврами,
но с ушами (ах!) ослиными,
для позорища насмешникам!
Нет, любезные читатели!
я прошу вас не туда с собой.
Близ моей смиренной хижины,
на брегу реки прозрачныя,
роща древняя, дубовая
нас укроет от лучей дневных.
Там мой дедушка на старости
в жаркий полдень отдыхал всегда
на коленях милой бабушки;
там висит его пернатый шлем;
там висит его булатный меч,
коим он врагов отечества
за гордыню их наказывал
(кровь турецкая и шведская
и теперь еще видна на нем).
Там я сяду на брегу реки
и под тенью древ развесистых
буду повесть вам рассказывать.

Там вы можете тихохонько,
если скучно вам покажется,
раза два зевнув, сомкнуть глаза.

Ты, которая в подсолнечной
всюду видима и слышима;
ты, которая, как бог Протей,
всякий образ на себя берешь,
всяким голосом умеешь петь,
удивляешь, забавляешь нас, —
всё вещаешь, кроме... истины;
объявляешь с газетирами
сокровенности политики;
сочиняешь с стихотворцами
знатным похвалы прекрасные;
величаешь Пантомороса [1]
славным, беспримерным автором;
с алхимистом открываешь нам
тайну камня философского;
изъясняешь с систематиком
связь души с телесной сущностью
и свободы человеческой
с непременными законами;
ты, которая с Людмилою
нежным и дрожащим голосом
мне сказала: *я люблю тебя!*
о богиня света белого —
Ложь, Неправда, призрак истины!
будь теперь моей богинею
и цветами луга русского
убери героя древности,
величайшего из витязей,
чудодея *Илью Муромца!*
Я об нем хочу беседовать, —
об его бессмертных подвигах.
Ложь! с тобою не учиться мне
небылицы выдавать за быль.

Солнце красное явилося
на лазури неба чистого

---

[1] То есть обер-дурака.

и лучами злата яркого
осветило рощу тихую,
холм зеленый и цветущий дол.
Улыбнулось всё творение;
воды с блеском заструилися;
травки, ночью освеженные,
и цветочки благовонные
растворили воздух утренний
сладким духом, ароматами.
Все кусточки оживилися,
и пернатые малюточки,
конопляночка с малиновкой,
в нежных песнях славить начали
день, беспечность и спокойствие.
Никогда в Российской области
не бывало утро летнее
веселее и прекраснее.

Кто ж сим утром наслаждается?
Кто на статном соловом коне,
черный щит держа в одной руке,
а в другой копье булатное,
едет по лугу, как грозный царь?
На главе его пернатый шлем
с золотою, светлой бляхою;
на бедре его тяжелый меч;
латы, солнцем освещенные,
сыплют искры и огнем горят.
Кто сей витязь, богатырь младой?
Он подобен маю красному:
розы алые с лилеями
расцветают на лице его.
Он подобен мирту нежному:
тонок, прям и величав собой.
Взор его быстрей орлиного
и светлее ясна месяца.
Кто сей рыцарь? — Илья Муромец.
Он проехал дикий темный лес,
и глазам его является
поле гладкое, обширное,
где природою рассыпаны
в изобилии дары земли.

Витязь Геснера не читывал,
но, имея сердце нежное,
любовался красотою дня;
тихим шагом ехал по лугу
и в душе своей чувствительной
жертву утреннюю, чистую,
приносил царю небесному.
«Ты, который украшаешь всё,
русский бог и бог вселенныя!
Ты, который наделяешь нас
всеми благами щедрот своих!
будь всегда моим помощником!
Я клянуся вечно следовать
богатырским предписаниям
и уставам добродетели,
быть защитником невинности,
бедных, сирых и несчастных вдов,
и наказывать мечом своим
злых тиранов и волшебников,
устрашающих сердца людей!»
Так герой наш размышлял в себе
и, повсюду обращая взор,
за кустами впереди себя,
над струями речки быстрыя,
видит светло-голубой шатер,
видит ставку богатырскую
с золотою круглой маковкой.
Он к кусточкам приближается
и стучит копьем в железный щит;
но ответу богатырского
нет на стук его оружия.
Белый конь гуляет по лугу,
неоседланный, невзнузданный,
щиплет травку ароматную
и следы подков серебряных
оставляет на росе цветов.
Не выходит витязь к витязю
поклониться, ознакомиться.

Удивляется наш Муромец;
смотрит на небо и думает:
«Солнце выше гор лазоревых,

а российский богатырь в шатре
неужель еще покоится?»
Он пускает на зеленый луг
своего коня надежного
и вступает смелой поступью
в ставку с золотою маковкой.

Для чего природа дивная
не дала мне дара чудного
нежной кистию прельщать глаза
и писать живыми красками
с Тицианом и Корреджием?
Ах! тогда бы я представил вам,
что увидел витязь Муромец
в ставке с золотою маковкой.
Вы бы вместе с ним увидели —
беспримерную красавицу,
всех любезностей собрание,
редкость милых женских прелестей;
вы бы вместе с ним увидели,
как она приятным, тихим сном
наслаждалась в голубом шатре,
разметавшись на цветной траве;
как ее густые волосы,
светло-русые, волнистые,
осеняли белизну лица,
шеи, груди алебастровой
и, свиваясь, развиваяся,
упадали на колена к ней;
как ее рука лилейная,
где все жилки васильковые
были с нежностью означены,
ее голову покоила;
как одежда снего-белая,
полотняная, тончайшая,
от дыханья груди полныя
трепетала тихим трепетом.
Но не можно в сказке выразить
и не можно написать пером,
чем глаза героя нашего
услаждались на ее челе,
на ее устах малиновых,

на ее бровях возвышенных
и на всем лице красавицы.
Латы с золотой насечкою,
шлем с пером заморской *жар-птицы,*
меч с топазной рукояткою,
копие с булатным острием,
щит из стали вороненыя
и седло с блестящей осыпью
на траве лежали вкруг ее.

Сердце твердое, геройское
твердо в битвах и сражениях
со врагами добродетели —
твердо в бедствиях, опасностях;
но нетвердо против женских стрел,
мягче воску белоярого
против нежных, милых прелестей.
Витязь знал красавиц множество
в беспредельной Русской области,
но такой еще не видывал.
Взор его не отвращается
от румяного лица ее.
Он боится разбудить ее;
он досадует, что сердце в нем
бьется с частым, сильным трепетом;
он дыхание в груди своей
останавливать старается,
чтобы долее красавицу
беспрепятственно рассматривать.
Но ему опять желается,
чтоб красавица очнулась вдруг;
ему хочется глаза ее —
верно, светлые, любезные —
видеть под бровями черными;
ему хочется внимать ее
гласу тихому, приятному;
ему хочется узнать ее
любопытную историю,
и откуда, и куда она,
и зачем, девица красная
(витязь думал и угадывал,
что она была девицею),

ездит по свету геройствовать,
подвергается опасностям
жизни трудной, жизни рыцарской,
не щадя весенних прелестей,
не боясь жара, холода.
«Руки слабой, тленной женщины
могут шить сребром и золотом
в красном и покойном тереме, —
не мечом и не копьем владеть;
могут друга, сердцу милого,
жать с любовью к сердцу нежному, —
не гигантов на полях разить.
Если кто из злых волшебников
в плен возьмет девицу юную,
ах! чего злодей бесчувственный
с нею в ярости не сделает?» —
Так Илья с собой беседует
и взирает на прекрасную.

Время быстрою стрелой летит;
час проходит за минутами,
и за утром полдень следует —
незнакомка спит глубоким сном.

Солнце к западу склоняется,
и с эфирною прохладою
вечер сходит с неба ясного
на луга и поле чистое —
незнакомка спит глубоким сном.
Ночь на облаке спускается
и густыя тьмы покровами
одевает землю тихую;
слышно ручейков журчание,
слышно эхо отдаленное,
и в кусточках соловей поет —
незнакомка спит глубоким сном.

Тщетно витязь дожидается,
чтобы грудь ее высокая
вздохом нежным всколебалася;
чтоб она рукою белою

хотя раз тихонько тронулась
и открыла очи ясные!
Незнакомка спит по-прежнему.

Он садится в голубом шатре
и, взирая на прекрасную,
видит в самой темноте ночной
красоту ее небесную,
видит — в тронутой душе своей
и в своем воображении;
чувствует ее дыхание
и не мыслит успокоиться
в час глубокия полуночи.

Ночь проходит, наступает день;
день проходит, наступает ночь —
незнакомка спит по-прежнему.

Рыцарь наш сидит как вкопанный;
забывает пищу, нужный сон.
Всякий час, минуту каждую
он находит нечто новое
в милых прелестях красавицы,
и — недели целой нет в году!

Здесь, любезные читатели,
должно будет изъясниться нам,
уничтожить возражения
строгих, бледнолицых критиков:
«Как Илья, хотя и Муромец,
хоть и витязь Руси древния,
мог сидеть неделю целую,
не вставая, на одном месте;
мог ни маковыя ро́синки
в рот не брать, дремы не чувствовать?»
Вы слыхали, как монах святой,
наслаждаясь дивным пением
райской пестрой конопляночки,
мог без пищи и без сна пробыть
не неделю, но столетие.
Разве прелести красавицы

не имеют чародействия
райской пестрой конопляночки?
О друзья мои любезные!
если б знали вы, что́ женщины
могут делать с нами, бедными!..
Ах! спросите стариков седых;
ах! спросите самого меня...
и, краснея, вам признаюся,
что волшебный вид прелестницы —
не хочу теперь назвать ее! —
был мне пищею небесною,
олимпийскою амброзией;
что я рад был целый век не спать,
лишь бы видеть мог жестокую!..
Но боюся говорить об ней,
и к герою возвращаюся.

«Что за чудо! — рыцарь думает, —
я слыхал о богатырском сне;
иногда он продолжается
три дни с часом, но не более;
а красавица любезная...»
Тут он видит муху черную
на ее устах малиновых;
забывает рассуждения
и рукою богатырскою
гонит злого насекомого;
машет пальцем указательным
(где сиял большой златой перстень
с талисманом *Велеславиным*) —
машет, тихо прикасается
к алым розам белолицыя —
и красавица любезная
растворяет очи ясные!

Кто опишет милый взор ее,
кто улыбку пробуждения,
ту любезность несказанную,
с коей, встав, она приветствует
незнакомого ей рыцаря?
«Долго б спать мне непрерывным сном,
юный рыцарь! (говорит она)

если б ты не разбудил меня.
Сон мой был очарованием
злого, хитрого волшебника,
Черномора-ненавистника.
Вижу перстень на руке твоей,
перстень добрыя волшебницы,
Велеславы благодетельной:
он своею тайной силою,
прикоснувшись к моему лицу,
уничтожил заклинание
Черномора-ненавистника».
Витязь снял с себя пернатый шлем:
чернобархатные волосы
по плечам его рассыпались.
Как заря алеет на небе,
разливаясь в море розовом
пред восходом солнца красного,
так румянец на щеках его
разливался в алом пламени.
Как роса сияет на поле,
осребренная светилом дня,
так сердечная чувствительность
в масле глаз его светилася.
Стоя с видом милой скромности
пред любезной незнакомкою,
тихим и дрожащим голосом
он красавице ответствует:
«Дар волшебницы любезныя
мил и дорог моему сердцу;
я ему обязан счастием
видеть ясный свет очей твоих».
Взором нежным, выразительным
он сказал гораздо более.

Тут красавица приметила,
что одежда полотняная
не темница для красот ее;
что любезный рыцарь-юноша
догадаться мог легохонько,
где под нею что таилося...
Так седый туман, волнуяся
над долиною зеленою,

не совсем скрывает холмики,
посреди ее цветущие;
глаз внимательного странника
сквозь волнение туманное
видит их вершинки круглые.

Незнакомка взор потупила —
закраснелася, как маков цвет,
и взялась рукою белою
за доспехи богатырские.
Рыцарь понял, что красавице
без свидетелей желается
нарядиться юным витязем.
Он из ставки вышел бережно,
посмотрел на небо синее,
прислонился к вязу гибкому,
бросил шлем пернатый на землю
и рукою подпер голову.
Что́ он думал, мы не скажем вдруг;
но в глазах его задумчивость
точно так изображалася,
как в ручье густое облако;
томный вздох из сердца вылетел.
Конь его, товарищ верный друг,
видя рыцаря, бежит к нему;
ржет и прыгает вокруг Ильи,
поднимая гриву белую,
извивая хвост изгибистый.
Но герой наш нечувствителен
к ласкам, к радости товарища,
своего коня надежного;
он стоит, молчит и думает.
Долго ль, долго ль думать Муромцу?
Нет, не долго: раскрываются
полы светло-голубой ставки,
и глазам его является
незнакомка в виде рыцаря.
Шлем пернатый развевается
над ее челом возвышенным.
Героиня подпирается
копием с булатным острием;
меч блистает на бедре ее.

В ту минуту солнце красное
воссияло ярче прежнего,
и лучи его с любовию
пролилися на красавицу.

С кроткой, нежною улыбкою
смотрит милая на витязя
и движеньем глаз лазоревых
говорит ему: «Мы можем сесть
на траве благоухающей,
под сенистыми кусточками».
Рыцарь скоро приближается
и садится с героинею
на траве благоухающей,
под сенистыми кусточками.
Две минуты продолжается
их глубокое молчание;
в третью чудо совершается...

(Продолжение впредь)

1794

74. СТИХИ ОТ ДЕ МАЗЮРА К И. И. ДМИТРИЕВУ

Усердно с праздником я друга поздравляю;
Честнейшим образом ему того желаю,
Чего себе едва ль он может пожелать.
Желание сие я вздумал отослать
Со оным хлопцем-то, ко мне сей день присланным
И сей же от меня к тебе — ах! — отосланным.
Желание сие сосложено в стихах,
Да ведаешь сие, что ум наш не в голях.

Семион де Мазюр

P. S. Еще не утерпел, чтоб боле не сказати;
Хощу еще, мой друг, сей день я похваляти.
Коль красен вить сей день и коль — ах! — солнечн есть!
Туманов, мрака в нем совсем, совсем — ах! — несть.
Мой дух поэзии теперь весьма играет,
И красный день зимы весьма он похваляет.

1794 (?)

75. К САМОМУ СЕБЕ

Прости, надежда!.. и навек!..
Исчезло всё, что сердцу льстило,
Душе моей казалось мило;
Исчезло! Слабый человек!
Что хочешь делать? обливаться
Рекою горьких, тщетных слез?
Стенать во прахе и терзаться?..
Что пользы? Рока и небес
Не тронешь ты своей тоскою
И будешь жалок лишь себе!
Нет, лучше докажи судьбе,
Что можешь быть велик душою,
Спокоен вопреки всему.
Чего робеть? ты сам с собою!
Прибегни к сердцу своему:
Оно твой друг, твоя отрада,
За все несчастия награда —
Еще ты в свете не один!
Еще ты мира гражданин!..
Смотри, как солнце над тобою
Сияет славой, красотою;
Как ясен, чист небесный свод;
Как мирно, тихо всё в Природе!
Зефир струит зерцало вод,
И птички в радостной свободе
Поют: «будь весел, улыбнись!»
Поют тебе согласным хором.
А ты стоишь с унылым взором,
С душою мрачной?.. Ободрись
И вспомни, что бывал ты прежде,
Как мудрым в чувствах подражал,
Сократа сердцем обожал,
С Катоном смерть любил, в надежде
Носить бессмертия венец.
Житейских радостей конец
Да будет для тебя началом
Геройской твердости в душе!
Язвимый лютых бедствий жалом,
Забвенный в темном шалаше
Всем светом, ложными друзьями,

Умей спокойными очами
На мир обманчивый взирать,
Несчастье с счастьем презирать!

Я столько лет мечтой пленялся,
Хотел блаженства, восхищался!..
В минуту всё покрылось тьмой,
И я остался лишь с тоской!

Так некий зодчий, созидая
Огромный, велелепный храм
На диво будущим векам,
Гордился духом, помышляя
О славе дела своего;
Но вдруг огромный храм трясется,
Падет... упал... и нет его!..
Что ж бедный зодчий? он клянется
Не строить впредь, беспечно жить...
А я клянуся... не любить!

1795

76. ПЕСНЯ

Нет, полно, полно! впредь не буду
Себя пустой надеждой льстить
И вас, красавицы, забуду.
Нет, нет! что прибыли любить?

Любил я резвую Плениру,
Любил веселую Темиру,
Любил и сердцем и душой.
Они шутили, улыбались,
Моею страстью забавлялись;
А я — я слезы лил рекой!

Нет, полно, полно! впредь не буду
Себя пустой надеждой льстить
И вас, красавицы, забуду.
Нет, нет! что прибыли любить?

Мне горы золота сулили;
«Надейся!» — взором говорили.
Пришло к развязке наконец...
И что ж? мне двери указали!
«Учись знать шутку, друг!» — сказали.
Они смеются!.. я глупец!

Нет, полно, полно! впредь не буду
Себя пустой надеждой льстить
И вас, красавицы, забуду.
Нет, нет! что прибыли любить?

Тот ввек несчастлив будет с вами,
Кто любит прямо, не словами.
Вам мило головы кружить,
Играть невинными сердцами,
Дарить нас рабством и цепями
И только для тщеславья жить.

Нет, полно, полно! впредь не буду
Себя пустой надеждой льстить
И вас, красавицы, забуду.
Нет, нет! что прибыли любить?

Ах! лучше по лесам скитаться,
С лапландцами в снегу валяться
И плавать в лодке по морям,
Чем быть плаксивым Селадоном,
Твердить *увы* печальным тоном
И ввек служить потехой вам!

Нет, полно, полно! впредь не буду
Себя пустой надеждой льстить
И вас, красавицы, забуду.
Нет, нет! что прибыли любить?

1795

77. К МЕЛОДОРУ

В ОТВЕТ НА ЕГО ПЕСНЬ ЛЮБВИ

Когда бледнеет всё в подлунном мрачном мире
И жертвы плавают в дымящейся крови, [1]
Тогда, о Мелодор! на кроткой, нежной лире
Играя, ты поешь о сладостях любви?
Умолкни, милый друг!.. Кто будет наслаждаться
Гармонией твоей? кто ею восхищаться?..
Но нет! играй и пой, любезнейший Орфей!
Поет и в страшный гром на миртах соловей! [2]

1795

78. ХЛОЯ

Пусть свет злословный утверждает,
Что в Хлое постоянства нет;
Что Хлоя всякий день меняет
　　Любви своей предмет!
Неправда: Хлоя обожает
　　Всегда один предмет;
Его всему предпочитает.
«Кого же? верно, не тебя?»
　　Ах, нет!.. себя!

1795

79. ГЕКТОР И АНДРОМАХА

Перевод из шестой книги «Илиады»

(Во время сражения троян с греками Гектор у ворот городских прощается с Андромахою; подле нее стоит кормилица, держа на руках маленького сына их. Сия сцена изображена на многих картинах и эстампах.)

Безмолвствуя, герой на милую взирает
И к сердцу нежному супругу прижимает;
Тоска в ее душе, уныние и страх.
«О Гектор! — говорит печальная в слезах, —

---

[1] Тогда была война.
[2] Сии стихи писаны во время грому — и в самую ту минуту пел соловей.

Ты хочешь умереть! оставить сиротою
Младенца бедного, меня навек вдовою!
Ах! можно ль жить тому, кто жизни не щадит?
Геройство, храбрый дух тебя не защитит.
Враги бесчисленны: тебе погибнуть должно!..
О боги! если вам спасти его не можно,
Пусть прежде я навек сомкну глаза свои!
В печали, в горести возникли дни мои, —
В печали, в горести им должно и скончаться!
Почто мне в свете жить? кем буду утешаться?
Все ближние мои в сырой земле лежат.
Озлобленный Ахилл разрушил славный град,
Где царствовал наш род; убийственной рукою
Лишив меня отца, Ахилл почтил слезою
Его пустынный гроб, над коим царский щит,
Блестящее копье и шлем с мечом висит;
Где тлеет прах его под тенью древ священных,
Руками ореад в сем месте насажденных.
И братия мои в невинности своей
Погибли на заре цветущих, юных дней.
Зеленые луга их кровью обагрились,
Где с агнцами они играя веселились.
Смерть в младости страшна! Осталась мать моя;
Но строгий, тяжкий плен был жребием ея;
Когда же наконец в отчизну возвратилась,
От горести и слез в мир теней преселилась.
Но я не сирота, пока супруг мой жив;
И с Гектором судьбу мою соединив,
Родителей, друзей и братий в нем имею.
В тебе они живут: ты смертию своею
Их снова умертвишь. — Ах! сжалься надо мной...
Над бедным, плачущим, безмолвным сиротой!
Сей день ужасен мне: останься, Гектор, с нами!
Пусть воины твои сражаются с врагами;
Но ты останься здесь и город защищай.
Смотри, как вождь Атрид, как храбрый Менелай,
Аякс, Идоменей, Ахейские герои
Стремятся дерзостно к вратам священной Трои!
Будь стражем наших стен; супругу успокой!»

«Что скажут обо мне (ответствует герой)
Фригийские сыны и дщери Илиона,

Когда укроюсь здесь? Не я ль защитник трона
Родителей моих? — Кто с самых юных дней
Учился не робеть сверкающих мечей;
Кто в битвах возмужал и дышит только славой,
Тому опасности все должны быть забавой.
Сиянье дел моих затмится ль ныне вдруг?..
Погибнет не в стенах, но в поле твой супруг!
Увы! настанет день, предсказанный судьбою,
Настанет в ужасе, и в прах низвергнет Трою!..
Падет, разрушится священный Илион!
Падет, разрушится Приамов светлый трон!
Падут его сыны!.. Фригийская держава
Исчезнет как мечта — умолкнет наша слава!..
Но что душе моей ужаснее всего?
Не гибель Фригии и рода моего,
Не жалостная смерть родителей почтенных
И братий, в юности цветущей убиенных,
Но участь слезная супруги моея...
Стенание, тоска неволи твоея
В отечестве врагов!.. Там гордый победитель,
Троянских древних стен свирепый сокрушитель,
Захочет при тебе сей подвиг величать,
Чтоб горестью твоей свой злобный дух питать;
Велит тебе идти с фиалою златою
На Гиперийский ключ, за пенистой водою —
И мстительный народ, твою печаль любя,
С коварной радостью там спросит у тебя:
«Супругу ль Гектора мы видим пред собою?»
Ты тяжко воздохнешь и слезною рекою
Омоешь грудь свою!.. Но прежде боги мне
Откроют путь во гроб. В глубоком, вечном сне
Не буду зреть, что ты, любезная, страдаешь,
Пока твой Гектор жив, печали не узнаешь!»

Сказав сие, герой младенца хочет взять,
Чтоб с нежной ласкою прелестного обнять;
Но грозный шлем его младенца устрашает:
Он плачет и глаза рукою закрывает.
С улыбкой Гектор зрит на сына своего,
И черный, грозный шлем снимает для него;
Берет любезного, целует с восхищеньем
И, вверх его подняв, вещает с умиленьем:

«Премудрый царь богов, всесильный бог Зевес!
И вы, бессмертные властители небес!
Храните дни его! Под вашею защитой
Да будет он герой, в потомстве знаменитый;
Да будет Гектором счастливейших времен...
Украшен славою и храбрыми почтен,
Ужасен для врагов, непобедимый воин!
Да скажут все об нем: «Сей сын отца достоин,
Бессмертен по делам и подвигам своим!..
И сердце матери да радуется им!»

Сказав, любезного младенца ей вручает.
Она берет его и к сердцу прижимает,
Покоит на груди, усмешкой веселит.
Но нежная слеза в очах ее блестит;
Трепещет грудь ее, волнуется от страха, —
Со вздохом Гектор ей вещает: «Андромаха!
Ты плачешь?.. Ах! почто безвременно страдать?
Не властен у меня враг злобный жизнь отнять,
Доколе я храним державными богами.
Назначен всем предел небесными судьбами,
И рано ль, поздно ли скончается наш век;
Неустрашимый вождь и робкий человек —
Со славой иль стыдом — низыдет в гроб безмолвно,
Оставя милых, всех родных, друзей... Но полно!
Поди, любезная! и дома скорбь рассей
Трудами нежных рук. Глас трубный, стук мечей
Зовет меня на брань. Тому, кто всех славнее,
Быть должно впереди, — быть там, где враг
сильнее».

Герой в последний раз на милую воззрел,
Обтер ее слезу... и грозный шлем надел.
Супруга нежная должна повиноваться —
Идет в свой тихий дом слезами обливаться —
Взирает издали на друга своего —
Взирает... но уже вдали не зрит его!
Вздохнув, спешит она в чертог уединенный,
Древами мрачными печально осененный.
Там в горести своей желает умереть;
Предчувствуя удар, оплакивает смерть
Супруга своего; зрит в мыслях пред собою

Его кровавый труп, несомый тихо в Трою
На греческих щитах... И солнце для нее
Утратило навек сияние свое.

1795

80. СТИХИ
НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ А. А. П⟨ЛЕЩЕЕВ⟩ОЙ 14 ОКТЯБРЯ

Ты в мрачном октябре родилась — не весною, —
Чтоб сетующий мир утешен был тобою.

1795

81. ПОСЛАНИЕ К ЖЕНЩИНАМ

The gen'rous God, who wit and gold refines,[1]
And ripens spirits as he ripens minds,
To you gave sense, good humour and... a Poet.

Pope[2]

О вы, которых мне любезна благосклонность
Любезнее всего! которым с юных лет
Я в жертву приносил, чего дороже нет:
Спокойствие и вольность;
Которых милые глаза,
Улыбка и слеза
Закон в душе моей писали
И мною так играли,
Как резвый ветерок пером,
Тогда еще, как я гонялся
За пестрым мотыльком,
Считал себя богатырем,
Когда на дерево взбирался
За пташкиным гнездом...
(И всё лишь для того, чтоб милой, нежной *Розе,*

---

[1] То есть Феб или Аполлон.

[2] Всеблагий бог, пекущийся о нас,
Шлифующий наш разум, как алмаз,
Вам кротость дал, рассудок и... Поэта.

Поп. — Ред.

Красотке нашего села,
Подобной в самом деле розе,
Подарком угодить; чтоб *Роза* мне была
Обязана своей забавой)...
О вы, для коих я хотел врагов разить, [1]
Не сделавших мне зла! хотел воинской славой
Почтение людей, отличность заслужить,
Чтоб с лавром на главе пред вашими очами
Явиться и сказать :«Для вас, для вас и вами!
Возьмите лавр, а мне в награду... поцелуй!»
Для коих после я, в войне добра не видя,
В чиновных гордецах чины возненавидя,
Вложил свой меч в ножны («Россия, торжествуй, —
Сказал я, — без меня!») ... и, вместо острой шпаги,
Взял в руки лист бумаги,
Чернильницу с пером,
Чтоб быть писателем, творцом,
Для вас, красавицы, приятным;
Чтоб слогом чистым, сердцу внятным,
Оттенки вам изображать
Страстей счастливых и несчастных,
То кротких, то ужасных;
Чтоб вы могли сказать:
«Он, право, мил и верно переводит
Всё темное в сердцах на ясный нам язык;
Слова для тонких чувств находит!» —
О вы, в которых я привык
Любить себя, Природу
И всё, что смертных роду
В предмет любви дано!
Я к вам хочу писать послание стихами.
Дам волю сердцу: пусть оно
С своими милыми друзьями
Что хочет говорит!
Не нужно думать мне: слова текут рекою
В беседе с тем, кого мы любим всей душою.
Любовь стихи животворит
И старому дает вид новый.
Скажу вам, милые, — и чем другим начать? —
Что вы родитесь свет подлунный украшать,

---

[1] Автор, будучи семнадцати лет, думал ехать в армию.

Который бы без вас в угрюмости суровой
Был самый *мрачный свет*.
Несчастный Мизогин [1] в Сибири ввек живет:
Напрасно Феб над ним в величии сияет —
Душа его от хлада умирает.
К сердцам и к счастию судьбой вам отдан ключ;
У вас в очах блестит небесный, тихий луч,
Который показать нам должен путь к блаженству,
Добру и совершенству;
Другим путем к тому вовеки не дойдем.

Три страсти правят светом:
Одна имеет *честь* предметом,
Другая *золото,* а третьею живем
Для ваших милых глаз. Ах! первая доводит
Людей до страшных бед, злодеев производит,
Жестоких, мрачных Силл
И яростных Аттил.
Там льется кровь рекой, здесь град в огне пылает —
Начто?.. Герой [2] желает
Сказать: *«Я победил*
И честь бессмертия геройством заслужил!»
Но дни победами считая,
Пусть скажет, много ли минут блаженных счел
Он в жизни для себя? и, лавром *осеняя*
Надменное чело, не часто ли хотел
Укрыться в *сень* лесов, чтоб жертв, его рукою
Сраженных, не видать,
Их вопля не слыхать?
Путь славы не ведет к сердечному покою;
Мы зрим на нем довольно роз,
Но больше терний, больше слез.
Ах! счастье любит мир, от шума убегает —
Таков небес устав!

Кто ж в злате душу полагает,
Тот, все сокровища собрав,

---

[1] То есть ненавистник женского пола.

[2] То есть ложный герой, Аттила и подобные ему. Истинные герои сражаются для пользы своего отечества. Здесь автор представляет *честолюбие* только с худой стороны; о хорошей — молчит.

Еще души не обретает
Ни в злате, ни... в самом себе!
Всегда, как червь, ползет во прахе;
Всегда живет в ужасном страхе,
Чтоб вдруг не вздумалось судьбе
Лишить его сокровищ милых;
Таится, как сова, в тени ночей унылых,
Боясь, чтобы Феб его не осветил
И золота в мешках лучом не растопил.
Трепещет лист, и сердце в нем трепещет...
«Конечно, вор ко мне идет!..»
Где искра в воздухе сверкнет,
Там, кажется ему, кинжал убийцы блещет —
И сей безумный человек
С тоскою на часах проводит весь свой век.

Но кто пленится вами,
Любезные мои, как мил бывает тот,
Как нежен сердцем, добр делами!
Природа для него есть зрелище красот.
Не ищет рая он в пределах, нам безвестных, —
Вверху, за солнцем, выше звезд;
Он рай нашел в глазах прелестных
Любовницы своей; и тех священных мест,
Где милая гуляет,
Где, сидя над ручьем, о друге помышляет,
Не променяет он на вечную весну
Полей блаженных, Елисейских.
Он умер — для сует житейских;
Живет — лишь для любви, и зрит любовь одну
Во всем творении обширном;
Бежит от скуки городской,
Чтоб в сельском крове мирном
Питать в груди своей чувствительность, покой.
Где тихо горлицы воркуют,
Друг друга с нежностью милуют
И гнездышко себе на юных миртах вьют;
Где две малиновки поют;
Где все богатства Флоры
Сияют на лугах,
Как пурпур, золото Авроры
В час утренний блестят на тонких облаках, —

Там он, под сенью древ душистых,
Там он, под шумом вод сребристых,
С любезною своей в восторге дни ведет,
И только лишь от нежных чувств вздыхает,
И только лишь от счастья слезы льет.
Вкушая радости, он радость сообщает
Всему вокруг себя: приближится ль к нему
Печальный во слезах — он слезы осушает;
Убогий ли придет — он всё дает ему,
Желая, чтоб весь мир с ним вместе наслаждался,
Любился, восхищался...
Велите мне избрать подсолнечной царя:
Кого я изберу, усердием горя
Ко счастию людей? Того, кто всех нежнее,
Того, кто всех страстнее
Умеет вас любить, — и свет бы счастлив был!
Ах! самый лютый воин,
Который ввек на ратном поле *жил*
(И *жизни* был едва ль достоин!),
Смягчается душой, восчувствовав любовь;
Услышав имя той, которою пылает,
Щадит врагов сраженных кровь
И меч подъятый... опускает.
Нередко и скупец, чтоб милой угодить,
Приятный взор ее, улыбку заслужить,
Бывает сирых друг и нищих благодетель.
Вот действие любви — вот ваша добродетель!

Пусть строгий муж Зенон в угрюмости своей
Кричит, что должно жить нам в свете без страстей,
Людьми лишь называться,
Но камнем в сердце быть, —
Учению сему в архивах оставаться,
В сердца ж вовеки не входить;
Природа, истина его не освятили
Печатию своей. Сей разум, коим нас
Судьбы благие одарили,
О коем мудрецы твердят нам всякий час,
Не есть ли тщетный дар без склонностей сердечных?
Они-то движут нас; без них и ум молчит.
Погибель ждет пловцов беспечных,
Когда их кормщик в бурю спит;

Но кормщику не можно
Без ветра морем плыть. Уму лишь править должно
Кормилом жизни сей:
Нас по морю несет шумящий ветр страстей...
Блажен, кто с веющим зефиром,
С любовью в сердце и в очах
Летит на парусных крылах
К счастливой пристани, где с миром
Нас гений тихой смерти ждет!

«Но часто страсть любви нас к горестям ведет!»
Не часто — иногда: так тихая лампада,
Во тьме для мудрого отрада,
Бывает пагубна для резвых мотыльков, —
Ужели для того во мраке вечеров
Сидеть нам без огня? О бабочке вздыхаю,
Но свечку снова зажигаю.
Злосчастный Вертер не закон;
Там гроб его: глаза рукою закрываю...
Но здесь цветами осыпаю
Тьму брачных алтарей, где резвый Купидон
И скромный Гименей навек соединяют
Любовников сердца
И чашу жизни их блаженством наполняют.

Но за одну ли страсть достойны вы венца?
Вам юная душа поручена судьбою;
Младенец с первою слезою
Вам, милые, себя в науку отдает;
С улыбкой, чувством оживленной,
От вас он первых мыслей ждет.
Сей цвет одушевленный
Лишь вашею рукой быть может возращен,
От хлада, бури сохранен.
С любовью матери он мило расцветает;
Из глаз ее в себя луч кротости впивает
И зреет нежною душой.

Ах! я не знал тебя!.. ты, дав мне жизнь, сокрылась!
Среди весенних ясных дней
В жилище мрака преселилась!
Я в первый жизни час наказан был судьбой!

Не мог тебя ласкать, ласкаем быть тобой!
Другие на коленях
Любезных матерей в веселии цвели,
А я в печальных тенях
Рекою слезы лил на мох сырой земли,
На мох твоей могилы! ..
Но образ твой священный, милый
В груди моей напечатлен
И с чувством в ней соединен!
Твой тихий нрав остался мне в наследство;
Твой дух всегда со мной.
Невидимой рукой
Хранила ты мое безопытное детство;
Ты в летах юности меня к добру влекла
И совестью моей в час слабостей была.
Я часто тень твою с любовью обнимаю
И в вечности тебя узнаю! ..

Простите мне, что я о мертвой вспомянул
И с горестью вздохнул!

Подобно как в саду, где роза с нежным крином,
Нарцисс и анемон, аврикула с ясмином
И тысячи цветов
Пестреют на брегу кристальных ручейков,
Не знаешь, что хвалить, над чем остановиться,
На что смотреть, чему дивиться, —
Так я теряюсь в красотах
Прелестных ваших душ. Хвалить ли в вас
то чувство,
Которым истину находите в вещах [1]
Скорее всех мужчин? Нам надобно искусство,
Трудиться разумом, работать, размышлять,
Чтоб истину сыскать;
Для нас она живет в лесах, в вертепах темных
И в кладезях подземных, —
Для вас же птичкою летает на лугах;

[1] Я несколько раз имел случай удивляться *острому понятию* женщин, которое Лафатер называет *чувством истины.* Мужчина десять раз переменяет мысли свои; женщина остается при первом чувстве — и редко обманывается.

Махнете ей — и вдруг она у вас в руках...
Скажите, отчего мудрец Сократ милее
Всех прочих мудрецов? учение его
Приятнее других, приятнее, сильнее
Нас к мудрости влечет? Я знаю — оттого,
Что граций он любил, с Аспазией был дружен.
Философу совет ваш нужен,
Чтоб *ум* людей пленить, подобно как *сердца*
Умеете пленять. Любезность мудреца
Должна быть истине приправой;
Иначе скучен нам и самый разум здравый —
Любезность же сия есть ваш бесценный дар.
Хвалить ли в вас тот жар,
С которым вы всегда добро творить готовы?
Вам милы бедных кровы;
Для вас они священный храм,
Где добродетели небесной
Рукою вашею прелестной
Курится фимиам.
У вас учиться должно нам,
Как ближнему служить. Я видел жен прекрасных,
Которых юный век тому лишь посвящен,
Чтоб муки утолять несчастных; [1]
Всечасно взор их устремлен
На то, что душу возмущает:
На скорбь, страдание и смерть!
С какою кротостью их голос увещает
Болящих не роптать на бога, но терпеть!
Колена преклонив, одна у неба просит
Им здравия или... спокойного конца;
Другая питие целебное разносит
И ласкою живит тоскующих сердца.
Своею красотою
Могли б они царей пленять;
Но им милее быть с болезнью, нищетою,
Чтоб бремя их сколь можно облегчать!
Я был тому свидетель
И слезной, пламенной рекой

---

[1] Орден так называемых *сестр милосердия*, soeurs grises, которых нежному человеколюбию удивлялся я в лионских больницах.

Излил восторг души. Ах! благость, добродетель
Священнее всего являют образ свой
В лице красавицы любезной!

Хвалить ли вас, друзья мои, за дар полезный
Мужчин развеселять
Одним приятным взором?
Без вас что делать нам? Друг друга усыплять
Холодным, скучным разговором?
Явитесь в обществе с усмешкой на устах,
И вдруг во всех очах
Веселья луч сверкнет; наш разум оживится;
Чтоб милым полюбиться,
Мужчина сам бывает мил...

Но кто б исчислил всё, чем свету вы полезны,
Чем сердцу вы любезны,
Тот Эйлер бы другой в науке *числить* был.
Довольно, что вы нас во всем, во всем добрее,
Почти во всем умнее,
И будете всегда нам в нежности пример.
Пусть вас злословит лицемер,
Который для того красавиц порицает,
Что средства нравиться красавицам не знает!
Скажите, что *любезен он* —
И страшный Мизогин вдруг будет... Селадон!

Положим, что найти в вас слабости возможно;
Но разве от того луна уж не светла,
Что видим пятна в ней? Ах, нет! она мила,
И кроткий свет ее поэтам славить должно.
Луна есть образ ваш: ее сребристый луч
Тьму ночи озаряет,
А прелесть ваша нам отраду в грудь вливает
Среди печальных жизни туч.

Где только люди просветились,
Жить, мыслить научились,
Мужчины обожают вас.
Где разум, чувство в усыпленьи;
Где смертных род во тьме невежества погряз;
Где сан, права людей в презреньи,

Там презрены и вы. О Азия, раба
Насильств, предрассуждений!
Когда всемощная судьба
В тебе рассеет мрак несчастных заблуждений
И нежный пол от уз освободит?
Когда познаешь ты приятность вольной страсти?
Когда в тебе любовь сердца соединит,
Не тяжкая рука жестокой, лютой власти?
Когда не гнусный страж, не крепость мрачных стен,
Но верность красоте хранительницей будет?
Когда в любви тиран-мужчина позабудет,
Что больше женщины он силой наделен?
Когда? Когда?.. Уже дщерь неба, друг судьбины,
Воззрела на тебя — орлы Екатерины
К твоим странам летят
И человечества любезной половине
Там вольность возвестят!..
Хор женщин загремит: *хвала и честь богине!*

Цвети, о нежный пол! и сыпь на нас цветы!
Исчезли для меня прелестные мечты —
Уже я не могу пленять вас красотою,
Ни юностью своей: весна моя прошла;
Зрю осень пред собою,
А осень, говорят, скучна и не мила!
Но всё еще ваш взор бывает мне отрадой
И сладкою наградой
За то, что в жизни я от злых мужчин терплю;
Но всё, но всё еще люблю
В апреле рвать фиалки с вами,
В жар летний отдыхать в тени над ручейками,
В печальном октябре грустить и тосковать,
Зимой перед огнем романы сочинять,
Вас тешить и стращать!

Сказав любви: *прости!* я дружбою святою
Живу и жить хочу. Мне резвый Купидон
Отставку подписал — любовник с сединою
Не может счастлив быть; таков судьбы закон, —
Но истинных друзей я в вас же обретаю.
Нанина! десять лет тот день благословляю,
Когда тебя, мой друг, увидел в первый раз;

Гармония сердец соединила нас
В единый миг навек. Что был я? сиротою
В пространном мире сем: скучал самим собою,
Печальным бытием. Никто меня не знал,
Никто участия в судьбе моей не брал.
Чувствительность в груди питая,
В сердцах у всех людей я камень находил;
Среди цветущих дней душою увядая,
Не в свете, но в пустыне жил.
Ты дружбой, искренностью милой
Утешила мой дух унылый;
Святой любовию своей
Во мне цвет жизни обновила
И в горестной душе моей
Источник радостей открыла.
Теперь, когда я заслужил
Улыбку граций, муз прелестных,
И гордый свет меня улыбкою почтил,
Немало слышу я приветствий, сердцу лестных,
От добрых, нежных душ. Славнейшие творцы
И Фебовы друзья, бессмертные певцы,
Меня в любви своей, в приязни уверяют
И слабый мой талант к успехам ободряют.
Но знай, о верный друг! что дружбою твоей
Я более всего горжуся в жизни сей
И хижину с тобою,
Безвестность, нищету
Чертогам золотым и славе предпочту.
Что истина своей рукою
Напишет над моей могилой? *Он любил:*
Он нежной женщины нежнейшим другом был!

1795

82. ОТВЕТ НА СТИХИ ОДНОЙ ДЕВИЦЫ, в которых она клянется Хлое, другу своему, любить ее пламенно и вечно, оставляя для Купидона только маленький уголок в сердце

На первый случай всем доволен Купидон;
За тесный *уголок* спасибо скажет он
И в нем, как может, поместится.

Но скоро уголок его распространится;
Любовь весь дом займет,
И Хлоя для себя в нем места не найдет.

1795

83. ТРИОЛЕТ АЛЕТЕ[1]

В ТОТ ДЕНЬ, КАК ЕЙ ИСПОЛНИЛОСЬ 14 ЛЕТ

Четырнадцати лет
Быть Флорой, право, стыдно:
В апреле розы нет!
Четырнадцати лет
Ты лучше всех Алет:
Ах! это им обидно.
Четырнадцати лет
Быть Флорой, право, стыдно.

1795

84. НАДПИСЬ К ПОРТРЕТУ ЖЕСТОКОЙ

Любезна всем сердцам любезная моя;
А ей любезен кто? .. Не знаю, но — не я!

1795

85. К АЛИНЕ

НА СМЕРТЬ ЕЕ СУПРУГА

Супруг твой слишком счастлив был:
Не мог он жить в подлунном свете,
Где тайный рок в своем совете
Сердца на горесть осудил,
А счастью быть велел мечтою.
Но кто нечаянной судьбою,

---

[1] Триолет есть игрушка в стихотворстве. Надобно, чтобы он состоял из осьми стихов равной меры, и на две рифмы; чтобы четвертый стих был повторением первого, а седьмой и осьмой повторением первого и второго.

Украдкой будет здесь блажен,
Тому *век розы* положен:
Как счастлив я! едва лишь скажет,
Увянет — и в могилу ляжет.
Начто ты ангельской душой,
Своей любовью, красотой
В супруге сердце восхищала,
Его с бессмертными равняла?
Когда бы жизнью он скучал
И смерть к себе как друга звал,
Тогда бы долго прожил с нами;
Тогда б седыми волосами
Еще он... слезы отирал.
Где радость есть *судьбы ошибка*
И где веселая улыбка
Бывает редко не обман,
Там он в душе твоей прелестной
Нашел *блаженства талисман,*
Земным страдальцам неизвестный;
Нашел — и смерть нашла его.
Твоей любовью упоенный,
В жару восторга своего
Ударом рока пораженный,
Счастливец умер как заснул;
В минуту самыя кончины
Еще от нежности вздохнул.
Ах! кто из нас такой судьбины
Семи векам не предпочтет?
Не время мило, наслажденье.
Одно счастливое мгновенье
Не лучше ль многих скучных лет?

1795

86. ВЫБОР ЖЕНИХА

Лиза в городе жила,
Но невинною была;
Лиза, ангел красотою,
Ангел нравом и душою.
Время ей пришло любить...
Всем любиться в свете должно,

И в семнадцать лет не можно
Сердцу без другого жить.

Что же делать? где искать?
И кому *люблю* сказать?
Разве в свете появиться,
Всех пленить, *одним* плениться?
Так и сделала она.
Лизу люди окружили,
Лизе все одно твердили:
«Ты прельщать нас рождена!»

«Будь супругою моей! —
Говорит богатый ей. —
Всякий день тебе готовы
Драгоценные обновы;
Станешь в золоте ходить;
Ожерельями, серьгами,
Разноцветными парчами
Буду милую дарить».

Что ж красавица в ответ?
Что сказала? *да* иль *нет?*
Лиза только улыбнулась;
Прочь пошла, не оглянулась.
Гордый барин ей сказал:
«Будь супругою моею;
Будешь знатной госпожею:
Знай, я *полный* генерал!»

Что ж красавица в ответ?
Что сказала? *да* иль *нет?*
Генералу поклонилась,
Только чином не пленилась;
Лиза... далее идет;
Ищет, долго не находит...
«Так она и век проходит!..»
Ошибаетесь — найдет!

Лизе *суженый* сказал:
«Чином я не генерал
И богатства не имею,

Но любить тебя умею.
Лиза! будь навек моя!»
Тут прекрасная вздохнула,
На любезного взглянула
И сказала: *«Я твоя!»*

1795

87. НЕПОСТОЯНСТВО

Пусть счастье коловратно —
Нельзя не знать того;
Но мы еще стократно
Превратнее его.

Всё нового желаем,
От старого бежим
И счастье презираем,
Когда знакомы с ним.

Любя во всем измену,
Позволим же любить
И счастью перемену,
Чтоб нам, неверным, мстить!

1795

88. ПРОЩАНИЕ

Ударил час — друзья, простите!
Иду — куда, вы знать хотите?
В страну покойников — зачем? —
Спросить *там,* для чего мы *здесь,* друзья, живем!

1795

89. ВРЕМЯ

(Подражание)

Все вещи разрушает время,
И мрачной скукой нас томит;
Оно как тягостное бремя
У смертных на плечах лежит.

Нам, право, согласиться должно
Ему таким же злом платить
И делать всё, чем только можно
Его скорее погубить.

1795

90. ЛИЛЕЯ

Я вижу там лилею.
Ах! как она бела,
Прекрасна и мила!
Душа моя пленилась ею.
Хочу ее сорвать,
Держать в руках и целовать;
Хочу — но рок меня с лилеей разлучает:
Ах! бездна между нас зияет!..
Тоска терзает грудь мою;
Стою печально, слезы лью.

Взираю издали на нежную лилею —
Она сотворена быть, кажется, моею,
И тихий ветерок
Ко мне склоняет стебелек
Ее зеленый, изумрудный;
Ко мне же обращен и беленький цветок,
Головка снежная, ко мне... но рок
(Жестокий, безрассудный!)
Сказал: «Она не для тебя!
Увянет не с твоей слезою;
Другой сорвет ее холодною рукою;
А ты... смотри, терзай себя!»

О Лиза! я с тобою
Душой делиться сотворен,
Но бездной разлучен!

1795

91. ОДА
НА СЛУЧАЙ ПРИСЯГИ МОСКОВСКИХ ЖИТЕЛЕЙ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ ПАВЛУ ПЕРВОМУ, САМОДЕРЖЦУ ВСЕРОССИЙСКОМУ

Что слышу? Громы восклицаний,
Сердечных, радостных взываний!..
Что вижу? Весь народ спешит
Во храм, украшенный цветами;
Спешит с подъятыми руками —
Вступает... новый гром гремит,
И слезы счастия лиются!..
Се россы добрые клянутся,
Теснясь к святому олтарю,
В любви и верности царю.

Итак, на троне Павел Первый?
Венец российския Минервы
Давно назначен был ему...
Я в храм со всеми поспешаю,
Подъемлю руку, восклицаю:
«Хвала творцу, хвала тому,
Кто правит вышними судьбами!
Клянуся сердцем и устами,
Усердьем пламенным горя,
Любить российского царя!»

Мы все друг друга обнимаем,
Россию с Павлом поздравляем.
Друзья! Он будет наш отец;
Он добр и любит россов нежно!
То царство мирно, безмятежно,
В котором царь есть царь сердец;
От неба он венцом украшен
И только злым бывает страшен;
Для злых во мраке туч гремит,
Благим как бог благотворит.

Неправда, лесть! навек сокройся!
Святая искренность, не бойся
К царю приблизиться теперь!
Он хочет счастья миллионов,
Полезных обществу законов;

К нему отверста мудрым дверь.
Кто Павлу истину покажет,
О тайном зле монарху скажет,
Подаст ему благой совет,
Того он другом назовет.

В руках его весы Фемиды:
От сильных не страшусь обиды,
Не буду винен без вины.
На лица Павел не взирает
И в сердце оком проницает,
Ему все дети, все равны.
На троне правда с ним явилась,
С законом совесть примирилась:
Она в России судия;
Уставом будет глас ея.

А вы, подруги бога Феба,
Святые музы, дщери неба,
Без коих сердцу свет немил!
Ликуйте! Павел ваш любитель,
Наук, художеств покровитель!
Он в вас отраду находил,
От вас быть мудрым научался,
Когда еще от нас скрывался;
В спокойной, мирной тишине
Вы, музы, были с ним одне!

Ликуйте! Павел вас прославит,
В закон учение поставит.
Он любит подданных своих,
Которых разум просвещенный
Ценит заботу, труд священный
Монархов мудрых и благих.
Любовь невежд кому завидна?
Хвала их ложь; она постыдна.
Где разум, свет наук любим,
Там добрый царь боготворим.

Кто, чувством сердца вдохновенный,
Усердьем к трону восхищенный,

Гремит народу: «Царь отец!»
Гремит, и в сердце проницает,
Гремит, и слезы извлекает?
Питомец нежный муз — певец.
Кто память добрых сохраняет,
С потомством дальним заключает
Монархов дружеский союз?
Историк: он питомец муз.

Ты знаешь, о монарх любезный!
Сколь их дары душе полезны
И чем обязан смертный им:
Под сенью мирныя оливы
Мы будем мудростью счастливы
И храмы музам посвятим,
В которых образ твой поставим;
Тебя на лирах мы прославим,
В концах вселенной возвестим —
И мир захочет быть твоим.

Но если злобный враг явится,
Росс с Павлом, с богом ополчится,
И враг к ногам твоим падет!
Давно дружна победа с нами;
Давно великими делами
Подобных россу в мире нет, —
Что ж, будет, Павел, он с тобою?
Сразится и с самой судьбою,
Чтоб всё на свете победить,
И... мир всеобщий заключить.

Уже отеческой рукою
Щедроты льет на нас рекою.
Едва возшел на светлый трон,
И дверь в темницах отворилась;
Свобода с милостью явилась:
«На троне Павел; ты прощен», —
Рекла, и узы разрешились;
Отцы в семейство возвратились,
Детей, друзей своих обнять
И бога в Павле прославлять...

От стада пастырь удаленный,
От плуга пахарь отвлеченный,
Чтоб вечно воинами быть,
Расстались с родиной своею,
С печальной, милою семьею
И шли неволею служить;
Но ты на трон — они свободны...
Внимай, о Павел! глас народный:
Хвала твоя во всех устах,
Любовь к тебе во всех сердцах.

В тебе ж, любезная Мария,
С восторгом нежным зрит Россия
Мать бедных, сирых и вдовиц.
Собрав гонимых злой судьбою,
Ведешь их к трону за собою —
И слезы сих печальных лиц
Уже в последний раз струятся;
Они щедротой осушатся
Отца народа своего,
Монарха, друга твоего.

Вельможа сей пример увидит,
Наружный блеск возненавидит,
Захочет благостью сиять,
Достойным быть царя, царицы,
Отцом для сирого, вдовицы,
Богатство с бедным разделять;
Но скоро бедных и несчастных
В странах, тебе, монарх! подвластных,
Нигде не узрим пред собой.
Тогда настанет век златой;

Тогда с дражайшими сынами
Гряди российскими странами
От невских красных берегов
До Кети, Оби отдаленной;
Гряди — и взор твой восхищенный
Найдет среди сибирских льдов
Луга, покрытые цветами,
Поля с обильными плодами,

Сердца, довольные судьбой,
Отцом всевышним и тобой.

В прозрачном тихих вод кристалле,
Как в чистом, явственном зерцале,
Увидит счастие людей,
На злачном бреге их живущих,
Царя России зреть текущих,
Творца их мирных, райских дней;
И как бы реки ни шумели,
И как бы громы ни гремели,
Они возвысят голос свой:
«О Павел! Ты наш бог земной!

Мы царствуем, монарх, с тобою;
Трудимся только для покою;
Не знаем нужды, ни обид.
Умы наукой просветились,
И нравы грубые смягчились.
Судья лишь правый суд творит;
Везде начальник уважаем;
Тобой он мудро избираем.
Для нас течет Астреин век;
Что росс, то добрый человек.

Петр Первый был всему начало;
Но с Павлом Первым воссияло
В России счастие людей.
Вовек, вовек неразделимы,
Вовеки будут свято чтимы
Сии два имени царей!
Их церковь вместе величает,
Россия вместе прославляет;
Но ты еще дороже нам:
Петр был велик, ты мил сердцам».

Рекут — в восторге онемеют;
Слезами речь запечатлеют;
Ты с ними прослезишься сам,
Восторгом россов восхищенный,
Блаженством подданных блаженный.
Какой пример твоим сынам!

Их руки дружески сплетутся;
Они, обнявшись, поклянутся
Идти стезею дел твоих —
И бог услышит клятву их.

Монарх! не льстец, душою хладный,
К чинам, к корысти только жадный,
Тебе сию хвалу поет,
Но росс, царя усердно чтущий,
С Природой, с музами живущий,
Любитель блага, не сует.
Надежда нас не обольщает:
Кто столь премудро начинает,
Достигнет мудрого конца —
Началом ты пленил сердца.

Увидя свет Авроры ясной,
Мы ждем, что будет день прекрасный,
И Феб в сиянии златом,
В венце блестящем, в славе мирной,
Свершит на небе путь эфирный;
На самом западе своем
Еще осветит мир лучами,
Сольется яркими струями
С вечерней, тихою зарей
И алый блеск оставит в ней.

Ноябрь 1796

92. НА СМЕРТЬ КНЯЗЯ Г. А. ХОВАНСКОГО

Друзья! Хованского не стало!
Увы! нам в гробе всем лежать;
На всех грозится смерти жало:
Лишь тронет, должно умирать!

Иной сидел в златой короне,
Как бог величием сиял, —
Взгляни... венец лежит на троне,
Но венценосец прахом стал.

Гроза земли, людей губитель,
Как Зевс яряся в бурной мгле,
Взывал: «Я мира победитель!»
Но пуля в лоб — герой в земле.

Нарцисс гордился красотою
И жизнь любовью украшал;
Но вдруг скелет махнул косою...
Прости любовь! Нарцисс увял.

Другой сидел над сундуками,
От вора золото стерег;
Но, ах! за крепкими замками
Себя от смерти не сберег!

Она и в пору и не в пору
Велит нам дом переменять;
Младенцев, старцев без разбору
Спешит за гроб переселять.

Блажен, кто, жизнь свою кончая,
Еще надеждою живет
И, мир покойно оставляя,
Без страха в темный путь идет!

Друзья! так умер наш приятель.
Он верил, что есть бог сердец;
Он верил, что миров создатель
И здесь, и там для нас отец.

Чего же под его покровом
Бояться добрым в смертный час?
И там, и там, в жилище новом,
Найдутся радости для нас. —

Ничем Хованский не был славен;
Он был... лишь доброй человек,
В беседах дружеских забавен
И прожил без злодеев век.

Писал стихи, но не пасквили;
Писал, но зависти не знал;

Его немногие хвалили,
Он всех охотно прославлял.

Богатства Крезов не имея,
Он добрым сердцем был богат;
Чем мог, делился не жалея;
Отдать последнее был рад.

Друзья! пойдем с душой унылой
Ему печальный долг воздать:
Поплакать над его могилой.
Нам также будет умирать!

1 декабря 1796

93. К БЕДНОМУ ПОЭТУ

Престань, мой друг, поэт унылый,
Роптать на скудный жребий свой
И знай, что бедность и покой
Еще быть могут сердцу милы.
Фортуна-мачеха тебя,
За что-то очень невзлюбя,
Пустой сумою наградила
И в мир с клюкою отпустила;
Но истинно родная мать,
Природа, любит награждать
Несчастных пасынков Фортуны:
Дает им ум, сердечный жар,
Искусство петь, чудесный дар
Вливать огонь в златые струны,
Сердца гармонией пленять.
Ты сей бесценный дар имеешь;
Стихами чистыми умеешь
Любовь и дружбу прославлять;
Как птичка, в белом свете волен,
Не знаешь клетки, ни оков, —
Чего же больше? будь доволен;
Вздыхать, роптать есть страсть глупцов.

Взгляни на солнце, свод небесный,
На свежий луг, для глаз прелестный;



Смотри на быструю реку,
Летящую с сребристой пеной
По светло-желтому песку;
Смотри на лес густой, зеленый
И слушай песни соловья.
Поэт! Натура вся твоя.
В ее любезном сердцу лоне
Ты царь на велелепном троне.
Оставь другим носить венец:
Гордися, нежных чувств певец,
Венком, из нежных роз сплетенным,
Тобой от граций полученным!
Тебе никто не хочет льстить:
Что нужды? кто в душе спокоин,
Кто истинной хвалы достоин,
Тому не скучно век прожить
Без шума, без льстецов коварных.
Не можешь ты чинов давать,
Но можешь зернами питать
Семейство птичек благодарных;
Они хвалу тебе споют
Гораздо лучше стиходеев,
Тиранов слуха, лже-Орфеев,
Которых музы в одах лгут
Нескладно-пышными словами.
Мой друг! существенность бедна:
Играй в душе своей мечтами,
Иначе будет жизнь скучна.
Не Крез с мешками, сундуками
Здесь может веселее жить,
Но тот, кто в бедности умеет
Себя богатством веселить;
Кто дар воображать имеет
В кармане тысячу рублей,
Копейки в доме не имея.
Поэт есть хитрый чародей:
Его живая мысль, как фея,
Творит красавиц из цветка;
На сосне розы производит,
В крапиве нежный мирт находит
И строит замки из песка.
Лукуллы в неге утонченной

Напрасно вкус свой притупленный
Хотят чем новым усладить.
Сатрап с Лаисою зевает;
Платок ей бросив, засыпает.
Их жребий: дни считать, не жить;
Душа их в роскоши истлела,
Подобно камню онемела
Для чувства радостей земных.
Избыток благ и наслажденья
Есть хладный гроб воображенья;
В мечтах, в желаниях своих
Мы только счастливы бываем;
Надежда — золото для нас,
Призрак любезнейший для глаз,
В котором счастье лобызаем.

Не сытому хвалить обед,
За коим нимфы, Ганимед
Гостям амврозию разносят,
И не в объятиях Лизет
Певцы красавиц превозносят;
Всё лучше кажется вдали.
Сухими фигами питаясь,
Но в мыслях царски наслаждаясь
Дарами моря и земли,
Зови к себе в стихах игривых
Друзей любезных и счастливых
На сладкий и роскошный пир;
Сбери красоток несравненных,
Веселым чувством оживленных;
Вели им с нежным звуком лир
Петь в громком и приятном хоре,
Летать, подобно Терпсихоре,
При плеске радостных гостей
И милой ласкою своей,
Умильным, сладострастным взором,
Немым, но внятным разговором
Сердца к тому приготовлять,
Чего... в стихах нельзя сказать.
Или, подобно Дон-Кишоту,
Имея к рыцарству охоту,
В шишак и панцирь нарядись,

На борзого коня садись,
Ищи опасных приключений,
Волшебных замков и сражений,
Чтоб добрым принцам помогать
Принцесс от уз освобождать.
Или, Платонов воскрешая
И с ними ум свой изощряя,
Закон республикам давай
И землю в небо превращай.
Или... но как всё то исчислить,
Что может стихотворец мыслить
В укромной хижинке своей?

Мудрец, который знал людей,
Сказал, что мир стоит обманом;
Мы все, мой друг, лжецы:
Простые люди, мудрецы;
Непроницаемым туманом
Покрыта истина для нас.
Кто может вымышлять приятно,
Стихами, прозой, — в добрый час!
Лишь только б было вероятно.
Что есть поэт? искусный лжец:
Ему и слава и венец!

1796

94. ОТСТАВКА

> Amour, né d'un soupir,
> est comme lui léger.[1]

Итак, в отставку ты уволен!..
Что делать, нежный пастушок?
Взять в руки шляпу, посошок;
Сказать: спасибо; я доволен!
Идти, и слезки не пролить.

Иду, желая милой Хлое
Приятно с новым другом жить.

---

[1] Любовь, родившаяся из вздоха, как он легка. — *Ред.*

Свобода — дело золотое,
Свобода в мыслях и в любви.
Минута чувства воспаляет,
Минута гасит огнь в крови.
Сердца любовников смыкает
Не цепь, но тонкий волосок:
Дохнет ли резвый ветерок,
Порхнет ли бабочка меж ими...
Всему конец, и связи нет!
Начто упреками пустыми
Терзать друг друга? белый свет
Своим порядком ввек идет.
Все любят, Хлоя, разлюбляют;
Клянутся, клятву преступают:
Где суд на ветреность сердец?
Что ныне взору, чувствам мило,
То завтра будет им постыло.
Теперь вам нравится мудрец,
Чрез час понравится глупец,
И часто бога Аполлона
(Чему свидетель древний мир)
Сменял в любви лесной сатир.
Под скиптром душегубца Крона [1]
Какому постоянству быть?
Где время царь, там всё конечно,
И разве в вечности вам вечно
Придется одного любить!

Итак, смотри в глаза мне смело;
Я, право, Хлоя, не сердит.
Шуметь мужей несносных дело;
Любовник видит — и молчит;
Укажут дверь — и он с поклоном
Ее затворит за собой;
Не ссорясь с новым Селадоном,
Пойдет... стихи писать домой.

Я жил в Аркадии с тобою
Не час, но целых сорок дней!

---

[1] Сатурна.

Довольно — лучший соловей
Поет не долее весною...
Я также, Хлоя, пел тебя!..
И ты с восторгом мне внимала;
Рукою... на песке писала:
Люблю — люблю — умру любя!

Но старый друг твой не забудет,
Что кто о старом помнить будет,
Лишится глаза, как Циклоп: [1]
Пусть, Хлоя, мой обширный лоб
Подчас украсится рогами;
Лишь только был бы я с глазами!

1796

95. НАДЕЖДА

Il est doux quelquefois
de rever le bonheur. [2]

Среди песков, степей ужасных,
Где солнце пламенем горит,
Что душу странников несчастных
Отрадой сладкою живит?
Надежда — что труды не вечны;
Что степь, пески не бесконечны;
Что странник в хижине своей,
В прохладе нежного Зефира,
В объятиях любви и мира,
Жить будет с милою семьей.

Надежда! ты моя богиня!
Надежда, луч души моей!
Мне жизнь — печаль, мне свет — пустыня:
Дышу отрадою твоей!
Хотя томлюся и страдаю,
Но ты во мне... не умираю!
За тучей вижу я зарю,
И сердце бьется в ожиданьи —

---

[1] Русская пословица: «Кто старое помянет, тому глаз вон».
[2] Приятно иногда о счастии мечтать (франц.). — *Ред.*

Живу в любезнейшем желаньи:
Вдали возможность счастья зрю!

Еще мы можем, ангел милый,
Друг друга радостно любить!
В душе моей, теперь унылой,
Твой образ может с счастьем жить!
Когда? когда? — увы! не знаю;
Но, веря чувству, ожидаю,
Что нам готовится венец;
Что мы навек соединимся
И в жизни раем насладимся:
Умрем в слиянии сердец.

Ручей два древа разделяет,
Но ветви их сплетясь растут;
Судьба два сердца разлучает,
Но вместе чувства их живут.
Препятствий страшных миллионы,
Тиранство рока и законы
Не могут страсти прохладить:
Она всего, всего сильнее;
Всего, мой милый друг, святее —
Сам бог велит нам так любить!

Он влил мне в грудь небесный пламень
Любви, всесильныя любви.
Могу ль сказать: «Будь, сердце, камень, —
Угасни огнь в моей крови?»
Могу ль сказать *прости* надежде?
Мы видим — любим, друг мой, прежде
Чем знаем, должно ли любить;
Полюбим, и в себе не властны;
Умолкнет разум беспристрастный —
Лишь сердце будет говорить.

Когда ж, о милый друг! нам должно
В сем мире только слезы лить,
В другом, в другом еще возможно
Несчастным счастливыми быть!
Клянуся... Небо будь свидетель!..

Любить святую добродетель,
Чтоб рай в том мире заслужить,
Где всё прошедшее забудем,
Где только милых помнить будем;
А рай мой... там с тобою жить!

1796

96. ОПЫТНАЯ СОЛОМОНОВА МУДРОСТЬ, или мысли, выбранные из Экклезиаста

Во цвете пылких, юных лет
Я нежной страстью услаждался;
Но ах! увял прелестный цвет,
Которым взор мой восхищался!
Осталась в сердце пустота,
И я сказал: «Любовь — мечта!»

Любил я пышность в летах зрелых,
Богатством, роскошью блистал;
Но вместо счастья, дней веселых,
Заботы, скуку обретал;
Простился в старости с мечтою
И назвал пышность суетою.

Искал я к истине пути,
Хотел узнать всему причину, —
Но нам ли таинств ключ найти,
Измерить мудрости пучину?
Все наши знания — мечта,
Вся наша мудрость — суета!

К чему нам служит власть, когда, ее имея,
Не властны мы себя счастливыми творить;
И сердца своего покоить не умея,
Возможем ли другим спокойствие дарить?

В чертогах кедровых, среди садов прекрасных,
В объятиях сирен, ко мне любовью страстных,
Томился и скучал я жизнию своей;
Нет счастья для души, когда оно не в ней.

Уныние мое казалось непонятно
Наперсникам, рабам: я вкус свой притупил,
Излишней негою все чувства изнурил —
Не нужное для нас бывает ли приятно?

Старался я узнать людей;
Узнал — и в горести своей
Оплакал жребий их ужасный.
Сердца их злобны — и несчастны;
Они враги врагам своим,
Враги друзьям, себе самим.

Там бедный проливает слезы,
В суде невинный осужден,
Глупец уважен и почтен;
Злодей находит в жизни розы,
Для добрых терние растет,
Темницей кажется им свет.

Смотри: неверная смеется —
Любовник горестью сражен:
Она другому отдается,
Который ею восхищен;
Но скоро клятву он забудет,
И скоро... сам обманут будет.

Ехидны зависти везде, везде шипят;
Достоинство, талант и труд без награжденья.
Творите ли добро — вам люди зло творят.
От каменных сердец не ждите сожаленья.

Злословие свой яд на имя мудрых льет;
Не судит ни об ком рассудок беспристрастный,
Лишь страсти говорят. — Кто в роскоши живет,
Не знает и того, что в свете есть несчастный.

Но он несчастлив сам, не зная отчего;
Желает получить, имеет и скучает;
Желает нового — и только что желает.
Он враг наследнику, наследник враг его.

По грозной влаге Океана
Мы все плывем на корабле
Во мраке бури и тумана;
Плывем, спешим пристать к земле —
Но ветр ярится с новой силой,
И море... служит нам могилой.

Умы людей ослеплены.
Что предков наших обольщало,
Тем самым мы обольщены;
Ученье их для нас пропало,
И наше также пропадет —
Потомков та же участь ждет.

Ничто не ново под луною:
Что есть, то было, будет ввек.
И прежде кровь лилась рекою,
И прежде плакал человек,
И прежде был он жертвой рока,
Надежды, слабости, порока.

И царь и раб его, безумец и мудрец,
Невинная душа, преступник, изверг злобы,
Исчезнут все как тень — и всем один конец:
На всех грозится смерть, для всех отверсты гробы.

Для тигра, агницы сей луг равно цветет,
Равно питает их. Несчастных притеснитель
Покоится в земле, как бедных утешитель;
На хладном гробе их единый мох растет.

Гордися славою, великими делами
И памятники строй: что пользы? ты забыт,
Как скоро нет тебя, народом и друзьями;
Могилы твоея никто не посетит.

Как жизнь для смертного мятежна!
И мы еще желаем жить!
Как власть и слава ненадежна!
И мы хотим мечтам служить,
Любить, чего любить не должно,
Искать, чего найти не можно!

Несчастный, слабый человек!
Ты жизнь проводишь в огорченьи
И кончишь дни свои в мученьи.
Ах! лучше не родиться ввек,
Чем в жизни каждый миг терзаться
И смерти каждый миг бояться!

Ничтожество! ты благо нам;
Ты лучше капли наслаждений
И моря страшных огорчений;
Ты друг чувствительным сердцам,
Всегда надеждой обольщенным,
Всегда тоскою изнуренным!

Что нас за гробом ждет, не знает и мудрец.
Могила, тление всему ли есть конец?
Угаснет ли душа с разрушенным покровом,
На небо ль воспарив, жить будет в теле новом?

Сей тайны из людей никто не разрешил.
И червя произвел творец непостижимый;
Животные и мы его рукой хранимы;
Им так же, как и нам, он чувство сообщил.

Подобно нам, они родятся, умирают.
Где будет их душа? где будет и твоя,
О бренный человек? В них чувства исчезают,
Исчезнут и во мне, увы! что ж буду я?

Но кто из смертных рассуждает?
Скупец богатство собирает,
Как будто ввек ему здесь жить;
Пловцы сражаются с волнами, —
Зачем? чтоб Тирскими коврами
Глаза роскошного прельстить.

Пред мощным слабость трепетала;
Он гром держал в своих руках:
Чело скрывая в облаках,
Гремел, разил — земля пылала —
Но меркнет свет в его очах,
И бог земный... падет во прах.

Как розы юные прелестны!
И как прелестна красота!
Но что же есть она? мечта,
Темнеет цвет ее небесный,
Минута — и прекрасной нет!
Вздохнув, любовник прочь идет.

Так всё проходит здесь — и скоро глас приятный
Умолкнет навсегда для слуха моего;
Свирели, звуки арф ему не будут внятны;
Застынет в жилах кровь от хлада своего.

Исчезнут для меня все прелести земные;
Ливанское вино престанет вкусу льстить;
Преклонится от лет слабеющая выя,
И томною ногой я должен в гроб ступить.

Подруги нежные, которых ласки были
Блаженством дней моих! простите навсегда!
Уже судьбы меня с любовью разлучили;
Весна не расцветет для старца никогда.

А ты, о юноша прелестный!
Спеши цветы весною рвать
И время жизни, дар небесный,
Умей в забавах провождать;
Забава есть твоя стихия;
Улыбка красит дни младые.

За чашей светлого вина
Беседуй с умными мужами;
Когда же тихая луна
Явится на небе с звездами,
Спеши к возлюбленной своей —
Забудь... на время мудрость с ней.

Люби!.. но будь во всем умерен;
Пол нежный часто нам неверен;
Любя, умей и разлюбить.
Привычки, склонности и страсти
У мудрых должны быть во власти:
Не мудрым цепи их носить.

Нам всё *употреблять* для счастия возможно,
Во зло употреблять не должно ничего;
Спокойно разбирай, что истинно, что ложно:
Спокойствие души зависит от сего.

Сам бог тебе велит приятным наслаждаться,
Но помнить своего великого творца:
Он нежный вам отец, о нежные сердца!
Как сладостно ему во всем повиноваться!

Как сладостно пред ним и плакать и вздыхать!
Он любит в горести несчастных утешать,
И солнечным лучом их слезы осушает,
Прохладным ветерком их сердце освежает.

Не будь ни в чем излишне строг;
Щади безумцев горделивых,
Щади невежд самолюбивых;
Без гнева обличай порок:
Добро всегда собой прекрасно,
А зло и гнусно и ужасно.

Прощая слабости другим,
Ты будешь слабыми любим,
Любовь же есть святой учитель.
И кто не падал никогда?
Мудрец, народов просветитель,
Бывал ли мудр и тверд всегда?

В каких странах благословенных
Сияет вечно солнца луч
И где не видим бурных туч,
Огнями молний воспаленных?
Ах! самый лучший из людей
Бывал игралищем страстей.

Не только для благих, будь добр и для коварных,
Подобно как творец на всех дары лиет.
Прекрасно другом быть сердец неблагодарных!
Награды никогда великий муж не ждет.

Награда для него есть совесть, дух покойный.
(Безумие и злость всегда враги уму:

Внимания его их стрелы недостойны;
Он ими не язвим: премудрость щит ему.)

Сияют перед ним бессмертия светилы;
Божественный огонь блестит в его очах.
Ему не страшен вид отверстыя могилы:
Он телом на земле, но сердцем в небесах.

1796

97. К НЕВЕРНОЙ

Рассудок говорит: «Всё в мире есть мечта!»
Увы! несчастлив тот, кому и сердце скажет:
«Всё в мире есть мечта!»,
Кому жестокий рок то опытом докажет.
Тогда увянет жизни цвет;
Тогда несносен свет;
Тогда наш взор унылый
На горестной земле не ищет ничего,
Он ищет лишь... могилы!..
Я слышал страшный глас, глас сердца моего,
И с прелестью души, с надеждою простился;
Надежда умерла, — и так могу ли жить?

Когда любви твоей я, милая, лишился,
Могу ли что-нибудь, могу ль себя любить?..
Кто в жизни испытал всю сладость нежной страсти
И нравился тебе, тот... *жил* и долго жил;
Мне должно умереть: так рок определил.
Ах! если б было в нашей власти
Вовеки пламенно любить,
Вовеки в милом сердце жить,
Никто б не захотел расстаться с здешним светом;
Тогда бы человек был зависти предметом
Для жителей небес. — Упреками тебе
Скучать я не хочу: упреки бесполезны;
Насильно никогда не можем быть любезны.
Любви покорно всё, любовь... одной судьбе.
Когда от сердца сердце удалится,
Напрасно звать его: оно не возвратится.

Но странник в горестных местах,
В пустыне мертвой, на песках,
Приятности лугов, долин воображает,
Чрез кои некогда он шел:
«Там пели соловьи, там мирт душистый цвел!»
Сей мыслию себя страдалец лишь терзает,
Но все несчастные о счастьи говорят.
Им участь... вспоминать, счастливцу...
наслаждаться.
Я также вспомню рай, питая в сердце ад.

Ах! было время мне мечтать и заблуждаться:
Я прожил тридцать лет; с цветочка на цветок
С зефирами летал. Киприда свой венок
Мне часто подавала;
Как резвый ветерок, рука моя играла
Со флером на груди прелестнейших цирцей;
Армиды Тассовы, лаисы наших дней
Улыбкою любви меня к себе манили
И сердце юноши быть ветреным учили;
Но я влюблялся, не любя.
Когда ж узнал тебя,
Когда, дрожащими руками
Обняв друг друга, всё забыв,
Двумя горящими сердцами
Союз священный заключив,
Мы небо на земле вкусили
И вечность в миг один вместили, —
Тогда, тогда любовь я в первый раз узнал;
Ее восторгом изнуренный,
Лишился мыслей, чувств и смерти ожидал,
Прелестнейшей, блаженной!..
Но рок хотел меня для горя сохранить;
За счастье должно нам несчастием платить.

Какая смертная как ты была любима,
Как ты боготворима?
Какая смертная была
И столь любезна, столь мила?
Любовь в тебе пылала,
И подле сердца моего
Любовь, любовь в твоем так сильно трепетала!

С небесной сладостью дыханья твоего
Она лилась мне в грудь. Что слово, то блаженство;
Что взор, то новый дар. Я целый свет забыл,
Природу и друзей: Природы совершенство,
Друзей, себя, творца в тебе одной любил.
                Единый час разлуки
Был сердцу моему несносным годом муки;
                Прощаяся с тобой,
        Прощался я с самим собой...
                И с чувством обновленным
        К тебе в объятия спешил;
В душевной радости рекою слезы лил;
В блаженстве трепетал... не смертным, богом был!..
И прах у ног твоих казался мне священным!
                Я землю целовал,
                На кою ты ступала;
Как нектар воздух пил, которым ты дышала...
Увы! от счастья здесь никто не умирал,
Когда не умер я!.. Оставить мир холодный,
    Который враг чувствительным душам;
Обнявшись перейти в другой, где мы свободны
                Жить с тем, что мило нам;
Где царствует любовь без всех предрассуждений,
        Без всех несчастных заблуждений;
        Где бог улыбкой встретит нас...
                Ах! сколько, сколько раз
        О том в восторге мы мечтали
        И вместе слезы проливали!..
        Я был, я был любим тобой!

Жестокая!.. увы! могло ли подозренье
Мне душу омрачить? Ужасною виной
Почел бы я тогда малейшее сомненье;
Оплакал бы его. Тебе неверной быть!
        Скорее нас творец забудет,
Скорее изверг здесь покоен духом будет,
Чем милая души мне может изменить!
Так думал я... и что ж? на розе уст небесных,
На тайной красоте твоих грудей прелестных
Еще горел, пылал мой страстный поцелуй,
Когда сказала ты другому: *торжествуй —*
Люблю тебя!.. Еще ты рук не опускала,

Которыми меня, лаская, обнимала,
Другой, другой уж был в объятиях твоих...
Иль в сердце... всё одно! Без тучи гром ужасный
Ударил надо мной. В волненьи чувств моих
Я верить не хотел глазам своим, несчастный!
И думал наяву, что вижу всё во сне;
Сомнение тогда блаженством было мне —
Но ты, жестокая, холодною рукою
Завесу с истины сняла!..
Ни вздохом, ни одной слезою
Последней дани мне в любви не принесла!..
Как можно разлюбить, что нам казалось мило,
Кем мы дышали здесь, кем наше сердце жило?
Однажды чувства истощив,
Где новых взять для новой страсти?
Тобой оставлен я; но, ах! в моей ли власти
Неверную забыть? Однажды полюбив,
Я должен ввек любить; исчезну обожая.
Тебе судьба иная;
Иное сердце у тебя —
Блаженствуй! Самый гроб меня не утешает;
И в вечности я зрю пустыню для себя:
Я буду там один! Душа не умирает;
Душа моя и там всё будет тосковать
И тени милыя искать!

1796

98. К ВЕРНОЙ

Ты мне верна!.. тебя я снова обнимаю!..
И сердце милое твое
Опять, опять *мое!*
К твоим ногам в восторге упадаю...
Целую их!.. Ты плачешь, милый друг!..
Сладчайшие слова: *души моей супруг* —
Опять из уст твоих я в сердце принимаю!..
Ах! как благодарить творца!..
Всё горе, всю тоску навек позабываю!..

. . . .

Ты бледность своего лица
Показываешь мне — прощаешь! Не дерзаю
Оправдывать себя:
Заставив мучиться тебя,
Преступником я был. Но мне казалось ясно
Несчастие мое. И ты сама... прости...
Воспоминание душе моей ужасно!..
К сей тайне я тогда не мог ключа найти.[1]
Теперь, теперь стыжусь и впредь клянусь не верить
Ни слуху, ни глазам;
Не верить и твоим словам,
Когда бы ты сама хотела разуверить
Меня в любви своей. На сердце укажу,
Взгляну с улыбкою и с твердостью скажу:
«Оно, мой друг, спокойно;
Оно тебя достойно
Надежностью своей.
Испытывай меня!» — Пусть прелестью твоей
Другие также заразятся!
Для них надежды *цвет*, а мне — надежды *плод!*
Из них пусть каждый счастья ждет:
Я буду счастьем наслаждаться.
Их жребий: *милую любить;*
Мой жребий: *милой милым быть!*
Хотя при людях нам нельзя еще словами
Люблю друг другу говорить;
Но страстными сердцами
Мы будем всякий миг *люблю, люблю* твердить
(Другим язык сей непонятен;
Но голос сердца сердцу внятен),
И взор умильный то ж украдкой подтвердит.
Снесу жестокость принужденья
(Что делать? так судьба велит),
Снесу в блаженстве уверенья,
Что ты моя в душе своей.
Ах! истинная страсть питается собою;
Восторги чувств не нужны ей.
Я знаю, что меня с тобою
Жестокий рок готов надолго разлучить;
Скажу тебе... *прости!* и должен буду скрыть

[1] Темно; можно только догадываться.

Тоску в груди моей!.. Обильными слезами
Ее не облегчу в присутствии других;
И ангела души дрожащими устами
Не буду целовать в объятиях своих!..
Расстаться тяжело с сердечной половиной;
Но... *я любим тобой:* сей мыслию единой
Унылый мрак душевных чувств моих
Как солнцем озарится.
Разлука — опыт нам:
Кто опыта страшится,
Тот, верно, нелюбим, тот мало любит сам;
Прямую страсть всегда разлука умножает, —
Так буря слабый огнь в минуту погашает,
Но больше сил огню сильнейшему дает.
Когда души единственный предмет
У нас перед глазами,
Мы знаем то одно, что весело любить;
Но чтоб узнать всю власть его над нами —
Узнать, что без него душе не можно жить...
Расстанься с ним!.. Любовь питается слезами,
От горести растет;
И чувство, что нельзя преодолеть нам страсти,
Еще ей более дает
Над сердцем сладкой власти.

Когда-нибудь, о милый друг,
Судьбы жестокие смягчатся:
Два сердца, две руки навек соединятся;
Любовник... будет твой супруг.
Ах! станем жить: с надеждой жизнь
прекрасна;
Не нам, тому она ужасна,
Кто любит лишь один, не будучи любим.
Исчезнут для меня с отбытием твоим
Существенность и мир: в одном воображеньи
Я буду находить утехи для себя;
Далеко от людей, в лесу, в уединеньи,
Построю[1] *домик* для тебя,
Для нас двоих, над тихою *рекою*
Забвения всего, но только не любви;

[1] В мыслях.

Скажу тебе: «В сем *домике* живи
С любовью, счастьем и со мною, —
Для прочего умрем. Прельщаяся тобою,
Я прелести ни в чем ином не нахожу.
Тебе все чувства посвящаю:
Взгляну ль на что, когда на милую гляжу?
Услышу ль что-нибудь, когда тебе внимаю?
Душа моя полна: я в ней тебя вмещаю!
Пусть бог вселенную в пустыню превратит;
Пусть будем в ней мы только двое!
Любовь ее для нас украсит, оживит.
Что сердцу надобно? найти, любить другое;
А я нашел, хочу с ним вечность провести
И свету говорю: *прости!*»

Прелестный *домик* сей вдали нас ожидает;
Теперь его судьба завесой покрывает,
Но он явится нам: в нем буду жить с тобой
Или мечту сию... возьму я в гроб с собой.

1796

99. ДОЛИНА ИОСАФАТОВА, ИЛИ ДОЛИНА СПОКОЙСТВИЯ

Долина, где судьбы рукою
Хранится таинство сердец;
Где странник, жаждущий покою,
Его встречает наконец;

Где взор бывает вечно светел
И сердце дремлет в тишине;
Забот печальный вестник, петел,
Не будит счастливых во сне;

Молчат и громы и бореи,
Не слышен грозный рев зверей,
И мило-злобные цирцеи
Не ставят нежности сетей;

Где хитрый бог, любящий слезы,
Не мещет кипарисных стрел;

Где нет змеи под цветом розы,
Где счастья, истины предел!

Страна блаженная, святая!
Когда, когда тебя найду
И, мирный брег благословляя,
Корабль в пристанище введу?

К тебе нередко приближаясь,
Хочу ступить на брег... но вдруг,
С отливом в море удаляясь,
Бываю жертвой новых мук.

Ужель во мрачности тумана
Мне ввек игралищем служить
Шумящим ветрам океана,
Без цели по волнам кружить?

Довольно я терпел, крушился,
Гоняясь сердцем за мечтой;
Любил, надеялся, страшился, —
Ах! время мне вкусить покой!

Навек в груди угасни пламень!
Пусть в ней живет единый хлад!
Пусть сердце превратится в камень!
Его чувствительность мне яд.

Страна блаженная, святая!
Когда, когда тебя найду
И, мирный брег благословляя,
Корабль в пристанище введу?

1796

100. СПОРЩИК

Как странен Никодим!
Он вечно утверждает
Противное другим
И умником себя для спора называет!

1796

101. ЛЮБОВЬ КО ВРАГАМ

«Взгляните на меня: я в двадцать лет старик;
Весь высох как скелет, едва таскаю ноги;
Смотрю в очки, ношу парик;
Был Крезом год назад, теперь я Ир убогий».
— «Какой же адский дух с тобою так сшутил?»
— «Красавицы: увы! я страстно их любил!»
— «За что ж, когда они тебе врагами были?»
— «Нас учат, чтобы мы врагов своих любили!»

1796

102. IMPROMPTU

ГРАФИНЕ Р**, КОТОРОЙ В ОДНОЙ СВЯТОШНОЙ ИГРЕ ДОСТАЛОСЬ БЫТЬ КОРОЛЕВОЮ

Напрасно говорят, что случай есть слепец:
Сию минуту он вручил тебе венец,
Тебе, рожденной быть царицею сердец.
Сей выбор доказал, что случай не слепец.

1796

103. ТРИОЛЕТ ЛИЗЕТЕ

«Лизета чудо в белом свете, —
Вздохнув, я сам себе сказал, —
Красой подобных нет Лизете;
Лизета чудо в белом свете;
Умом зрела в весеннем цвете».
Когда же злость ее узнал...
«Лизета чудо в белом свете!» —
Вздохнув, я сам себе сказал.

1796

104. ДАРОВАНИЯ

Враги парнасских вдохновений,
Ума и всех его творений!
Молчите, — скройтеся во мглу!
На лире, музам посвященной,

Лучом эфирным озаренной,
Я буду им греметь хвалу.
От злобы адской трепещите:
Их слава есть для вас позор.
Певца и песнь его кляните!
Ужасен вам мой глас и взор.

А вы, которым Феб прелестный
Льет в душу огнь и свет небесный!
Приближьтесь к сердцу моему:
Оно любовью к вам пылает.
Одна печать на нас сияет:
Мы служим богу одному.
Для вас беру златую лиру,
Внимайте, милые друзья!
Подобно нежному зефиру,
В ваш слух проникнет песнь моя.

Явися, древность, предо мною!
Дерзаю смелою рукою
Раскрыть священный твой покров...
Что зрю? Людей, во тьме живущих,
Как злак бесчувственно растущих
Среди пустынь, густых лесов.
Их глас как страшный рев звериный,
Их мрачный взор свиреп и дик,
Отрада их есть сон единый;
Им день несносен, долог миг.

Сей мир, обильный чудесами,
Как сад, усеянный цветами,
Зерцало мудрого творца,
Для них напрасно существует,
Напрасно бога образует:
Подобны камню их сердца.
Среди красот их око дремлет,
Природа вся для них пуста.
Их слух гармонии не внемлет;
Безмолвны хладные уста.

Они друг друга убегают
Или друг друга поражают

За часть... иссохшего плода.
Любовь для них есть только зверство,
Ее желание — свирепство;
Взаимной страстью никогда
Сердца не тают, не пылают;
Потребность, сила всё решит...
Едва желанья исчезают,
Предмет объятий позабыт.

Таков был род людей несчастный...
Но вдруг явился Феб прекрасный
С своею лирою златой,
С лучом небесных дарований...
И силой их очарований
В душах рассеял мрак густой:
В них искры чувства воспылали!
Настал другой для смертных век;
Искусства в мире воссияли,
Родился снова человек!

Восстал, воззрел — и вся Природа,
От звезд лазоревого свода
До недр земных, морских пучин,
Пред ним в изящности явилась,
В тайнейших связях обнажилась,
Рекла: «Будь мира властелин!
Мои богатства пред тобою,
Хвали творца — будь сам творец!»
И смертный гордою рукою
Из рук ее приял венец. [1]

Где волны шумных океанов
Во мраке бури и туманов
Несутся с ревом к берегам;
Где горы с вечными снегами,
С седыми, дикими хребтами
Главу возносят к облакам;

---

[1] Чувство изящного в Природе разбудило дикого человека и произвело Искусства, которые имели непосредственное влияние на общежитие, на все мудрые законы его, на просвещение и нравственность. Орфеи, Амфионы были первыми учителями диких людей.

Где кедры, дубы вековые
От вихрей гнутся и скрыпят;
Леса угрюмые, густые
То тихо дремлют, то шумят, —

Там гений умственных творений
Нашел источник вдохновений,
Нашел в ужасном красоты,
В живой картине их представил
И бога грозного прославил.
Но там, где нежные цветы
От солнечных лучей пестреют,
С зеленой травкою сплетясь;
Кристальны ручейки светлеют,
Среди лугов журча, виясь;

Где в рощах, как в садах Армиды,
Летают резвые Сильфиды
И птички хорами поют;
Плоды древес сияют златом,
Зефиры веют ароматом,
С прохладой сладость в душу льют, —
Там он творца воображает
В небесной благости его
И гласом тихим изливает
Восторги сердца своего.

Рассудок, чувством пробужденный,
Открыл порядок неизменный
Во всех подлунных существах,
Во всех явлениях чудесных,
В бездушных тварях и словесных,
В различных года временах;
В ничтожном червячке, в былинке
Печать премудрости узрел;
В ато́мах мертвых и в песчинке
Следы величия нашел.

Чем глубже око проницало,
Тем боле сердце обретало
Приятных чувств в себе самом:
Любовь *душевная,* живая,

Любовь чистейшая, святая,
Мгновенно воспылала в нем:
Надежда, нежный страх родились,
И взор сказал: *твоя навек!* [1]
Сердца и руки съединились —
Вкусил блаженство человек.

Отцы и дети обнялися; [2]
Рекою слезы излилися
О жалких, бедных сиротах,
И слезы бедных осушились;
Святые жертвы воскурились
Благотворению в душах —
И ты, о дружба, дар небесный!
Предстала с кротостью своей;
Твой милый глас и взор прелестный
Утешил лучших из людей!

В лесах явились вертограды;
При звуке лир воздвиглись грады,
И мудрость изрекла закон:
«Жить вместе, вместе наслаждаться,
Любить добро и злом гнушаться».
Воссела *опытность* на трон,
Творить счастливыми народы,
Быть другом-гением земли;
И люди часть златой свободы
Порядку в жертву принесли. [3]

Их прежде время угнетало,
Теперь оно крылатым стало —
Летит и сыплет им цветы;
Его ... *желанье* призывает,
Его ... *надежда* озлащает
И красят розою мечты.
Труды забава усладила;

---

[1] Надежда и нежный страх суть действия благородной душевной любви, неизвестной диким. Язык взоров есть также следствие утонченной нравственности.

[2] Происхождение нравственной любви родителей к детям и детей к родителям — жалости, благотворения, благодарности, дружбы.

[3] Начало общежития законов, царской власти.

Посредством милых граций, муз
Приятность с *пользой* заключила
Навеки дружеский союз.

Итак, хвала любимцам Феба!
Хвала милейшим чадам неба!
Они творения венец;
Они мир темный просветили
И в сад пустыню обратили;
Они питают огнь сердец,
Как жрицы древле чтимой Весты
Питали в храмах огнь святой;
Покровы красоты отверсты
Для наших взоров их рукой.

Они без власти, без короны
Дают умом своим законы;
Их кисть, резец, струна и глас
Играют нежными душами,
Улыбкой, вздохами, слезами
И чувство возвышают в нас;
Любовь к изящному вливая,
Изящность сообщают нам;
Добро искусством украшая,
Велят его любить сердцам.

Так Фидий Кодра воскрешает,
И в юном воине пылает
Огонь великих, славных дел, —
Желанье подражать герою.
Так кистью нежною, живою
Сбирает прелести Апелл
И пишет образ Никофоры
В пример невинности святой,
Чтоб юных дев сердца и взоры
Нашли в нем милый образ свой.

Так голос, арфа Тимотеев
Смягчает варваров, злодеев
И чувство в хладный камень льет.
Но кто, Поэзия святая,

Благого неба дщерь благая,
Твою чудесность воспоет?
Ты все искусства заменяешь;
Ты всех искусств глава, венец;
В себе все прелести вмещаешь —
Ты бог чувствительных сердец.

Натуры каждое явленье
И сердца каждое движенье
Есть кисти твоея предмет;
Как в светлом, явственном кристалле,
Являешь ты в своем зерцале
Для глаз другой, прекрасный свет;
И часто прелесть в подражаньи
Милее, чем в Природе, нам:
Лесок, цветочек в описаньи
Еще приятнее очам. [1]

Ламберта, Томсона читая,
С рисунком подлинник сличая,
Я мир сей [2] лучшим нахожу:
Тень рощи для меня свежее,
Журчанье ручейка нежнее;
На всё с веселием гляжу,
Что Клейст, Делиль живописали;
Стихи их в памяти храня,
Гуляю, где они гуляли,
И след их радует меня!

Картина нравственного света
Еще важнее для поэта;
Богатство тонких чувств, идей
Он в ней искусно рассыпает;
Сердца для глаз изображает
Живою кистию своей:

---

[1] Все прелести изящных Искусств суть не что иное, как подражание Натуре; но копия бывает иногда лучше оригинала, по крайней мере делает его для нас всегда занимательнее: мы имеем удовольствие сравнивать.

[2] То есть мир физический, который описывали Томсон и Ст. Ламберт в своих поэмах.

Прилив, отлив желаний страстных,
Их тени, пользу, сладкий яд;
Рай светлый, небо душ прекрасных,
Порока вред и злобы ад.

Кто милых слез не проливает,
Какая грудь как воск не тает,
Когда любимец кротких муз
Поет твое, любовь, блаженство,
Души земное совершенство,
Двух пламенных сердец союз,
Одно другим благополучных,
Нашедших век златой в себе,
В несчастьи, в смерти неразлучных,
Назло и людям и судьбе?

«Для смертных много бед ужасных;
На каждом шаге зрим несчастных,
Но можно ль небо порицать?
Оно . . . *любить* не запретило!
Чье сердце нектар сей вкусило,
Тот должен бога прославлять,
Сказав: *мы счастливы! мы чада*
Всещедрых, всеблагих небес!
Любви минута есть награда
За год уныния и слез!»

Любовь Поэзией прелестна;
Холодность к музам несовместна
С горячей, нежною душей;
Кто любит, тот стихи читает,
Петрарком горе услаждает
В разлуке с милою своей.
Поэт — наставник всех влюбленных:
Он учит сердце говорить,
В молчаньи уст запечатленных
Понятным для другого быть.

Сколь все черты красноречивы
И краски стихотворца живы,
Когда он истинных друзей
В картине нам изображает;

Когда герой его вещает:
«Утешься, друг души моей!
Ты мрачен, угнетен судьбою,
Клянешь ее, не хочешь жить;
Но верный, нежный друг с тобою:
Еще ты можешь счастлив быть!»

И меч, тоскою изощренный,
К унылой груди устремленный,
Без крови из руки падет:
Несчастный с жизнию мирится,
Он быть счастливым снова льстится
И друга с чувством к сердцу жмет.
Так жизнь была мне мукой ада;
Так я глазами измерял
Пучину грозного Левкада...
О Сафе страстной размышлял...

Хотел... но друг неоцененный
Своей любовию священной
Меня в сем мире удержал.
Твой глас, Поэзия благая,
Героев добрых прославляя,
Всегда число их умножал.
Ты в Спартах мужество питаешь;
В груди к отечеству любовь,
Как огнь эфирный, развеваешь;
Гремишь... пылает славой кровь!

Гремишь: «К оружию, спартане!
Восстаньте, верные граждане!
Спешите: варвар перс идет;
Идет как тигр с отверстым зевом,
Идет как буря с грозным ревом,
Оковы, стыд для вас несет.
Что жизнь против златой свободы?
Мы только славою живем.
На вас взирают все народы:
Победа или смерть!»... *Умрем* —

Умрем, или победа с нами!
Взывают все, звучат щитами,

Летят на брань, и враг сражен —
Исчез! — Тогда златая лира
Гласит покой, блаженство мира.
Любовью к ближним вдохновен,
Певец описывает сладость
Несчастных горе услаждать,
Души благотворящей радость:
«Блажен, кто может помогать!

Кто только для других сбирает
И день потерянным считает,
В который для себя лишь жил!»
Умолк — но мы еще внимаем;
Себе и небу обещаем
Быть тем, что гимн певца хвалил:
Любить святую добродетель.
Ах! только надобно узнать,
Сколь счастлив бедных благодетель,
Чтоб им последнее отдать!

Когда ж с сердечною слезою
Поэт дрожащею рукою
Снимает с слабостей покров,
Являя гибель заблуждений,
Ведущих к бездне преступлений,
Змею под прелестью цветов, —
Я в духе с ним изнемогаю...
Ах! кто из нас страстей не раб?
Смотрю на небо и взываю:
«Спаси, спаси меня! я слаб!»

Я слаб, и слабого прощаю,
Как брата к сердцу прижимаю;
Суди другой: спешу помочь...
Что вижу? В ужасе Природа!
Эфир лазоревого свода
Затмила в день густая ночь;
Шумят леса, ярятся воды,
И... зритель в сердце охладел:
Злодей на сцене, враг Природы;
Он в ужас Естество привел —

Злодей, презревший все уставы;
Злодей, искавший адской славы
Бичом невинных — слабых быть,
Слезами их себя питая.
Напрасно благость всесвятая
Его хотела просветить
И казнь безумца отлагала!
Он глас ее пренебрегал.
«Итак, страдай!» — она сказала,
И фурий ад к нему послал...

Глаза свирепых засверкали;
Злодею ужасы предстали:
В его власах шипят змеи;
При свете факелов кинжалы [1]
Пред ним блистают как зерцалы:
Он видит в них дела свои!
Бежит — себя не избегает:
Везде с собой, везде злодей!
Природа гневная вещает
Ему: «Страдай: ты враг людей!»

Преступник, в сердце развращенный,
Таким явленьем устрашенный,
Спешит сокрыться от очей;
Но трагик вслед ему взывает,
И эхо грозно повторяет:
«Будь добр — или страдай, злодей!»
Я взор печальный отвращаю;
Другой, любезнейший предмет
Для сердца, чувства обретаю:
Орфей бессмертие поет...

И стон несчастных умолкает,
И бедный слезы отирает...
«Что жизнь? единый быстрый луч!
Сверкнет, угаснет — мы хладеем;
Но с телом в гробе не истлеем:

[1] Известно, что фурии изображаются с факелами и с кинжалами.

Взойдет светило дня без туч
Для нас в другом и лучшем мире;
Там будет счастлив, счастлив ввек
И царь чувствительный в порфире,
И нищий-добрый человек.

Бессмертье, жизни сей отрада,
За краткость дней ее награда!
Твоя небесная печать
У смертных на челе сияет!
Кто чувством вечность постигает,
Не может с мигом исчезать.
Чей взор, Природу обнимая,
Открыть творца в твореньи мог, —
Тебя, премудрость всесвятая! —
Тот сам быть должен полубог».

И вдруг глас лирный возвышая,
Сильнее в струны ударяя,
Поэт дерзает заключить
Свой важный гимн хвалой священной
Причины первыя вселенной;
Дерзает в песни возвестить,
Кого миры изображают,
Кто есть Начало и Конец;
Кого уста не называют,
Но кто всего -- кто наш отец;

Кто свод небес рукой своею
Шатром раскинул над землею,
Как искру солнце воспалил,
Украсил ночь луной, звездами,
Усеял шар земной цветами,
Древа плодами озлатил;
Дал силу львам неукротимым,
Дал ум пчеле и муравью,
Полет орлам неутомимым
И яркий голос соловью;

Но кто еще, еще живее,
Для чувства, разума яснее



Открыл себя в сердцах людей:
В весельи кротком душ правдивых,
В слезе любовников счастливых,
В улыбке нежных матерей,
В стыдливом взоре дев священных,
В чертах невинности младой
И старцев, жизнью утружденных,
Идущих в вечность на покой;

Кто любит всё свое творенье,
И с чувством жизни наслажденье
Соединил во всех сердцах;
Кто эфемеров [1] примечает,
Им пищу, радость посылает
В росе и солнечных лучах;
Кому служить — есть быть счастливым,
Кого гневить — себя терзать,
Любить — есть быть добролюбивым
И ближних братьями считать;

Кто нас за гробом ожидает
И там пред нами оправдает
Все темные пути свои;
Покажет ясно... Умолкаю
И с теплой верою взываю:
«Отец! добро дела твои!»
Се лиры важные предметы,
Се гимнов слабый образец!
Они вовеки будут петы,
Вовеки новы для сердец!

А вы, питомцы муз священных,
В своих творениях нетленных
Вкушайте вечности залог!
Прекрасно жить в веках позднейших
И быть любовью душ нежнейших.
Кто лирой тронуть сердце мог,
Тот в храм бессмертия стезею
Хвалы сердечныя войдет;

[1] Насекомые, живущие только по нескольку часов.

Потомство сладкою слезою
Ему дань чести принесет.

Везде, во всех странах вы чтимы,
Душами добрыми любимы.
Вражда невежды и глупца
Блеск вашей славы умножает;
Яд черной зависти терзает
Их злые, хладные сердца.
Таланты суть для вас богатство;
Другим оставьте прах златой:
Святое Фебово собратство
Сияет чувства красотой.

Сей идол в капище богатом,
Сей огнь, сверкающий над блатом,
Меня красою не прельстит;
Вы, вы краса, корона света;
Вы солнце в мире, не планета,
В которой чуждый луч блестит.
Невежда золотым чертогом
Своей души не озлатит;
А вас и в шалаше убогом
Лучами слава озарит.

Потомство скажет: «Здесь на лире,
На сладкой арфе, в сладком мире
Играл любезнейший поэт;
В сей хижине, для нас священной,
Вел жизнь любимец муз почтенный;
Здесь он собою красил свет;
Здесь будем утром наслаждаться,
Здесь будем солнце провожать,
Читать поэта, восхищаться
И дар его благословлять».

Хотя не все, не все народы
К дарам счастливейшим Природы
Равно чувствительны душей;
Различны песнопевцев доли:
Не все восходят в Капитолий

С венками на главе своей,
При гласе труб, народном плеске[1] —
От нас, увы! далек сей храм!
Поем в тени, при лунном блеске,
Подобно скромным соловьям.

Но в самом севере угрюмом,
Под грозным Аквилонов шумом,
Есть люди — есть у них сердца,
Которым игры муз приятны,
Оттенки нежных чувств понятны:
От них мы ждем себе венца,
И если грудь красавиц милых
В любезной томности вздохнет
От наших песней, лир унылых, —
Друзья! нам в плесках нужды нет!

Пусть ветры прах певцов развеют!
Нас вспомнят, вспомнят, пожалеют:
«Умолк поэтов скромный глас!
Но мы любезных не забудем,
Читать, хвалить их песни будем;
Их имя сладостно для нас!»
Друзья! что лучше, что славнее,
Как веки жить в своих стихах?
Но то еще для нас милее,
Что можем веки жить... в сердцах!

1796

105. К ЛИЛЕ

Ты плачешь, Лилета?
Ах! плакал и я.
Смеялась ты прежде,
Я ныне смеюсь.
Мы оба друг другу
Не должны ничем.

---

[1] Как например Петрарка. Такая же честь готовилась Тассу; но он умер за несколько дней до назначенного торжества.

Есть очередь в свете,
Есть время всему;
Улыбка с слезами
В соседстве живет.
Ты прежде алела,
Как роза весной;
Зефиры пленялись
Твоей красотой.
Я также пленился,
Надежду имев;
Мечтал о блаженстве,
Страдая в душе!..
Болезнь миновалась,
И лета прошли
Любовных мечтаний;
Я Лилу забыл —
И вижу... о небо!
Что сделалось с ней?
Все алые розы
Мороз умертвил.
Где прежде зефиры
Шептали любовь,
Под сению миртов
Таился Эрот
И пальчиком нежным
С усмешкой грозил, —
Там ныне всё пусто!
Твоя красота
Угасла, как свечка;
Вспорхнула любовь
И прочь улетела;
Любовники вслед
За нею исчезли.
Лилета одна,
И хочет от скуки
Меня заманить
В старинные сети!
Я в сказке читал,
Что некогда боги
Влюбились в одну
Прекрасную нимфу:
Юпитер и Марс,

АОНИДЫ,

ИЛИ

СОБРАНІЕ РАЗНЫХЪ,

НОВЫХЪ

СТИХОТВОРЕНІЙ.

Книжка I.

1796.

Chérissons le rival qui peut nous surpasser;
Montrez moi mon vainqueur, & je cours l'embrasser.

МОСКВА.

ВЪ Университетской Типографіи,

у Ридигера и Клаудія.

Нептун и Меркурий,
И Бахус и Феб.
Красотке хотелось
Их всех обмануть,
Украсить рогами
Лбы вечных богов.
Так так и случилось:
Один за другим
Все были рогаты.
Но время прошло;
Красавица стала
Не так хороша,
И боги сослали
Ее под луну,
Где нимфа от грусти
Год слезы лила,
А после от грусти
Слюбилась — увы! —
С рогатым сатиром.
Он был небрезглив
И принял в подарок
Обноски богов. —
Ты можешь быть нимфой;
Но я не сатир!

1796

106. КЛЯТВА И ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Хотел я не любить: что ж делаю? люблю!
Любя терзаюся, крушу себя, гублю...
Но пользы нет в слезах; слезами я не смою
Того, что злой судьбе железною рукою
Угодно было начертать:
«Кокеткам торговать сердцами,
Мужьям ходить с рогами,
А *Плаксе* (то есть мне) бранить любовь словами,
Но сердцем обожать — ввек, ввек!»
Увы! слаб бедный человек!

1796

107. ХАРАКТЕР НИСЫ

Для Нисы то бывает мило,
Что прежде было ей постыло;
А что теперь для Нисы мило,
То скоро будет ей постыло.

1796

108. ПЕРЕМЕНА ЦВЕТА

Вдруг стал у Лины дурен цвет:
Конечно, в городе румян хороших нет!

1796

109. СОЛОВЕЙ

Что в роще громко раздается
При свете ясныя луны?
Что в сердце, в душу сладко льется
Среди ночныя тишины,
Когда безмолвствует Природа
И звезды голубого свода
Сияют в зеркале ручья?
Что в грудь мою тоску вселяет
И дух мой кротко восхищает? . .
Глас нежный, милый соловья!

Певец любезный, друг Орфея!
Кому, кому хвалить тебя,
Лесов зеленых Корифея?
Ты славишь громко сам себя,
Натуру в гимнах прославляя,
Свою любезнейшую мать,
И равного себе не зная,
Велишь ты зависти — молчать!

Ах! много в роще песней слышно;
Но что они перед твоей?

Как Феб златый, являясь пышно
На тверди, славою своей
Луну и звезды помрачает,
Так песнь твоя уничтожает
Гармонию других певцов.
Поет и жаворонок в поле,
Виясь под тенью облаков;
Поет приятно и в неволе
Любовь-малиновка[1] весной;

Веселый чижик, коноплянка,
Малютка пеночка, овсянка,
Щегленок, редкий красотой,
Поют и нежно и согласно
И тешат слух; но всё не то —
Их пение *одно* прекрасно,
В сравнении с твоим — ничто!
Они *одно* пленяют чувство,
А ты приводишь *всё* в восторг;
Они суть музы, ты их бог!

Какое чудное искусство!
Сперва как дальняя свирель
Петь тихо, нежно начинаешь
И всё к вниманию склоняешь;
Сперва приятный свист и трель —
Потом, свой голос возвышая
И чувство чувством оживляя,
Стремишь ты песнь свою рекой:
Как волны мчатся за волной,
Легко, свободно, без преграды,
Так быстрые твои *рулады*
Сливаются одна с другой;
Гремишь... и вдруг ослабеваешь;
Журчишь, как томный ручеек;
С любезной кротостью вздыхаешь,
Как нежный майский ветерок...

---

[1] Любовь служит здесь прилагательным к малиновке. По-русски говорят: *надежда-государь, радость-сестрица* и проч. «Малиновка есть птица любви», — сказал Бюффон.

Из сердца каждый звук несется
И в сердце тихо отдается...

Так страстный, счастливый супруг
(Любовник пылкий, верный друг)
Супруге милой изъясняет
Свою любовь, сердечный жар.
Твой громкий голос удивляет —
Он есть Природы чудный дар, —
Но тихий, в душу проницая
И чувства нежностью питая,
Еще любезнее сто раз.

Пой, друг мой! Восхищен тобою,
Под кровом ночи, в тихий час,
Несчастный сладкою слезою
Мирится с небом и судьбой;
Невольник цепи забывает,
Свободу в сердце обретает,
Находит сносным жребий свой.

Лиющий слезы над могилой
(Где прах душе и сердцу милый
Лежит в безмолвной тишине,
Как в сладком и глубоком сне),
Тебе внимая, утешает
Себя надеждой вечно жить
И вечно милого любить.

Там, там, где счастье обитает;
Где радость есть для чувств закон;
Где вздохи сердцу неизвестны;
Где мой любезный Агатон,
Как в мае гиацинт прелестный
Весной бессмертия цветет...
Меня к себе с улыбкой ждет!

Пой, друг мой! Восхищен тобою,
Природой, красною весною,
И я забуду грусть свою.

Лугов цветущих ароматы
Целят, питают грудь мою.
Когда ж сын Феба, мир крылатый,
На землю спустится с небес, [1]
Умолкнут громы и народы
Отрут оливой токи слез, —
Тогда, тогда, Орфей Природы,
Я в гимне сердце излию
И мир с тобою воспою!

1796

110. К ПОРТРЕТУ ЛОМОНОСОВА

«В отечестве Зимы, среди ее снегов, —
Сказал парнасский бог, — к бессмертной славе россов
Родись вновь Пиндар, царь певцов!»
Родился... Ломоносов.

<1797>

111. ЭПИТАФИЯ

Он жил в сем мире для того,
Чтоб жить — не зная для чего.

<1797>

112. ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА

Любовь тогда лишь нам полезна,
Как с милой дружбою сходна;
А дружба лишь тогда любезна,
Когда с любовию равна.

<1797>

---

[1] Писано было во время войны.

113. ПОСЛЕДНИЕ СЛОВА УМИРАЮЩЕГО

Бог дал мне свет ума: я истины искал,
И видел ложь везде — светильник погашаю.
Бог дал мне сердце: я страдал,
И богу сердце возвращаю.

1797

114. ПЕЧАЛЬ И РАДОСТЬ

С печалью радость здесь едва ли не равна:
Надежда с первою, с другой *боязнь* дана.

1797

115. ДЕЛИНЫ СЛОВА

О время! знаю власть закона твоего:
Все прелести лица уносишь ты с собою;
Но нежность сердца моего
Останется со мною;
А тот, кто сердцу мил,
Меня за нежность полюбил!

1797

116. К ЛЕСОЧКУ ПОЛИНЫ

Тебя, лесочек, насадила
Полина собственной рукой.
Кому же посвятила? —
«Богине прелестей». — Итак, себе самой.

1797

117. IMPROMPTU ДВУМ МОЛОДЫМ ДАМАМ, КОТОРЫЕ В МАСКАХ ПОДОШЛИ К АВТОРУ И ХОТЕЛИ УВЕРИТЬ ЕГО, ЧТО ОН ИХ НЕ УЗНАЕТ

Ничто, ничто сокрыть любезных не могло!
На вас и маска как стекло.
Прелестные глаза прелестных обличают:
Под маскою они не менее сияют.
Взглянул — и сердце мне
Сказало: вот оне!

1797

118. ДВА СРАВНЕНИЯ

1

Что наша жизнь? Роман. — Кто автор? Аноним.
Читаем по складам, смеемся, плачем... спим.

1797

2

Что есть жизнь наша? — сказка.
А что любовь? — ее завязка;
Конец печальный иль смешной.
Родись, люби — и бог с тобой!

1797

119. РАЗЛУКА

(На голос: *J'entends dans la forêt.*) [1]

Любя любимым быть —
Всего для нас милее;
Но с милой розно жить —
Всего, всего тошнее.
Что в сердце без *нее!*
В ней сердце находило
Всё счастие свое;
Без милой всё немило.

---

[1] Я слышу в лесу. — *Ред.*

Где счастье? где *она?*
И день и ночь вздыхаю;
Отрада мне одна,
Что слезы проливаю.
Довольно... так и быть!
Когда, мой друг, с тобою
Нельзя теперь мне жить,
Хочу я жить с тоскою.

1797

120. ПОКОЙ И СЛАВА

«Спокойствие дороже славы!» —
Твердят ленивые умы.
Нет, нет! они не правы;
Покоем недовольны мы:
В объятиях его скучаем
И прежде смерти умираем.
Жизнь наша столь бедна,
Превратна, неверна;
Дней ясных в ней так мало,
Так всё мгновенно для сердец,
Что удовольствия и счастия начало
Есть удовольствия и счастия конец.
Чем бережно в тени скрываться,
Бояться шороха, бояться вслух дышать,
Единственно затем, чтоб жизнию скучать
И смерти праздно дожидаться, —
Не лучше ль что-нибудь
Великое свершить? Гремящей славы путь
К бессмертию ведет. Душа живет делами
И наслаждается веками
В геройском подвиге своем.
Парить с орлом под небесами,
Сиять эфирными лучами,
Сгореть там солнечным огнем,
Оставить пепел нам — милее для героя,
Чем духом онеметь в ничтожестве покоя
И с червем прах лобзать, доколе исполин,
Рок, грозный смертных властелин,
Его не раздавил гигантскою стопою.

Всем должно быть землею!
Ты, слабый человек,
Как тень, мелькая, исчезаешь;
Но надпись о другом и в самый дальний век
Гласит: *Прохожий, стой! Героя попираешь.*[1]

1797

121. ИСПРАВЛЕНИЕ[2]

Пора, друзья, за ум нам взяться,
Беспутство кинуть, жить путем.
Не век за бабочкой гоняться,
Не век быть резвым мотыльком.

Беспечной юности утеха
Есть в самом деле страшный грех.
Мы часто плакали от смеха —
Теперь оплачем прежний смех

И другу, недругу закажем
Кого-нибудь в соблазн вводить;
Прямым раскаяньем докажем,
Что можем праведными быть.

Простите, скромные диваны,
Свидетели нескромных сцен!
Простите хитрости, обманы,
Беда мужей, забава жен!

Отныне будет всё иное:
Чтоб строгим людям угодить,
Мужей оставим мы в покое,
А жен начнем добру учить —

Не с тем, чтоб нравы их исправить —
Таких чудес нельзя желать, —

---

[1] Перевод славного латинского надгробия: Sta, viator! Heroem calcas.
[2] Шутка над лицемерами и ханжами.

Но чтоб красавиц лишь заставить
От скуки и тоски зевать.

«Зевать?» Конечно; в наказанье
За наши общие дела.
Бывало... Прочь, воспоминанье,
Чтоб снова не наделать зла.

Искусство нравиться забудем
И с *постным* видом в *мясоед*
Среди собраний светских будем
Ругать как можно злее свет;

Бранить всё то, что сердцу мило,
Но в чем сокрыт для сердца вред;
Хвалить, что грешникам постыло,
Но что к спасению ведет.

Memento mori! [1] велегласно
На балах станем восклицать
И стоном смерти ежечасно
Любезных ветрениц пугать. —

Как друг ваш столь переменился,
Угодно ль вам, друзья, спросить?..
Сказать ли правду?.. Я лишился
(Увы!) способности грешить!

1797

122. ТАЦИТ

Таци́т велик; но Рим, описанный Таци́том,
Достоин ли пера его?
В сем Риме, некогда геройством знаменитом,
Кроме убийц и жертв не вижу ничего.
Жалеть об нем не должно:
Он стоил лютых бед несчастья своего,
Терпя, чего терпеть без подлости не можно!

1797

---

[1] То есть: *помни смерть.*

123. К ШЕКСПИРОВУ ПОДРАЖАТЕЛЮ

Ты хочешь быть, Глупон, Шекспиров подражатель;
Выводишь для того на сцену мясников,
Башмачников, портных, чудовищ и духов.
Великий Александр, земли завоеватель,
Для современников был также образцом;
Но в чем они ему искусно подражали?
В геройстве ли души? в делах? ах, нет! не в том;
Но шею к левому плечу, как он, склоняли.[1]
Что делали они, то делаешь и ты:
Уродство видим мы; но где же красоты?

1797

124. СТРАСТИ И БЕССТРАСТИЕ

Как беден человек! нам страсти — горе, мука;
Без страсти жизнь не жизнь, а скука:
Люби — и слезы проливай;
Покоен будь — и ввек зевай!

1797

125. НАДПИСЬ К ДАМСКОЙ ТАБАКЕРКЕ,
НА КОТОРОЙ ИЗОБРАЖЕНЫ МРАМОРНЫЙ СТОЛП И ЦВЕТОК

Любезное глазам как цвет весенний тленно;
Любезное душе как мрамор неизменно.

1797

126. НЕСКРОМНОЕ ЭХО

Мне часто эхо изменяет:
Твержу: *Милены не люблю!*
Но эхо в роще отвечает:
Люблю!

1797

---

[1] См. Квинта Курция.

127. НАДПИСИ[1] НА СТАТУЮ КУПИДОНА

1

НА ГОЛОВУ

Где трудится голова,
Там труда для сердца мало;
Там любви и не бывало;
Там любовь — одни слова.

2

НА ГЛАЗНУЮ ПОВЯЗКУ

Любовь слепа для света
И, кроме своего
Бесценного предмета,
Не видит ничего.

3

НА СЕРДЦЕ

Любовь — анатомист: где сердце у тебя,
Узнаешь, полюбя.

4

НА ПАЛЕЦ, КОТОРЫМ КУПИДОН ГРОЗИТ

Награда скромности готова:
Будь счастлив — но ни слова!

5

НА РУКУ

Не верь любовнику, когда его рука
Дерзка.

---

[1] Сочинитель сих надписей увидел в одном доме мраморного Амура и с позволения хозяйки исписал его карандашом с головы до ног.

6
НА КРЫЛО

Амур летает для того,
Чтоб милую найти для сердца своего.
Нашедши, крылья оставляет —
Уже ему в них нужды нет, —
Летать позабывает
И с милою живет.

7
НА СТРЕЛУ, КОТОРУЮ АМУР БЕРЕТ В РУКУ

Страшитесь: прострелю!
Но вы от раны не умрете;
Лишь томно взглянете, вздохнете
И скажете: *люблю!*

8
НА НОГУ

Когда любовь без ног? Как надобно идти
От друга милого, сказав ему: *прости!*

9
НА СПИНУ

Стою всегда лицом к красавцам молодым,
Спиною к старикам седым.

1798

128. ПРОТЕЙ, ИЛИ НЕСОГЛАСИЯ СТИХОТВОРЦА

(NB. Говорят, что поэты нередко сами себе противоречат и переменяют свои мысли о вещах. Сочинитель отвечает:

Ты хочешь, чтоб поэт всегда одно лишь мыслил,
Всегда одно лишь пел: безумный человек!
Скажи, кто образы Протеевы исчислил?
Таков питомец муз и был и будет ввек.
Чувствительной душе не сродно ль изменяться?
Она мягка как воск, как зеркало ясна,

И вся Природа в ней с оттенками видна.
Нельзя ей для тебя *единою* казаться
В *разнообразии* естественных чудес.
Взгляни на светлый пруд, едва-едва струимый
Дыханьем ветерка: в сию минуту зримы
В нем яркий Фебов свет, чистейший свод небес
И дерзостный орел, горе один парящий;
Кудрявые верхи развесистых древес;
В сени их пастушок с овечкою стоящий;
На ветви голубок с подружкою своей
(Он дремлет, под крыло головку спрятав к ней) —
Еще минута... вдруг иное представленье:
Сокрыли облака в кристалле Фебов зрак;
Там стелется один волнистый, сизый мрак.
В душе любимца муз такое ж измененье
Бывает каждый час; что видит, то поет,
И, всем умея быть, всем быть перестает.
Когда в весенний день, среди лугов цветущих
Гуляя, видит он Природы красоты,
Нимф сельских хоровод, играющих, поющих,
Тогда в душе его рождаются мечты
О веке золотом, в котором люди жили
Как братья и друзья, пасли свои стада,
Питались их млеко́м; не мысля никогда,
Что есть добро и зло, *по чувству* добры были,
А более всего... резвились и любили!
Тогда он с Геснером свирелию своей
Из шума городов зовет в поля людей.
«Оставьте, говорит, жилище скуки томной,
Где всё веселие в притворстве состоит;
Где вы находите единый ложный вид
Утехи и забав. В сени Природы скромной
Душевный сладкий мир с веселостью живет;
Там счастье на лугу с фиалками цветет
И смотрится в ручей с пастушкою прекрасной.
О счастьи в городах лишь только говорят,
Не чувствуя его; в селе об нем молчат,
Но с ним проводят век, как день весенний ясный,
В невинности златой, в сердечной простоте».
Когда ж глазам его явится блеск искусства
В чудесности своей и в полной красоте:
Великолепный град, картина многолюдства,

Разнообразное движение страстей,
Подобных бурному волнению морей,
Но действием ума премудро соглашенных
И к благу общества законом обращенных;
Театр, где, действуя лишь для себя самих,
Невольно действуем для выгоды других;
Машина хитрая, чудесное сцепленье
Бесчисленных колес; ума произведенье,
Но, несмотря на то, загадка для него! —
Тогда певец села в восторге удивленья,
Забыв свирель, берет для гимна своего
Златую лиру, петь успехи просвещенья:
«Что был ты, человек, с Природою один?
Ничтожный раб ее, живущий боязливо.
Лишь в обществе ты стал Природы властелин
И в первый раз взглянул на небо горделиво,
Взглянул и прочитал там славный жребий свой:
Быть в мире сем царем, творения главой.
Лишь в обществе душа твоя *себе сказалась*
И сердце начало с сердцами говорить;
За мыслию одной другая вслед рождалась,
Чтоб лествицей уму в познаниях служить.
В Аркадии своей ты был с зверями равен,
И мнимый век златой, век лени, детства, сна,
Бесславен для тебя, хотя в стихах и славен.
Для бедных разумом жизнь самая бедна:
Лишь в общежитии мы им обогатились;
Лишь там художества с науками родились —
И первый в мире град был первым торжеством
Даров, влиянных в нас премудрым божеством.
Не в поле, не в лесах святая добродетель
Себе воздвигла храм: Сократ в Афинах жил,
И в Риме Нума царь, своих страстей владетель,
Своих законов раб, бессмертье заслужил.
Не тот *Герой добра,* кто скрылся от порока,
От искушения, измен, ударов рока
И прожил век один с полмертвою душей,
Но тот, кто был всегда примером для людей,
Среди бесчисленных опасных преткновений,
Как мраморный колосс, незыблемо стоял,
Стезею правды шел во мраке заблуждений,
Сражался с каждым злом, сражаясь, побеждал.

Так кормчий посреди морей необозримых
Без страха видит гроб *волнистый* пред собой
И слышит грозный рев пучин неизмеримых;
Там гибельная мель, здесь камни под водой;
Но с картою в руках, с магнитом пред очами
Пловец в душе своей смеется над волнами
И к пристани спешит, где ждет его покой».

В сей хижине живет питомец Эпиктета,
Который, истребив чувствительность в себе,
Надежду и боязнь, престал служить судьбе
И быть ее рабом. Сия царица света
Отнять, ни дать ему не может ничего:
Ничто не веселит, не трогает его;
Он ко всему готов. Представь конец вселенной:
Небесный свод трещит; огромные шары
Летят с своих осей; в развалинах миры...
Сим страшным зрелищем мудрец не устрашенный
Покойно бы сказал: «Мне время отдохнуть
И в гробе Естества сном вечности заснуть!»
Поэт пред ним свои колена преклоняет
И полубога в нем на лире прославляет:
«Великая душа! что мир сей пред тобой?
Горсть пыльныя земли. Кто повелитель твой?
Сам бог — или никто. Ты нужды не имеешь
В подпоре для себя: тверда сама собой.
Без счастья быть всегда счастливою умеешь,
Умея презирать ничтожный блеск его;
Оно без глаз, а ты без глаз и для него:
Смеется иль грозит, не видишь ничего.
Пусть карлы будут им велики или славны:
Обманчивый призра́к! их слава звук пустой;
В величии своем они с землею равны;
А ты равна ли с чем? с единою собой!»
И с тою ж кистию, с тем самым же искусством
Сей нравственный Апелл распишет *слабость* вам,
Для стоиков порок, но сродную сердцам
Зависимых существ, рожденных с нежным чувством...
Ах! *слабость жить мечтой,* от рока ожидать
Всего, что мыслям льстит, — *надеяться, бояться,*
От удовольствия и страха трепетать,
Слезами радости и скорби обливаться!..

«Хвалитесь, мудрецы, бесстрастием своим
И будьте камнями, назло самой природе!
Чувствительность! люблю я быть рабом твоим;
Люблю предпочитать зависимость свободе,
Когда зависимость есть действие твое,
Свобода ж действие холодности беспечной!
Кому пойду открыть страдание мое
В час лютыя тоски и горести сердечной?
Тебе ль, Зенон? чтоб ты меня лишь осудил,
Сказав, что винен я, *не властвуя собою?*
Ах! кто несчастия в сей жизни не вкусил,
Кто не был никогда терзаем злой судьбою
И слабостей не знал, в том сожаленья нет;
И редко человек, который вечно тверд,
Бывает не жесток. Я к вам пойду с слезами,
О нежные сердца! вы плакали и сами;
По чувству, опыту известна горесть вам.
К страдавшим страждущий доверенность имеет:
Кто падал, тот других поддерживать умеет.
Мы вместе воскурим молений фимиам...
Молитва общая до вышнего доходна;
Молитва общая детей отцу угодна...
Он *исполнение* с любовью изречет;
Зефир с небес для нас весть сладкую снесет;
Отчаяния мрак надеждой озарится,
И мертвый кипарис чудесно расцветет;
Кто был несчастлив, вдруг от счастья прослезится».

Богатство, сан и власть! не ищет вас поэт;
Но быть хотя на час предметом удивленья
Милее для него земного поклоненья
Бесчисленных рабов. Ему венок простой
Дороже, чем венец блистательный, златой.
С какою ж ревностью он славу прославляет
И тем, что любит сам, сердца других пленяет!
С какою ревностью он служит эхом ей,
Гремящий звук ее векам передавая!
Сын Фебов был всегда хранитель алтарей,
На коих, память душ великих обожая,
Потомство фимиам бессмертию курит.
«Всё тленно в мире сем, жизнь смертных скоротечна,
Минуты радости, но слава долговечна;

Живите для нее! — в восторге он гласит. —
Достойна жизни цель, достойна жертв награда.
Мудрец! ищи ее, трудясь во тьме ночей:
Да искрой истины возжженная лампада
Осветит ряд веков и будет для людей
Источником отрад! Творец благих законов!
Трудись умом своим для счастья миллионов!
Отдай отечеству себя и жизнь, герой!
Для вас покоя нет; но есть потомство, слава:
История для вас подъемлет грифель свой.
Вы жертвой будете всемирного устава,
Низыдете во гроб, но только *для очей:*
Для благодарных *душ* дни ваши бесконечны;
Последствием своим дела и разум вечны:
Сатурн не может их подсечь косой своей.
Народы, коих вы рождения не зрели,
Которых нет еще теперь и колыбели,
Вас будут знать, любить, усердно прославлять,
Как гениев земли считать полубогами
И клясться вашими святыми именами!»

Так свойственно певцу о славе воспевать;
Но часто видя, как сердца людей коварны,
Как души низкие всё любят унижать,
Как души слабые в добре неблагодарны,
Он в горести гласит: «О слава! ты мечта,
И лишь вдали твои призра́ки светозарны;
Теряется вблизи их блеск и красота.
Могу ли от того я быть благополучен,
Что скажет обо мне народная молва?
Счастливо ль сердце тем, что в лаврах голова?
Великий Александр себе был в славе скучен
И в чаше Вакховой забвения искал.[1]
Хвалы ораторов афинских он желал;
Но острые умы его пересмехали:
В Афинах храбреца безумцем называли.
Ах! люди таковы: в божественных душах
Лишь смотрят на порок, изящного не видят;
Великих любят все... в романах, на словах,
Но в свете часто их сердечно ненавидят.

---

[1] Известно, что Александр излишне любил вино.

Для счастия веков трудись умом своим, —
В награду прослывешь мечтателем пустым;
Будь мудр, и жди себе одних насмешек злобных.
Глупцам приятнее хвалить себе подобных,
Чем умных величать; глупцов же полон свет.
Но справедливость нам потомство отдает!..
Несчастный! что тебе до мнения потомков?
Среди могил, костей и гробовых обломков
Не будешь чувствовать, что скажут о тебе.
Безумен славы раб! безумен, кто судьбе
За сей *кимвальный звон* отдаст из доброй воли
Спокойствие души, блаженство тихой доли!
Не знает счастия, не знает тот людей,
Кто ставит их хвалу предметом жизни всей!»
Но в чем сын Фебов так с собою несогласен,
Как в песнях о любви? то счастие она,
То в сердце нежное на муку вселена;
То мил ее закон, то гибелен, ужасен.
Любовь есть прелесть, жизнь чувствительных сердец;
Она ж в Поэзии начало и конец.
Любви обязаны мы первыми стихами,
И Феба без нее не знал бы человек.
Прощаяся с ее эфирными мечтами,
Поэт и с музами прощается навек —
Или стихи его теряют цвет и сладость;
Златое время их есть только наша младость.
Внимай: Эротов друг с веселием поет
Счастливую любовь: «Как солнце красит свет
И мир физический огнем одушевляет,
Так мир чувствительный любовию живет,
Так нежный огнь ее в нем душу согревает.
Она и жизнь дает, она и жизни цель;
Училищем ее бывает колыбель,
И в самой старости, у самыя могилы
Ее бесценные воспоминанья милы.
Когда для тайных чувств своих предмет найдем,
Тогда лишь прямо жить для счастия начнем;
Тогда узнаем мы свое определенье.
Как *первый* человек, нечаянно вкусив
Плод сочный, вдруг и глад и жажду утолив,
Уверился, что есть *потребность, наслажденье,*

Узнал их связь, предмет[1] — так *юный* человек.
Любящий в первый раз, уверен в том душею,
Что создан он любить, жить с милою своею,
Составить с ней одно — или томиться ввек.
Блаженная чета!.. какая кисть опишет
Тот радостный восторг, когда любовник слышит
Слова: *люблю! твоя!*.. один сей райский миг
Завиднее ста лет, счастливо проведенных
Без горя и беды, в избытке благ земных!
Всё мило для сердец, любовью упоенных;
Где терние другим, там розы им цветут.
В пустыне ль, в нищете ль любовники живут,
Для них равно; везде, во всем судьбой довольны.
Неволя самая им кажется легка,
Когда и в ней они любить друг друга вольны.
Ах! жертва всякая для нежности сладка.
Любовь в терпении находит утешенье
И в верности своей за верность награжденье.
Над сердцем милым власть милее всех властей.
Вздыхает иногда и лучший из царей:
Всегда ли может он нам властию своею
Блаженство даровать? В любви ж всегда мы ею
И сами счастливы, и счастие даем,
Словами, взорами; слезой, улыбкой — всем.
Минута с милою есть вечность наслажденья,
И век покажется минутой восхищенья!»

Так он поет — и вдруг, унизив голос свой,
Из тихо-нежных струн дрожащею рукой
Иные звуки он для сердца извлекает...
Ах! звуки горести, тоски! Мой слух внимает:
«Я вижу юношу примерной красоты;
Любовь, сама любовь его образовала;
Она ему сей взор небесный даровала,
Сии прелестныя любезности черты.
Для счастья создан он, конечно б вы сказали;
Но томен вид его, и черный креп печали
Темнит огонь в глазах. Он медленно идет
Искать не алых роз среди лугов весенних —
И лето протекло, цветов нигде уж нет, —

[1] См. в Бюффоне чувства первого человека.

Но горестных картин и ужасов осенних
В унылых рощах, где валится желтый лист
На желтую траву, где слышен ветров свист
Между сухих дерев; где летом птички пели,
Но где уже давно их гнезда охладели.
Там юноша стоит над шумною рекой
И, зря печальный гроб Натуры пред собой,
Так мыслит: *прежде всё здесь жило, зеленело,*
Цвело для глаз; теперь уныло, помертвело!..
И я душою цвел, и я для счастья жил —
Теперь навек увял и с счастием простился!
Начто ж мне жизнь? — сказал... в волнах реки
сокрылся...

О нежные сердца! сей юноша любил;
Но милый друг ему коварно изменил!..
Хотите ли змею под алой розой видеть,
Хотите ль жизнь и свет душой возненавидеть
И в сердце собственном найти себе врага —
Любите!.. скоро прах ваш будет под землею:
Ах! жизнь чувствительных не может быть долга!
Любовь для них есть яд: восторгом и тоскою
Она мертвит сердца; восторг есть миг — пройдет,
Но душу от других благ в мире отвращает:
Всё будет скучно ей — тоска же в ней живет,
Как лютая змея; всегда, всегда терзает.
Измена, ветреность, коварство, злой обман...
Кому исчислить все причины огорчений,
Все бедствия любви? их целый океан,
При капле, может быть, сердечных наслаждений.
Когда увидите страдания черты
И бледность томную цветущей красоты,
Ах! знайте, что любовь там душу изнуряет.
Кто ж счастливым себя любовью почитает,
Тот пением сирен на время усыплен,
Но тем несчастнее, проснувшись, будет он!»

Противоречий сих в порок не должно ставить
Любимцам нежных муз; их дело выражать
Оттенки разных чувств, не мысли соглашать;
Их дело не решить, но трогать и забавить.
Пусть ищет филосóф тех кладезей подземных,

Где истина живет без всех гаданий темных
И где хранится ключ Природы для ума!
Здесь[1] сердце говорит, но истина нема;
Поэты делают язык его нам внятным —
И сердцу одному он должен быть приятным.
Оно полюбит вещь, невзлюбит через час,
И музы в сем ему охотно подражают:
То хвалят с живостью, то с жаром осуждают.
Предметы разный вид имеют здесь для нас:
С которой стороны они явятся взору,
И чувству таковы. — Поди в весенний сад,
Где ветреный Зефир, резвясь, целует Флору
В прелестных цветниках — там зрение пленят
И роза и ясмин, и ландыш и лилея:
Сорви что выберешь по вкусу своему.
Так точно, нежный вкус к Поэзии имея,
Читай стихи — и верь единственно тому,
Что нравится тебе, что сказано прекрасно
И что с потребностью души твоей согласно;
Читай, тверди, хвали: хвала стихам венец.
Поэзия — цветник чувствительных сердец.

1798

129. ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Что есть любить?
Тужить.
А равнодушным быть?
Не жить.

<1799>

130. ДУРНОЙ ВКУС

Никандр! ты хвалишь мне свой нежный вкус напрасно;
Скажу я беспристрастно,
Что вкус и груб и дурен у тебя:
Ты любишь самого себя!

<1799>

---

[1] То есть в здешнем свете.

131. ХОР И КУПЛЕТЫ, ПЕТЫЕ В МАРФИНСКОЙ[1] РОЩЕ ДРУЗЬЯМИ ПОЧТЕННОГО ХОЗЯИНА, В ДЕНЬ ИМЕНИН ЕГО

Хор

(На голос: *Ах, пошли наши подружки*)

Как тот счастлив, кто сердцами
Прямо, истинно любим;
Кто не льстивыми словами,
Но усердием хвалим!

1

(На голос: *Заря утрення взошла*)

Кто царями награжден,
Саном знатным отличен
За достоинство прямое,
В том не счастие слепое,
Но заслугу люди чтут.

Хор

Как тот счастлив, кто сердцами... *и проч.*

2

Кто не только на войне,
Но и в мирной тишине
Был согражданам полезен,
Тот отечеству любезен,
Тот есть верный патриот.

Хор

Как тот счастлив... *и проч.*

---

[1] Село Марфино, в 30 верстах от Москвы.

3

Кто пред троном в духе тверд,
Перед низшими не горд,
С ровным искренно дружится
И коварных не страшится,
Тот достоин всех похвал.

Хор

Как тот счастлив. . . *и проч.*

4

Кто среди забот и дел
Для семейства жить умел:
Быть счастливейшим супругом,
Для детей отцом и другом,
Тот чувствительным рожден.

Хор

Как тот счастлив. . . *и проч.*

5

Кто, покой Москвы блюдя,
Час свободы находя,
Любит в рощах прохлаждаться
И с друзьями забавляться,
Тот имеет нежный вкус.

Хор

Как тот счастлив. . . *и проч.*

6

Дело делать не всегда,
И веселье не беда.
Песни нам для счастья нужны:
Музы с мудростию дружны —
Именинник! будь наш Феб!

Хор

Как тот счастлив... *и проч.*

7

Праздник сей любезен нам,
Мил домашним и друзьям;
Здесь и гости не чужие;
Здесь и гости как родные
Веселятся все с тобой.

Хор

Как тот счастлив, кто сердцами
Прямо, истинно любим;
Кто не льстивыми словами,
Но усердием хвалим!

<1799>

182. КУПЛЕТЫ

(НА ТОТ ЖЕ ГОЛОС)
В ЧЕСТЬ НЕЖНОЙ МАТЕРИ, ПЕТЫЕ ЕЕ СЕМЕЙСТВОМ
В УЕДИНЕННОМ И ПРИЯТНОМ МЕСТЕ,
КОТОРОЕ НАЗЫВАЕТСЯ ЕЕ ИМЕНЕМ — ДАРЬИНЫМ

Как приятны те места,
Где Натуры красота
В простоте своей сияет,
Где любовь изображает
Имя милое твое!

Хор

Как тот счастлив... *и проч.*

Прежде именем богинь
Украшался мрак пустынь;
Имя матери святее,
Имя Дарьино милее
Всех Гомеровых имян.

Хор

Как тот счастлив... *и проч.*

Здесь любезнейшую мать
Будут дети угощать
В час вечерния прохлады;
Здесь любовь и дружба рады
С нею время проводить.

Хор

Как тот счастлив... *и проч.*

<1799>

133. ЭПИГРАММА

Я знаю, для чего Крадон твердит всегда,
Что свет наук есть зло: для вора свет беда!

<1799>

134. ИСТИНА

Кто скажет не солгав, что сроду он не лгал,
Тот разве никогда влюбленным не бывал!

<1799>

135. МЫСЛЯТ И НЕ МЫСЛЯТ

Все мыслят жить, но не живут;
Не мысля умереть, умрут.

<1799>

136. НАДГРОБИЕ ШАРЛАТАНА

Я пыль в глаза пускал;
Теперь — я пылью стал.

<1799>

137. ЖЕЛАНИЕ

Как странник, зноем утомленный,
В тени желает отдохнуть, —
Так бедный, скорбью изнуренный,
Желает вечным сном заснуть.

<1799>

138. ПРОРОЧЕСТВО НА 1799 ГОД,
НАЙДЕННОЕ В БУМАГАХ НОСТРАДАМУСА

В сей год глупцы и ум не будут — антиподы,
Из глаз мадамы *Шню*[1] родится — василиск,
Немые с сиднями составят — хороводы,
Из Рима в Клин шагнет Траянов — обелиск,
Поэта Дмитрева разлюбят — аониды,
Оставят злых людей в покое — эвмениды,
Амур явится вдруг с усами как — гусар,
Прекрасным девушкам в Москве наскучат — балы,
Скупые засветят без свеч одни — шандалы,
Чтоб всё сие воспеть, родится вновь — Пиндар.

Начало 1799

139. КУПЛЕТЫ
ИЗ ОДНОЙ СЕЛЬСКОЙ КОМЕДИИ, ИГРАННОЙ БЛАГОРОДНЫМИ ЛЮБИТЕЛЯМИ ТЕАТРА

Хор земледельцев

Как не петь нам? Мы счастливы.
Славим барина-отца.
Наши речи некрасивы,
Но чувствительны сердца.
Горожане нас умнее:
Их искусство — говорить.
Что ж умеем мы? Сильнее
Благодетелей любить.

Сельский любовник

Здесь сердца людей согласны
С их нельстивым языком,

[1] Содержательница кофейного дому, славная своим безобразием.

Наши милые прекрасны
Не раскрашенным лицом,
А природными чертами;
Обмануть нас не хотят
Ни глазами, ни словами,
Лишь по чувству говорят.

Девушка

Как нам, девушкам, ни больно
Тайну сердца объявить,
Слово вылетит невольно:
Скажешь — поздно воротить!
Притворяться ввек не можно:
Все мы созданы любить;
Лишь держаться слова должно;
Стыдно, стыдно изменить.

Сельская любовница

Я с любовию играла
И с любовию росла;
С нею горе я узнала,
С нею счастие нашла;
И надеюсь без искусства
Сердце друга сохранить;
Верность, жар и нежность чувства
Мне помогут милой быть.

Городской житель

Если в городе имеют
Больше средств пленять мужчин,
Лучше здесь любить умеют.
Там любовь есть цвет один,
Здесь любовь есть цвет с плодами.
Время нравиться пройдет,
И кокетка с сединами
Есть завялый пустоцвет.

Горожанка

Тот живет благополучно,
Кто умеет жить в другом.
О себе лишь думать — скучно;
Счастье в двух, а не в одном.

Кто же бабочкой летает
С василька на василек,
Тот любви еще не знает;
Кто любил, тот любит век.

Горожанин

Если б было в нашей власти
Вечно бабочкой летать,
Не дивился бы я страсти
С тем любить, чтоб разлюблять.
Время крылья подсекает,
И придется сиднем быть.
Поздно ветреный узнает,
Каково на ветер жить!

Госпожа

Можно в самом шуме света
С тихим сердцем век прожить,
Святость брачного обета
И невинность сохранить.
Добродетель утешает,
Страсть к раскаянью ведет.
Пусть любовник нас пленяет —
Счастье лишь супруг дает.

Горожанка

Ах! во мраке заблужденья
Счастье — ложная мечта.
Нет для сердца наслажденья,
Если совесть нечиста.
Что жена без доброй славы?
Мужу, детям вечный стыд.
Как ни худы в свете нравы,
Всякий добродетель чтит.

Староста

Женихам, невестам должно
В песне правду объявить.
Век прельщаться невозможно:
Что же можно нам? любить.
С другом жить, не с красотою;
Будешь молод не всегда.

Кто же мил душе душою,
В том морщина не беда.

Бурмистр

Будем жить, друзья, с женами,
Как живали в старину.
Худо нам быть их рабами;
Воля портит лишь жену.
Дома им не посидится;
Всё бы, всё бы по гостям.
Это, право, не годится;
Приберите их к рукам.

Вахмистр

Наш бурмистр несет пустое;
Не указ нам старина.
Воля — дело золотое,
А закон — любовь одна.
Русский создан прославляться,
Государю верным быть,
Пули, смерти не бояться
И красавицам служить.

Горожанка

Может быть, не без причины,
Если правду говорить,
Вы браните нас, мужчины;
Но одни хотите ль жить?
Вам даны Природой силы,
Нам — искусство вас ловить;
Мы друг другу, право, милы —
Будем спорить и любить!

Июнь 1800

140. ⟨ ИЗ ПИСЬМА К И. И. ДМИТРИЕВУ ⟩

Что ж может быть любви и счастия быстрее?
Как миг их время пролетит.
Но дружба нам еще милее,
Когда от нас любовь и счастие бежит.

1800

141. МЕЛАНХОЛИЯ

Подражание Делилю

Страсть нежных, кротких душ, судьбою угнетенных.
Несчастных счастие и сладость огорченных!
О Меланхолия! ты им милее всех
Искусственных забав и ветреных утех.
Сравнится ль что-нибудь с твоею красотою,
С твоей улыбкою и с тихою слезою?
Ты первый скорби врач, ты первый сердца друг:
Тебе оно свои печали поверяет;
Но, утешаясь, их еще не забывает.
Когда, освободясь от ига тяжких мук,
Несчастный отдохнет в душе своей унылой,
С любовию ему ты руку подаешь
И лучше радости, для горестных немилой,
Ласкаешься к нему и в грудь отраду льешь
С печальной кротостью и с видом умиленья.
О Меланхолия! нежнейший перелив
От скорби и тоски к утехам наслажденья!
Веселья нет еще, и нет уже мученья;
Отчаянье прошло... Но слезы осушив,
Ты радостно на свет взглянуть еще не смеешь
И матери своей, печали, вид имеешь.
Бежишь, скрываешься от блеска и людей,
И сумерки тебе милее ясных дней.
Безмолвие любя, ты слушаешь унылый
Шум листьев, горных вод, шум ветров и морей.
Тебе приятен лес, тебе пустыни милы;
В *уединении* ты *более с собой.*
Природа мрачная твой нежный взор пленяет:
Она как будто бы печалится с тобой.
Когда светило дня на небе угасает,
В задумчивости ты взираешь на него.
Не шумныя весны любезная веселость,
Не лета пышного роскошный блеск и зрелость
Для грусти твоея приятнее всего,
Но осень бледная, когда, изнемогая
И томною рукой венок свой обрывая,
Она кончины ждет. Пусть веселится свет
И счастье грубое в рассеянии новом
Старается найти: тебе в нем нужды нет;

Ты счастлива мечтой, одною мыслью — словом!
Там музыка гремит, в огнях пылает дом;
Блистают красотой, алмазами, умом:
Там пиршество... но ты не видишь, не внимаешь
И голову свою на руку опускаешь;
Веселие твое — задумавшись, молчать
И на прошедшее взор нежный обращать.

1800

142. ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ АЛЕКСАНДРУ I,

САМОДЕРЖЦУ ВСЕРОССИЙСКОМУ, НА ВОСШЕСТВИЕ ЕГО НА ПРЕСТОЛ

России император новый!
На троне будь благословен.
Сердца пылать тобой готовы;
Надеждой дух наш оживлен.
Так милыя весны явленье
С собой приносит нам забвенье
Всех мрачных ужасов зимы;
Сердца с Природой расцветают
И плод во цвете предвкушают.
Весна у нас, с тобою мы!

Как ангел божий ты сияешь
И благостью и красотой
И с первым словом обещаешь
Екатеринин век златой,
Дни счастия, веселья, славы,
Когда премудрые уставы
Внутри хранили наш покой,
А вне Россию прославляли;
Граждане мирно засыпали,
И гражданин же был герой.

Когда монаршими устами
Вещала милость к нам одна
И правила людей сердцами;
Когда и самая вина
Нередко ею отпускалась,
И власть монаршая казалась
Нам властию любви одной.

Какое сердцу услажденье
Иметь к царям повиновенье
Из благодарности святой!

Се твой обет, о царь державный,
Сильнейший из владык земных!
Ах! Россы верностию славны,
И венценосец свят для них.
Любимый и любви достойный,
На троне отческом спокойны
Береги ты громы для врагов,
Рази единое злодейство;
Россия есть твое семейство:
Среди нас ты среди сынов.

Воспитанник Екатерины!
Тебя господь России дал.
Ты урну нашея судьбины
Для дел великих восприял:
Еще их много в ней хранится,
И дух мой сладко веселится,
Предвидя их блестящий ряд!
Сколь жребий твой, монарх, отличен!
Предел добра неограничен;
Ты можешь всё — еще ты млад!

Уже воинской нашей славы
Исполнен весь обширный свет;
Пред нами падали державы;
Екатерининых побед
Венки и лавры не увянут;
Потомство, веки не престанут
Ее героев величать:
Румянцева искусным, славным,
Суворова — себе лишь равным;
Сражаться было им — карать.

Давно ль еще, о незабвенный
Суворов! с горстию своих
На Альпы Марсом вознесенный,
Бросал ты гром с вершины их,
Который, в безднах раздаваясь

И горным эхом повторяясь,
Гигантов дерзостных разил?
Ты богом ужаса являлся!..
Тебе мир низким показался,
И ты на небо воспарил.

Монарх! довольно лавров славы,
Довольно ужасов войны!
Бразды Российския державы
Тебе для счастья вручены.
Ты будешь гением покоя;
В тебе увидим мы героя
Дел мирных, правоты святой.
Возьми не меч — весы Фемиды,
И бедный, не страшась обиды,
Найдешь без злата век златой.

Когда не все законы ясны,
Ты нам их разум изъяснишь;
Когда же в смысле несогласны,
Ты их премудро согласишь.
Закон быть должен как зерцало,
Где б солнце истины сияло
Без всяких мрачных облаков.
Велик, как бог, законодатель;
Он мирных обществ основатель
И благодетель всех веков.

Монарх! еще другия славы
Достоин твой пресветлый трон:
Да царствуют благие нравы!
Пример двора для нас закон.
Разврат, стыдом запечатленный,
В чертогах у царя презренный,
Бывает нравов торжеством;
Царю придворный угождая
И добродетель обожая,
Для всех послужит образцом.

Есть род людей, царю опасный:
Их речи как идийский мед,
Улыбки милы и прекрасны;

По виду — их добрее нет;
Они всегда хвалить готовы;
Всегда хвалы их тонки, новы:
Им имя — хитрые льстецы;
Снаружи ангелам подобны,
Но в сердце ядовиты, злобны
И в кознях адских мудрецы.

Они отечества не знают;
Они не любят и царей,
Но быть любимцами желают;
Корысть их бог: лишь служат ей.
Им доступ к трону заградится;
Твой слух вовек не обольстится
Коварной, ложной их хвалой.
Ты будешь окружен друзьями,
России лучшими сынами;
Отечество одно с тобой.

Довольно патриотов верных,
Готовых жизнь ему отдать,
Друзей добра нелицемерных,
Могущих истину сказать!
У нас *Пожарские* сияли,
И *Долгорукие* дерзали
Петру от сердца говорить;
Великий соглашался с ними
И звал их братьями своими.
Монарх! Ты будешь нас любить!

Ты будешь солнцем просвещенья —
Наукой счастлив человек, —
И блеском твоего правленья
Осыпан будет новый век.
Се музы, к трону приступая
И черный креп с себя снимая,
Твоей улыбки милой ждут!
Они сердца людей смягчают,
Они жизнь нашу услаждают
И доброго царя поют!

<Март> 1801

148. НА ТОРЖЕСТВЕННОЕ КОРОНОВАНИЕ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА АЛЕКСАНДРА I, САМОДЕРЖЦА ВСЕРОССИЙСКОГО

> Il en est des grands Souverains comme des Dieux. Comblés de leurs bienfaits, nous n'avons pas pour eux des récompenses, mais nous avons des hymnes.
>
> *Thomas*[1]

Россия! торжествуй со славой!
Се юный царь, краса людей,
Приял венец и скиптр с державой,
Чтоб быть примером для царей!
Восстань, ликуй, народ великий!
Блистай, веселие сердец!
Любовью отдан сей венец.
Гремите, радостные лики:
«Монарх и подданный его
В душе желают одного!»

Сколь трудно править самовластно
И небу лишь отчет давать!
Но сколь велико и прекрасно
Делами богу подражать!
Его веленьям нет препоны;
Но он, творя, благотворит.
Он может всё, но свято чтит
Его ж премудрости законы —
И Феб в сиянии своем
Течет всегда одним путем.

Монарх России, полусвета!
Ты сам себе в добре закон.
Другой, в твои младые лета
Воссев на велелепный трон,
Хотел бы роскоши цветами
Свой путь блестящий устилать
И дни забавами считать,

---

[1] В великих государях есть нечто от богов; исполненные их благодеяниями, мы отвечаем им не воздаяниями, а гимнами. *Тома́. — Ред.*

Но ты священными трудами
Как будто платишь нам за власть;
В тебе одна ко благу страсть.

Короны блеском ослепленный,
Другой в подвластных зрит — рабов;
Но ты, душою просвещенный,
Не терпишь стука их оков;
Тебе одна любовь прелестна,
Но можно ли рабу любить?
Ему ли благодарным быть?
Любовь со страхом не совместна;
Душа свободная одна
Для чувств ее сотворена.

Сколь необузданность ужасна,
Столь ты, свобода, нам мила
И с пользою царей согласна;
Ты вечно славой их была.
Свобода там, где есть уставы,
Где добрый не боясь живет;
Там рабство, где законов нет,
Где гибнет правый и неправый!
Свобода мудрая свята,
Но равенство одна мечта.

Приятна зрению картина
Различною игрой цветов;
Для глаз печальна та равнина,
Где нет ни рощей, ни холмов.
Сей дуб, Природой вознесенный,
Для низких древ не есть ли щит?
Пусть буря грозная свистит:
Мирт слабый, дубом осененный,
Растет покойно и цветет, —
Так в обществе народ живет.

Монарх! Ты ясными чертами
Права гражданства разделил,
И зрелой мудрости плодами
Утешил нас — и удивил.

Ты кратким временем правленья
Умел сердца навек пленить.
Уже спокойно можем жить
По воле рока, провиденья, —
Невинных радостей искать
И счастье в мире избирать!

Покой — стихия человека,
И ты успел нам дать его!
Ах! многие цари, полвека
Владев, не сделали того.
Ты дни дарами блага числишь,
Как древле мудрый Антонин;
Довольны все — но ты один
Пред образом Петровым мыслишь:
«Монарх, не совершив всего,
Еще не сделал ничего!» [1]

О радость! о восторг! .. читаю
Я таинство души твоей
И славу россов созерцаю
Во глубине грядущих дней! ..
«Россия, мира половина,
От врат зимы, Камчатских льдов,
До красных Невских берегов,
До стран Колхиды и Эвксина,
Во всей обширности своей
Сияет... счастием людей!

Моря покрыты кораблями;
Флаг россов веет на кормах;
Сын Маин [2] нашими руками
Сбирает дань во всех странах.
Везде прелестные картины
Избытка, сельской красоты,
Невинной, милой простоты:
Цветут с улыбкою долины,
Блистают класами поля —
Эдемом кажется земля!

---

[1] Слова Петра Великого.
[2] Бог торговли.

Искусство украшает грады;
Везде с ботатством виден вкус.
Везде Афины — вертограды
Для Феба и любезных муз;
Везде их блеск, очарованье,
Под кровом мирной тишины;
Врата темниц отворены,
В судах глубокое молчанье,
И воин, опершись на щит,
Главу склонив, покойно спит».

У нас Астрея! восклицаю,
Или воскрес Сатурнов век!..
Ответу Клии [1] я внимаю:
«У вас на троне — человек!
Премудрый Александр, рожденный
В венце отечеству служить,
В сердцах и летописях жить!
Во дни его благословенны
Умом Россия возросла,
В добре и нравах процвела.

Он знал, что царское правленье
Есть царство света, а не тьмы;
Имел о нравах попеченье,
Сиял, как солнце, на умы;
Радел о благе воспитанья:
В начале зло искоренял;
Учил и редко прибегал
К секире грозной наказанья;
Он знал обязанность царей —
Быть провидением людей!

Страна, окованная хладом,
Где чувство, жизнь усыплены,
Является прекрасным садом
От взора теплыя весны.
Так всё, и самая Природа
В той счастливой стране цветет,
В которой на престол взойдет

---

[1] Муза истории.

Избранный муж, отец народа...
Воззри: сей велелепный храм
Воздвигнут в память всем векам —

Се храм бессмертия и славы!
Там вместе с истиной святой
Потомству я пишу уставы!
Тиранам страшен свиток мой,
Монархам добрым он любезен;
Хвалю, кляну — и глас веков
Есть звук моих священных слов.
Мой суд народам был полезен:
Никто его не избежал;
Он часто совесть воскрешал.

Там — там сияют Антонины;
Там должен Александр сиять
Между Петра, Екатерины
И титло Мудрого приять
В залог бессмертия и славы!»
Да будет!.. О монарх сердец!
Россия, царств земных венец,
(Колосс почтенный, величавый!)
Да будет под твоим жезлом
Добра и счастия венцом!

И будет! — Медленно Природа
Готовит злато и сребро
Во глубине земного свода.
Увы! зло легче, чем добро!
История тому свидетель;
Но ты отечества отец,
Для подданных вторый творец,
С тобою бог и добродетель:
Трудись!.. давай уставы нам
И будешь *Первый* по делам!

Монарх! в последний раз пред троном
Дерзнул я с лирою предстать;
Мне сердце было Аполлоном:
Люблю хвалить, но не ласкать;
Хвалил, глас общий повторяя.

Другие славные Певцы
От муз приимут в дар венцы,
Тебя без лести прославляя.
Я в храм Истории[1] иду,
И там... дела твои найду.

1801

144. ТВОРЕНИЕ

(Сочинение Гайдена)

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Рафаил, Гавриил, Уриил — архангелы.
Разные ангелы.
Адам.
Ева.

Введение изображает хаос.

Часть I

ЯВЛЕНИЕ 1

Рафаил, Уриил и ангелы.

Речитатив с музыкою.

Рафаил

В начале создал бог небо и землю; и земля была неустроена; и мрак лежал над поверхностию глубины.

Хор ангелов

И дух божий носился над поверхностию вод; и бог рек: да будет свет! .. рек — и бысть свет.

Речитатив с музыкою.

Уриил

И бог узрел изящность света; и бог отделил свет от мрачности.

---

[1] Автор занимается Российскою Историею.

Ария.

Рассеял быстрый, яркий луч света
Густого мрака черныя тучи,
И первый день настал.
Мятеж исчез, порядок начался,
И адский сонм бесчисленных духов,
Изумленный светом, летит
В кромешную тьму.

Хор

Свирепость, злоба, ужас
Волнуют их сердца.
Явился новый мир
По слову божества.

ЯВЛЕНИЕ 2

Рафаил, Гавриил и ангелы.

Речитатив.

Рафаил

И всевышний сотворил твердь, и отделил воды, которые были под нею, от вод, которые были вверху, над твердию; и бысть тако.

С музыкою.

Ярятся сильные, грозные бури;
Как пепел от ветра, так тучи несутся;
Пространства неба огнь рассекает,
И громы в воздухе страшно гремят.
Он рек, и вдруг из бездны вод
Подъялся дождь благотворный,
Всеистребляющий ливень,
Пушистый иней и снег.

Хор. Гавриил и ангелы.

Гавриил

(один)

С сердечной радостию зрит
Лик ангелов сии дела,

Дивится и поет согласно
Хвалу творца,
Хвалу второго дня.

Все

Дивится и поет согласно
Хвалу творца,
Хвалу второго дня.

ЯВЛЕНИЕ 3

Рафаил, Гавриил, Уриил и ангелы.

Речитатив.

Рафаил

И бог рек: воды под небом да соберутся в одном месте, и да явится пространство суши. И бысть тако. И господь назвал сушу землею, и собрание вод назвал он морем, и видел, что всё добро.

Ария.

Синее, пенное море,
Волнуясь, с шумом разлилось;
Холмы и скалы явились;
Восстали горы на земле.

Река широкая течет,
Струясь в изгибах, по равнине;
Быстрый перловый ручей
В долине вьется и журчит.

Речитатив.

Гавриил

И бог рек: земля да произведет зелень, травы с семенами и древа, рождающие плод по своему роду, содержащие семя свое в самих себе. И бысть тако.

Ария.

Везде прелестные луга
Являют радостным очам
Богатый изумрудный злак
И нежные цветы.

Здесь в воздух льется бальзам трав,
Питательный для чувств;
Там сочный плод златеет на древах;
Тут рощи сень густеет для жаров,
И на горе шумит дремучий лес.

Речитатив.

Уриил.

И небесные лики громко возвестили день третий, славословя бога.

Хор

Настройте лиры, прославьте ликом
Премудрость, красоту творенья!
Гремите творцу похвальную песнь!
Он небо, землю чудесно украсил
Для славы своей.

ЯВЛЕНИЕ 4

Прежние.

Речитатив.

Уриил

И бог рек: да будут светила на тверди неба, чтобы день отделять от ночи и освещать темную землю; и да будут оные для знаков, и для времен, для дней и для годов. — Господь сотворил и звезды.

С музыкою.

Се в полной, светлой красоте
Явился солнца зрак;
Как юный, радостный жених,
Как гордый исполин,
Оно свершает путь.

И кроткий луч сребристыя луны
Мрак тихой ночи озарил.
Пространство голубых небес
Украсилось сияньем многих звезд.

И сыны божии возвестили небесным пением день четвертый, прославляя бога тако:

Хор

Светила вещают нам славу бога,
И дело рук его являют небеса.

Гавриил, Уриил, Рафаил

Заря возвещает бога заре,
И ночь, исчезая, то же гласит.

Все

Светила вещают нам славу бога,
И дело рук его являют небеса.

Гавриил, Уриил, Рафаил

Глагол гремит во всех странах;
Все внимают слову,
Чувства и сердца.

Все

Светила вещают нам славу бога,
И дело рук его являют небеса.

Часть II

ЯВЛЕНИЕ 1

Гавриил, Рафаил, Уриил и ангелы.
Речитатив с музыкою.

Гавриил

И бог рек: вода да произведет многочисленных воздушных тварей, имеющих жизнь, и птиц, которые летали бы над землею в отверстых пространствах небесной тверди.

Ария

Орел, шумящим крылом взмахнув,
Летит в эфир полетом смелым
И солнце светлое зрит вблизи.
Зарю встречает жаворонка песнь,
И горлицы воркуют от любви.
Гимн сладкий милых соловьев
Во всех кусточках раздается;

Еще стон жалкий чужд для них,
Еще их нежные сердца
Не знают, что есть грусть.

Речитатив.

Рафаил

И бог создал больших китов и всякую живую тварь, которая движется; благословил их и рек:

Размножайтесь все, плодитесь!
Плодитеся вы, певцы лесов!
На каждой ветви пойте,
Множьтеся вы, жители моря,
И воду населяйте!
Растите, размножайтесь все
И веселитесь о творце!

И ангелы, играя на их бессмертных лирах, воспели чудеса пятого дня.

Трио.

Гавриил

Одеянный травой,
Коврами муравы,
От ветра струится холм;
Из темных недр его,
Как пенистый хрусталь,
Прохладный течет ручей.

Уриил

Играя, веселясь
И в воздухе кружась,
Летает птичек хор.
Эфирные цветы
От солнечных лучей
Их крылышки пестрят.

Рафаил

Здесь рыбы сквозь стекло
Прозрачныя реки
Своей чешуей блестят.
С морского дна восстав,
Огромный, мощный кит
На пенных волнах плывет.

Все трое

Сколь много, боже, дел твоих!
Кто их исчислить мог?
Велик ты властию своей
И славен в век веков.

Хор

Велик ты властию своей
И славен в век веков.

ЯВЛЕНИЕ 2

Прежние.

Речитатив.

Рафаил

И бог рек: земля да произведет теперь животных различного роду, скот и пресмыкающихся и зверей земных по их виду и свойству.

С музыкою.

Разверзлась внутренность земли;
Бог рек: она произвела
Различных тварей род,
Великих, малых, без числа.
Се лев, восстав, от радости ревет;
Выходит из мрака густых лесов тигр;
Елень бежит с зубчатою главой;
С извивистой гривой скачет, ржет
Прекрасный, бодрый, смелый конь;
Уже пасутся на лугах
Стада млеком богатых крав,
Волнистых и ручных овец.
Летит, как дым и пыль,
Как туча мрачная, род насекомых;
Изгибами ползут
В траве зеленой черви.

Ария.

Уже сияет светлое небо;
Уже земля украшена щедро;

Исполнен воздух птичек веселых;
В реках, в морях бесчисленны рыбы,
И звери землю бременят.
Но мир еще не совершен;
Еще не видим существа,
Способного любить творца,
Любить, благодарить, хвалить.

Речитатив.

У р и и л

Бог создал человека богоподобного, по своему собственному образу; создал мужа и жену; дыхание жизни вдохнул он в уста его, и человек получил бессмертную душу.

Ария.

Достоин бога своего,
Красой и силой одарен,
Главу подъемлет к небесам. . .
Се он!
Се муж — и царь природы всей!
Высокое чело его
Есть важной мудрости печать;
В очах его сияет огнь
Души,
Влиянье, образ божества.
Как ангел нежной красоты,
Подруга, часть его,
Пред ним с невинностью стоит;
В сердечной кротости цветет,
Как юная весна;
В очах ее любовь и рай.

Речитатив.

Р а ф а и л

И бог видел все сотворенное им; все было добро; и небесный лик торжествовал конец шестого дня громогласным пением.

Х о р

Свершились важные дела;
Доволен ими сам творец.

И наша радость да гремит!
Хвалу владыке возгласим!

Гавриил и Уриил

Вся тварь взирает на тебя;
О пище молит всё творца.
Разверзешь длань свою —
И тварь насыщена.

Рафаил

Когда же взор свой отвратишь,
Трепещет всё, оцепенев;
Отнимешь дух святой,
И будет прахом мир.

Гавриил, Уриил и Рафаил

Но паки благостью дохнешь,
И снова пролиется жизнь;
Лице земли цветет,
И радуется мир.

Все

Свершились важные дела:
Хвалу владыке возгласим!
Славьте, славьте имя бога!
Ему лишь слава подобает.
Аллилуиа.

Часть III

ЯВЛЕНИЕ 1

Уриил и ангелы.

Речитатив с музыкою.

Из алых облаков
Блистает луч златый,
Сияет юный день.
С лазоревого свода
Гармония небес
Лиется на мир.

Се в радости грядет
Счастливая чета!
В очах ее видна
Блаженная любовь.
И скоро их уста
Песнь богу возгласят.
Мы с ними воспоем
Всевышнему хвалу.

ЯВЛЕНИЕ 2

Адам, Ева и прежние.

Гимн с хором ангелов.

Адам и Ева

Твоей премудрости, творец,
Исполнена земля.
Огромный и чудесный мир
Есть дело рук твоих.

Хор

Премудрость нашего творца
Благословенна будь вовек!

Адам

Сколь мило, лучшая из звезд,
Ты возвещаешь день!
И сколь украшен он тобою,
О солнце, мира жизнь!

Хор

Гласите же в пути своем
Хвалу великого творца!

Ева

И ты, сопутница ночей,
И вы, светила их!
Гласите бога всем странам,
Как мы гласим его!

А д а м

Стихии мира, коих связь
Рождает все тела!
Пары, туманы, кои ветр
На крыльях быстро мчит!

А д а м и Е в а

Хвалите общего творца!

Х о р

Хвалите общего творца!
Он славой, именем велик.

Е в а

Журчите, светлые ручьи!
Шумите вы, древа!
Курите, травы и цветы,
Ваш фимиам ему.

А д а м

Живущие на вышине,
Во глубинах земли,
И вы, парящие горе,
И жители морей!

А д а м и Е в а

Хвалите бога своего!

Х о р

Хвалите бога своего!
Да славит господа вся тварь!

А д а м и Е в а

Долины, горы и леса,
Внимающие нам!
От утра до нощныя тьмы
В вас гимны да гремят!

Х о р

Хвала тебе, о бог творец!
Ты словом мир сей произвел.
Вселенная тебя гласит:
Мы славы песнь тебе поем.

ЯВЛЕНИЕ 8

Адам и Ева.

Речитатив.

Адам

Мы совершили первый долг,
Воспели нашего творца.
Гряди со мной, любезная подруга!
Я вождь тебе; и каждый шаг
Исполнит радости наш дух,
Явит нам чудеса.
Узнаешь скоро ты,
Какое счастье нам
Готовит щедрый бог.
Мы должны посвятить
Ему свои сердца.
Гряди; я буду вождь тебе.

Ева

Предмет моей души,
Мой друг, мой верный щит!
Твой глас есть мой закон;
Так бог определил.
Тебе послушной быть
Есть счастье для меня.

Дуэт.

Адам

Нежный друг! с тобою вместе
День — мгновенье для меня,
Каждый час есть сердцу радость,
Наслажденье без забот.

Ева

Нежный друг! с тобою вместе
Для блаженства я живу;
Жизнь моя твое богатство,
Мне венец твоя любовь.

Адам

Блестящее утро!
Сколь мило ты для нас!

Ева

Прохлада и вечер!
Сколь вы любезны нам!

Адам

Как сок плодов
Питает сладко вкус!

Ева

Как дух цветов
Пленителен для чувств!

Оба

Но без тебя на что б мне был

Адам

Блестящий день,

Ева

Вечерний мрак,

Адам

И сок плодов,

Ева

И дух цветов?

Оба

С тобою радости милее,
С тобою вдвое веселюсь;
С тобою жизнь есть мне блаженство;
В тебе я буду жить.

ЯВЛЕНИЕ ПОСЛЕДНЕЕ

Уриил и ангелы.

Речитатив.

Уриил

Навек, навек счастливая чета,
Когда вас ложь не обольстит
Желать, чего бог не дал вам,
И знать, что таинство для вас!

Хор

Пойте бога все языки!
Все дела его хвалите!
Имя бога прославляйте
И устами и сердцами!
Хвала творца гремит из века в век.
Аминь.

1801

145. СТИХИ
НА СЛОВА, ЗАДАННЫЕ МНЕ ХЛОЕЮ: МИГ, КАРТИНА И ДВЕРЬ

1
МИГ

Какое слово мне дано!..
Оно важнее всех; оно
Есть всё!.. Конечно, власть и слава,
Печаль, веселье и забава...
Увы! и счастие сердец,
И чувство сладкого покоя,
И самая любовь, о Хлоя!
Ее начало и конец —
Не есть ли *миг* единый в свете?
Теперь я, например сказать,
Сижу покойно в кабинете,
Хочу к тебе стихи писать;
Но если ты в сей *миг* явишься,
В меня влюбленной притворишься,
То в *миг* — спокойствие прощай!
Стихи в камин!.. у ног прекрасной
Лежу, горю любовью страстной!
Лишь только шутку продолжай,
Я в *миг* смелее, Хлоя, буду,
Учтивость, может быть, забуду,
И в *миг*... откроется обман!
Тогда, как хладный истукан,
Душою в *миг* оледенею;
От страсти пылкой исцелюсь,
И в *миг* — с тобою засмеюсь.

Так вы любезностью своею
Нас в *миг* пленяете всегда,
Не думая пленяться нами!
Но в *миг* же, Хлоя, иногда
В сетях бываете и сами;
Кто был смешон, в *миг* станет мил;
Но *миг* — и след любви простыл!

В один же *миг* — ах! мысль ужасна! —
Дерзнет нескромность утверждать,
Что ты была, была прекрасна;
Но в *миг* — велю ей замолчать!

2

КАРТИНА

Картина мне мила в Природе,
Когда я с сердцем на свободе
Гуляю по коврам лугов,
Смотрю вдали на мрак лесов,
Лучами солнца озлащенных,
Или на лабиринт ручьев,
Самой Натурой проведенных
В изгибах для красы полей.
Картина мне мила в поэте,
Когда он кистию своей
Цветы наводит на предмете
И пишет словом, как рукой.
Картина мне мила — в картине,
Когда волшебною игрой
Все краски дышат на холстине
И лица говорить хотят;
Я, правда, не знаток, но рад
Всегда Корреджию дивиться
И даже — в полотно влюбиться.
Но я бываю враг *картин,*
Когда прелестницы желают
Быть только ими для мужчин
И всё другое забывают.
Цветы и краски хороши;
Но ах! в *картине* нет души!

8

ДВЕРЬ

В златой прекрасный век
Не ведал человек
Ни *двери*, ни замков железных,
И дом и сердце открывал
Для братьев, ближних и любезных, —
Так всех людей он называл.
Но время пременилось,
И гибельное зло,
Увы! к нам в *дверь* вошло,
Замок с собою принесло,
И сердце с домом затворилось.
Стал смертный — камергер с ключем;
Сидит за *дверью* и не всем
Ее охотно отпирает;
По стуку человека знает:
Как рыба, притаясь, молчит,
Когда рукою в *дверь* стучит
Досадный кредитор, проситель
С бумагою, без серебра;
Или старинный покровитель,
В немилость впавший у двора;
Или любовница с слезами,
Уже оставленная нами!
Нет дома! верь или не верь:
Для них не отопрется *дверь*.
Но *двери* настежь для случайных,
Для их друзей, известных, тайных,
Для челобитчика с мешком,
Для камердинера с письмом
От женщины, душе любезной
Или другим чем нам полезной;
Для миловидных подлецов
И наших ревностных льстецов!

Блажен, кто *двери* запирает
Всегда для глупых, злых людей
И вместе с сердцем отворяет
Их только для своих друзей!

<1802>

146. БЕРЕГ

После бури и волненья,
Всех опасностей пути,
Мореходцам нет сомненья
В пристань мирную войти.

Пусть она и неизвестна!
Пусть ее на карте нет!
Мысль, надежда им прелестна
Там избавиться от бед.

Если ж взором открывают
На брегу друзей, родных,
О блаженство! восклицают
И летят в объятья их.

Жизнь! ты море и волненье!
Смерть! ты пристань и покой!
Будет там соединенье
Разлученных здесь волной.

Вижу, вижу... вы маните
Нас к таинственным брегам!..
Тени милые! храните
Место подле вас друзьям!

<1802>

147. ГИМН ГЛУПЦАМ

Блажен не тот, кто всех умнее —
Ах, нет! он часто всех грустнее, —
Но тот, кто, будучи глупцом,
Себя считает мудрецом!
Хвалю его! блажен стократно,
Блажен в безумии своем!
К другим здесь счастие превратно —
К нему всегда стоит лицем.

Ему ли ссориться с судьбою,
Когда доволен он собою?

Ему ль чернить сей белый свет?
По маслу жизнь его течет.
Он ест приятно, дремлет сладко;
Ничем в душе не оскорблен.
Как ночью кажется всё гладко,
Так мир для глупых совершен.

Когда другой с умом обширным,
Прослыв философом всемирным,
Вздыхает, чувствуя, сколь он
Еще от цели удален;
Какими узкими стезями
Нам должно мудрости искать;
Как трудно слабыми очами
Неправду с правдой различать;

Когда Сократ, мудрец славнейший,
Но в славе всех других скромнейший,
Всю жизнь наукам посвятив,
Для них и жизни не щадив,
За тайну людям объявляет,
Что всё загадка для него
И мудрый разве то лишь знает,
Что он не знает ничего, —

Тогда глупец в мечте приятной
Нам хвалит ум свой необъятный:
«Ему подобных в мире нет!»
Хотите ль? звезды он сочтет
Вернее наших астрономов.
Хотите ль? он расскажет, как
Сияет солнце в царстве гномов,
И рад божиться вам, что *так!*

Боясь ступить неосторожно
И зная, как упасть возможно,
Смиренно смотрит вниз мудрец —
Глядит спесиво вверх глупец.
Споткнется ль, в яму упадая?
Нет нужды! встанет без стыда,
И, грязь с себя рукой стирая,
Он скажет: *это не беда!*

С умом в покое нет покоя.
Один для имени героя
Рад мир в могилу обратить,
Для крестика без носа быть;
Другой, желая громкой славы,
Весь век над рифмами корпит;
Глупец смеется: «Вот забавы!»
И сам — за бабочкой бежит!

Ему нет дела до правлений,
До тонких, трудных умозрений,
Как страсти к благу обращать,
Людей учить и просвещать.
Царь кроткий или царь ужасный
Любезен, страшен для других —
Глупцы Нерону не опасны:
Нерон не страшен и для них.

Другим чувствительность — страданье,
Любовь не дар, а наказанье:
Кто ж век свой прожил, не любя?
Глупец! .. он любит лишь себя,
И, следственно, любим не ложно;
Не ведает измены злой!
Другим грустить в разлуке должно, —
Он весел: он всегда с собой!

Когда, узнав людей коварных,
Холодных и неблагодарных,
Душою нежный человек
Клянется их забыть навек
И хочет лучше жить с зверями,
Чем жертвой лицемеров быть, —
Глупец считает всех друзьями
И мнит: «Меня ли не любить?»

Есть томная на свете мука,
Змея сердец; ей имя *скука:*
Она летает по земле
И плавает на корабле;
Она и с делом и с бездельем
Приходит к мудрым в кабинет;

Ни шумом светским, ни весельем
От скуки умный не уйдет.

Но счастливый глупец не знает,
Что скука в свете обитает.
Гремушку в руки — он блажен
Один среди безмолвных стен!
С умом все люди — Гераклиты
И не жалеют слез своих;
Глупцы же сердцем Демокриты:
Род смертных — Арлекин для них!

Они судьбу благословляют
И быть умнее не желают.
Раскроем летопись времен:
Когда был человек блажен?
Тогда, как, думать не умея,
Без смысла он *желудком жил.*
Для глупых здесь всегда Астрея
И век златой не проходил.

1802

148. К ЭМИЛИИ

Подруга милая моей судьбы смиренной,
Которою меня бог щедро наградил!
Ты хочешь, чтобы я, спокойством усыпленный
Для света и для муз, талант мой пробудил
И людям о себе напомнил бы стихами.
О чем же мне писать? В душе моей одна,
Одна живая мысль; я разными словами
Могу сказать одно: душа моя полна
Любовию святой, блаженством и тобою, —
Другое кажется мне скучной суетою.
Сказав тебе: *люблю!* уже я всё сказал.
Любовь и счастие в романах говорливы,
Но в истине своей и в сердце молчаливы.
Когда я счастие себе *воображал,*
Когда искал его под бурным небом света,
Тогда о прелестях *сокрытого* предмета
Я часто говорил; играл умом своим

И тени прибирать любил одне к другим,
В *отсутствии* себя портретом утешая;
Тогда я счастлив был, о счастии мечтая:
Мечта приятна нам, когда она жива.
Но ныне, милый друг, сильнейшие слова
Не могут выразить сердечных наслаждений,
Которые во всем с тобою нахожу.
Блаженство предо мной: я на тебя гляжу!
Считаю радости свои числом мгновений,
Не думая о том, как их изображать.
Любовник может ли любовницу писать?
Картина пишется для взора, а не чувства,
И сердцу угодить не станет ввек искусства.
Но если б я и мог, любовью вдохновен,
В стихах своих излить всю силу, нежность жара,
Которым твой супруг счастливый упоен,
И кистию живой и чародейством дара
Всё счастие свое, как в зеркале, явить,
Не думай, чтобы тем я мог других пленить.
Ах, нет! сердечный звук столь тих, что он невнятен
В мятежных суетах и в хаосе страстей.
Кто истинно блажен, тот свету неприятен,
Служа сатирою почти на всех людей.
Столь редко счастие! и столь несправедливы
Понятия об нем! Иначе кто, в сребре,
В приманках гордости, в чинах и при дворе,
Искал бы здесь его? Умы самолюбивы:
Я спорить не хочу; но мне позволят быть
Довольным в хижине, любимым — и любить!
Так пастырь с берега взирает на волненья
Нептуновых пучин и видит корабли
Игралищем стихий, желает им спасенья,
Но рад, что он стоит надежно на земли.
Нет, нет, мой милый друг! сердечное блаженство
Желает тишины, а музы любят шум;
Не истина, но блеск в поэте совершенство,
И ложь красивая пленяет светский ум
Скорее, чем язык простой, нелицемерный,
Которым говорят правдивые сердца.
Сказав, что всякий день, с начала до конца,
Мы любим быть одни; что мы друг другу верны
Во всех движениях открытыя души;

Сказав, что все для нас минуты хороши,
В которые никто нам не мешает вольно
Друг с другом говорить, друг друга целовать,
Ласкаться взорами, задуматься, молчать;
Сказав, что малого всегда для нас довольно;
Что мы за всё, за всё творца благодарим,
Не просим чуждого, но счастливы своим,
Моля его, чтоб он без всяких прибавлений
Оставил всё, как есть, в самих нас и вокруг, —
Я вкусу *знатоков* не угожу, мой друг!
Где тут Поэзия? где вымысл украшений?
Я истину скажу; но кто поверит ей?
Когда пылающий любовник (часто мнимый)
Стихами говорит любовнице своей,
Что для него она предмет боготворимый,
Что он единственно к ней страстию живет,
За нежный взор ее короны не возьмет,
И прочее, — тогда ему иной поверит:
Любовник, думают, в любви не лицемерит;
Обманывает он себя, а не других.
Но чтоб супружество для сердца было раем;
Чтоб в мирной тишине приятностей своих
Оно казалося всегда цветущим маем,
Без хлада и грозы; чтоб нежный Гименей
Был страстен, и еще сильнее всех страстей, —
То люди назовут бессовестным обманом.
История любви там кажется романом,
Где всё романами и дышит и живет.
Нет, милая! любовь супругов так священна,
Что быть должна от глаз нечистых сокровенна;
Ей сердце — храм святой, свидетель — бог, не свет;
Ей счастье — друг, не Феб, друг света и притворства:
Она по скромности не любит стихотворства.

1802

149. К ДОБРОДЕТЕЛИ

О ты, которая была
В глазах моих всегда прелестна,
Душе моей всегда мила
И сердцу с юности известна!

Вхожу в святилище твое;
Объемлю, чувством вдохновенный,
Твой жертвенник уединенный!
Одно усердие мое
Дает мне право не чуждаться
Твоих священных алтарей
И в пламенной душе моей
Твоим блаженством наслаждаться!

Нет дел моих перед тобой!
Не сыпал злата я на бедных:
Мне злата не дано судьбой;
Но глаз заплаканных, лиц бледных
Не мог без грусти замечать;
Дружился в сердце с угнетенным
И жалобам его священным
Любил с прискорбием внимать;
Любил суды правдивы рока,
Невинных, добрых торжество.
«Есть гроб, бессмертье, божество!» —
Я мыслил, видя трон порока.

Нет, нет! я не был ослеплен
Сим блеском, сколь он ни прекрасен!
Дракон на время усыплен,
Но самый сон его ужасен.
Злодей на Этне строит дом,
И пепел под его ногами;
Там лава устлана цветами
И в тишине таится гром.
Пусть он не знает угрызенья!
Он недостоин знать его.
Бесчувственность есть ад того,
Кто зло творит без сожаленья.

Нет, в мыслях я не унижал
Твоих страдальцев, Добродетель:
Жалеть об них я не дерзал!
В оковах раб, в венце владетель
Равно здесь счастливы тобой.
Твоею силой укрепленный,

На место казни возведенный,
Достоин зависти герой:
У ног его лежит вселенна!
Он нам оставит тленный прах,
Но дух его на небесах —
Душа сама собой блаженна.

Когда мир целый трепетал,[1]
Волнуемый страстями злыми, —
Мой взор знамен твоих искал:
Я сердцем следовал за ними!
Творил обеты... слезы лил
От радости и скорби тайной...
Кто в век чудесный, чрезвычайный
Призра́ком не обманут был?
Когда ж людей невинных кровью
Земля дымиться начала,
Мне свет казался адом зла...
Свободу я считал любовью!..

Я был игралищем страстей,
Родясь с чувствительной душою:
Их огнь пылал в груди моей;
Но сердце с милою мечтою
Всегда сливало образ твой.
Прости!.. Ах! лета заблуждений
Текут стезею огорчений;
Нам страшен в младости покой
И тернием любезны розы!..
Я жертвой, не тираном был
И в нежных горестях любил
Свои, а не чужие слезы!

Не совестью, одной тоской
Я в жизни более терзался;
Виновный только пред собой,
Сквозь слезы часто улыбался!
Когда же, сердцем увлечен,
Не помнил я, в восторгах страсти,

[1] Во время революции.

Твоей, о Добродетель! власти
И, блеском счастья ослеплен,
Спешил за ним на путь неправый, —
Я был загадкой для себя:
Как можно столь любить тебя
И нарушать твои уставы!

Преплыв обширный океан
Чрез многие пучины, мели,
Собрав богатства дальних стран,
Пловец стремится к верной цели,
К своим отеческим брегам,
И взор его нетерпеливый
Уже открыл сей край счастливый;
Он мыслит радостно: «Я там!..»
Вдруг буря в ужас всё приводит —
Корабль скрывается в волнах!
Пловец не гибнет — но в слезах
Он нищим на берег выходит!

Вот жребий мой!.. Ах! я мечтал
О тихой пристани, покое;
Но буря и свирепый вал
Сокрыли счастие златое!
Пристанища в сем мире нет,
И нас с последнею волною,
В земле под гробовой доскою,
К себе червь кровоглавый ждет!..
Блажен, кто не был здесь свидетель
Погибели своих друзей
Или в несчастьях жизни сей
Тобой утешен, Добродетель!..

Смотрю на небо: там цветы
В прелестных радугах играют;
Златые, яркие черты
Одна другую пресекают
И вдруг, в пространствах высоты,
Сливаются с ночным мерцаньем...
Не можно ль с *северным сияньем*
Сравнять сей жизни красоты?..

Оно угасло — но блистает
Еще Полярная звезда,
Так Добродетель никогда
Во мраке нас не оставляет!..

Остаток радостей земных,
Дочь милую, кропя слезами,
В восторге нежных чувств моих
К тебе дрожащими руками
Подъемлю и молю: будь ей
И горем здесь и утешеньем,
Без счастья верным наслажденьем!
В последний час судьбы моей
Ее ко груди прижимая,
Да обниму я в ней тебя!
Да гасну, вас равно любя,
И милой милую вручая!

1802

150. ФИЛИНЫ И СОЛОВЕЙ, ИЛИ ПРОСВЕЩЕНИЕ

Басня

Узнали филины намерение Феба
Ее величество, ночь темную, согнать
С престола древнего земли и неба
И сутки целые без отдыха сиять.
«Что! что! — кричат они, — разрушить царство нощи,
В котором нам так мило жить
И сонных птиц давить
Во мраке тихой рощи!
Кто Фебу дал такой совет?»
— «Не вы, друзья мои: *не филины, не воры,* —
Сказал им соловей, — не нравится вам свет:
Его боятся хищных взоры!
Я ночью пел один, и все пленялись мной;
В день будет у меня совместников довольно:
Их также наградят хвалой...
Лишиться славы больно,
Но ею с братьями охотно поделюсь,
И солнцем веселюсь,

Когда в его сияньи
Для мира более утех,
Чем в горестном мерцаньи.
Злой мыслит о себе, а добрый обо всех;
Злой любит мрак густой, а добрый просвещенье.
К несчастью, должен я сказать вам в утешенье,
Что в самый ясный день
Для вас еще найдется тень!»

<1803>

151. СТИХИ
НА СКОРОПОСТИЖНУЮ СМЕРТЬ ПЕТРА АФАНАСЬЕВИЧА ПЕЛЬСКОГО[1]

Вчера в моем уединеньи
Я с ним о жизни рассуждал,
О нашем горе, утешеньи;
Вчера с друзьями он гулял
По рощам мирным в вечер ясный,
Глазами солнце проводил
На запад тихий и прекрасный
И виды сельские хвалил!..
Следы его еще не скрылись
На сих коврах травы густой,
Еще цветки не распрямились,
Измятые его ногой, —
Но он навек от нас сокрылся!..
Едва вздохнул — и вдруг исчез!
С детьми, с друзьями не простился!
Мы плачем — он не видит слез!..
Ах! в гробе мертвые спокойны!
Их время горевать прошло...
Смерть только для живых есть зло,
Могилы зависти достойны —
Ничтожество не страшно в них!..
Наш друг был весел для других
Умом, любезностью своею,
Но тайно мучился душею...

---

[1] 9 майя он обедал у меня в деревне и провел вечер . . . .

Ах! он умел боготворить
Свою любовницу-супругу! [1]
Оплакав милую подругу,
Кто может в жизни счастлив быть?
Я видел Пельского в жилище
Усопших, посреди могил:
Он там рекою слезы лил!..
Там было и его гульбище,
Равно прелестное для нас,
Равно любивших и любимых,
Ко гробу сердцем приводимых!..
Там тихий из-под камня глас
Ему вещал ли в утешенье,
Что сам он скоро отдохнет
От жизни, в коей счастья нет?..
Где радость есть приготовленье
К утратам и печалям вновь;
Увы! где самая любовь,
Нежнейших душ соединенье,
Готовит только сожаленье
И гаснет завсегда в слезах,
Там есть ли в благах совершенство?..
Мечта прелестная, блаженство!
Мелькая в сердце и в глазах,
Ты нас желаньем утомляешь —
Приводишь к гробовой доске,
Над прахом милых исчезаешь
И сердце предаешь тоске!

Теперь супруги неразлучны;
В могиле участь их одна:
Покоятся в жилище сна
Или уже благополучны
Чистейшим новым бытием!..
А мы, во странствии своем
Еще томимые сомненьем,
Печалью, страхом и мученьем,
Свой путь с терпением свершим!
Надежда смертных утешает,
Что мир другой нас ожидает:

[1] Она скончалась в прошлом году.

Сей свет пустыня перед ним!
Там все, кого мы здесь любили,
С кем в юности приятно жили;
Там, там *собрание веков,*
Мужей великих, мудрецов,
Которых в летописях славим!..
И с теми, коих здесь оставим,
Мы разлучимся лишь на час.
Земля гостиница для нас!

Свирлово
Май 1803

152. ПЕСНЬ ВОИНОВ

(сочинена в 1806 году)

Гремит, гремит священный глас
Отечества, Закона, Славы!
Сыны Российския державы!
Настал великодушных час:
Он наш!.. Друзья! вооружимся,
С врагом отечества сразимся;
Ударим мощною рукой,
Как дети грозного Борея,
И миру возвратим покой,
Низвергнув общего злодея!

Цари, народы слезы льют:
Державы, воинства их пали;
Европа есть юдоль печали.
Свершился ль неба страшный суд?
Нет, нет! у нас святое знамя,
В руках железо, в сердце пламя:
Еще судьба не решена!
Не торжествуй, о Галл надменный!
Твоя победа неверна:
Се росс, тобой не одоленный!

Готов кровопролитный бой!
Отведай сил и счастья с нами;
Сломи грудь грудью, ряд рядами;

Ступай: увидим, кто герой!
Пощады нет: тебя накажем
Или мы все на месте ляжем.
Что жизнь для побежденных? — стыд!
Кто в плен дается? — боязливый!
Сей острый меч, сей медный щит
У нас в руках, пока мы живы.

Ты нам дерзаешь угрожать?
Но римлян страшных легионы
Могли ль дать Северу законы?
Полунощь есть героев мать:
Рим пал, их мышцей сокрушенный,
Колосс, веками утвержденный.
Ищи на Юге робких слуг:
Сын Севера в стране железной
Живет с свободою сам-друг,
И царь ему — отец любезный.

Но ты идешь: друзья! вперед!
Гремите звучными щитами,
Сверкайте светлыми мечами
И пойте древний гимн побед!
Герои в старости маститой,
Делами, саном знаменитой!
Ведите юнош славы в храм!
Достойный алтарей служитель!
Кури священный фимиам;
Молись... Росс будет победитель!

О тени древних сограждан!
В селеньях горних вы покойны:
Мы славы вашея достойны;
Обет сердечный нами дан
Служить примером для потомства;
Не знают россы вероломства
И клятву чести сохранят:
Да будет мир тому свидетель!
За галла весь ужасный ад —
За нас же бог и Добродетель!

1806

153. ОСВОБОЖДЕНИЕ ЕВРОПЫ И СЛАВА АЛЕКСАНДРА I

(Посвящено московским жителям)

> Quae homines arant, navigant, aedificant, virtuti omnia parent.[1]
>
> *Саллустий*

Конец победам! Богу слава!
Низверглась адская держава:
Сражен, сражен Наполеон!
Народы и цари! ликуйте:
Воскрес порядок и Закон.
Свободу мира торжествуйте!
Есть правды бог: тирана нет!
Преходит тьма, но вечен свет.

Сокрылось нощи привиденье.
Се утро, жизни пробужденье!
Се глас Природы и творца:
«Уставов я не пременяю:
Не будут камнями сердца,
Безумства в ум не обращаю.
Злодей торжествовал, где он?
Исчез, как безобразный сон!»

О радость! В духе умиленный
И делом бога восхищенный,
Паду, лью слезы и молюсь!..
Отец!.. пусть бури мир волнуют!
Над ними ты: не устрашусь!
И бури благость знаменуют,
Добро, любовь и стройный чин.
О! Ты велик, велик един!

Умолкло горести роптанье.
Минувших зол воспоминанье
Уже есть благо для сердец. —
Из рук отчаянной Свободы
Прияв властительский венец

---

[1] Все, что создают люди, когда пашут, плавают, строят, служит добродетели. — *Ред.*

С обетом умирить народы
И воцарить с собой Закон,
Сын хитрой лжи, Наполеон,

Призрак величия, героя,
Под лаврами дух низкий кроя,
Воссел на трон — людей карать
И землю претворять в могилу,
Слезами, кровью утучнять,
В закон одну поставить силу,
Не славой, клятвою побед
Наполнить устрашенный свет.

И бысть! Упали царства, троны.
Его ужасны легионы
Как огнь и бурный дух текли
Под громом смерти, разрушенья,
Сквозь дым пылающей земли;
А он с улыбкой наслажденья,
Сидя на груде мертвых тел,
Страдание и гибель зрел.

Ничто Аттилы, Чингисханы,
Ничто Батыи, Тамерланы
Пред ним в свирепости своей.
Они в степях образовались,
Среди рыкающих зверей,
И в веки варварства являлись, —
Сей лютый тигр, не человек,
Явился в просвещенный век.

Уже гордились мы Наукой,
Ума плодом, добра порукой
И славились искусством жить;
Уже мы знали, что владетель
Отцом людей обязан быть,
Любить не власть, но добродетель;
И что победами славна
Лишь справедливая война.

Сей изверг, миру в казнь рожденный,
Мечтою славы ослепленный,

Чтоб быть бессмертным, убивал!
Хотел *всемирныя державы,*
Лишь небо богу уступал; [1]
Топтал святейшие уставы;
Не скиптром правил, а мечом,
И был — державным палачом!

В чертогах, в хижинах стенали;
В венцах главы рабов сияли:
Престолы сделались стыдом.
Темнели разум, просвещенье:
Долг, совесть, честь казались сном.
Слабела вера в провиденье:
«Где мститель? где любовь отца?»
Грубели чувства и сердца.

Среди гробов, опустошенья,
Безмолвия, оцепененья —
С кровавым, дерзостным челом
Насилие торжествовало
И, веселяся общим злом,
Себя хвалами величало,
Вещая: «Властвует судьба!
Она мне служит как раба!»

Еще в Европе отдаленной
Один народ благословенный
Главы под иго не склонял,
Хранил в душе простые нравы,
В войнах издревле побеждал,
Давал иным странам уставы,
Но сам жил только по своим,
Царя любил, царем любим;

Не славился богатством знаний,
Ни хитростию мудрований,
Умел наказывать врагов,
Являясь в дружестве правдивым;
Стоял за Русь, за прах отцов,
И был без гордости счастливым;

---

[1] На одной медали Наполеонова времени изображено всевидящее око с надписью: «Тебе небо, мне земля».

Свободы ложной не искал,
Но всё имел, чего желал.

Уже тиран свирепым оком,
Влекомый к казни тайным роком,
Измерил путь в сию страну
И поднял для нее оковы:
Изрек погибель и войну.
Уже рабы его готовы
Последнюю из жертв заклать —
И началась святая рать.

Для нас святая!.. Боже мститель!
Се ты, злодейства истребитель!
Се ты на бурных облаках,
В ударах молнии палящей!
Ты в сердце россов и в устах,
В руке за веру, правду мстящей!
Кто бога воинств победит?
У нас и меч его и щит!

Тирану служат миллионы;
Героев русских легионы
Идут алмазною стеной;
А старцы, жены простирают
Десницу к вышнему с мольбой,
Слезами благость умиляют.
Везде курится фимиам:
Россия есть обширный храм.

Лежат храбрейшие рядами;
Поля усеяны костями;
Всё пламенем истреблено.
Не грады, только честь спасаем!..
О славное Бородино!
Тебя потомству оставляем
На память, что России сын
Стоит против двоих один! [1]

---

[1] Уверяют, что французов было 180 000, а наших 90 000, кроме московского ополчения, не бывшего в деле.

А ты, державная столица,
Градов славянских мать-царица,
Создание семи веков,
Где пышность, нега обитали,
Цвели богатства, плод трудов;
Где храмы лепотой сияли
И где покоился в гробах
Царей, святых нетленный прах!

Москва! прощаемся с тобою,
И нашей собственной рукою
Тебя мы в пепел обратим! [1]
Пылай: се пламя очищенья!
Мы землю с небом примирим.
Ты жертва общего спасенья!
В твоих развалинах найдет
Враг мира гроб своих побед.

Свершилось!.. Дымом омраченный,
Пустыней, пеплом окруженный,
Узрел он гибель пред собой.
Бежит!.. но бог с седым Героем [2]
Шлет казнь из тучи громовой:
Здесь воины блестящим строем,
Там ужасы зимы и глад
Его встречают и мертвят.

Как в безднах темной адской сени
Толпятся осужденных тени
Под свистом лютых эвменид,
Так сонмы сих непобедимых,
Едва имея жизни вид,
В страданиях неизъяснимых
Скитаются среди лесов;
Им пища — лед, им снег — покров.

В огонь ввергаются от хлада;
Себя терзают в муках глада:

---

[1] Очевидцы рассказывают, что Каретный и Москотильный ряды зажжены рукою самих лавошников, также и многие домы хозяйскою.

[2] Князем Кутузовым-Смоленским.

Полмертвый мертвого грызет.
Стадами птицы плотоядны
Летят за ними с криком вслед;
За ними звери кровожадны,
Разинув челюсти, бегут
И члены падающих рвут.

О жертвы хищного злодейства!
Вы были радостью семейства;
Имели ближних и друзей, —
Почто вы гибели искали
В дали полуночных степей?
Мы вашей крови не жадали;
Но кто оковы нам несет,
Умрем — или он сам падет!

Где ваши легионы страха?
Лежат безмолвно в недрах праха;
Осталась память их одна,
И ветры пепел развевают.
Се ваши громы, знамена:
Младенцы ими здесь играют. —
Свободны мы, но в рабстве мир:
Еще тиранов цел кумир.

Еще Европа в изумленье;
Но скоро общее волненье
Вселяет мужество в сердца.
Гласят: «И мы хотим свободы
И нашим бедствиям конца!»
Подвиглись троны и народы;
Друг с друга в гневе цепи рвут
И с яростью на брань текут.

О диво! Зрелище святое! —
Кто в шумном, благолепном строе,
Венчанный лаврами побед,
С лицом умильным и смиренным
Народы к торжеству ведет
И перстом, к небу обращенным,
Им кажет бога вышних сил,
С кем он уже врагов сразил? —

России царь благочестивый,
Герой в душе миролюбивый!
Он долго брани не хотел;
Спасал от бурь свою державу:
Отец чад-подданных жалел
И ненавидел крови славу;
Когда ж меч правды обнажил,
Рек: с нами бог! и победил.

Вотще злодей окровавленный,
Как вепрь до сердца уязвленный,
Остаток собирает жертв
Коварства, лютого обмана:
У них мечи, но дух их мертв:
Идут сражаться за тирана!
И с кем? с любовью к олтарям,
К свободе, к истинным царям!

Ничто все хитрости искусства
Против восторга, правды чувства.
Толпы героев и вождей
Война народная рождает,
И первый из земных царей
Собою им пример являет.
(Россия! не страшись: над ним
Господь благий с щитом своим!)

Днем в поле, нощию не дремлет:
Советам прозорливых внемлет,
Все думы Александр решит;
Предвидит замыслы лукавых;
Союз от зависти хранит;
Стыдя виновных, хвалит правых
И слабым мужество дает.
Он силен: в нем коварства нет!

Стократно в битвах одоленный,
Иссохших лавров обнаженный,
Ознаменованный стыдом,
Тиран перун угасший мещет —
И се последний грянул гром,
И новый Вавилон трепещет!

Колосс Наполеон падет
К ногам царей: свободен свет!

Земли подвиглось органье!
Гремит народов восклицанье:
Он пал! Он пал! Кипят сердца;
К надеждам счастья оживают.
Как дети одного отца,
Все, все друг друга обнимают...
Он пал! в восторге целый свет!
Народы братья! злобы нет!

В сем общем, радостном волненье,
Царей, героев прославленье,
Чье имя первое в устах?
Кому гремят вселенной лики:
Без лести, в искренних хвалах
Дают название Великий?
Отечество мое! ликуй
И с Александром торжествуй!

Отверзлися врата эфира,
И духи выспреннего мира
Парили над главой твоей,
Помазанник, сосуд избранный
Ко избавлению людей,
Монарх, Россиею венчанный,
Но данный богом всем странам,
Языкам, будущим векам;

Когда врагам, уже смиренным,
Твоею славой удивленным,
Вещал ты в благости: *мир вам!*
Когда с любовью восхищенной,
Дотоле чуждой их сердцам,
Они в сей час благословенный,
Внимая ангельскую речь,
Лобзали твой победный меч;

Когда, их чувством умиленный,
Оливой, пальмой осененный,
Среди народа и вождей,

На месте, обагренном кровью
Невиннейшего из царей,
Ты с чистой верою, любовью,
Молясь, колена преклонил
И бога гнева укротил; [1]

Когда, злодеями гонимый,
Но втайне добрыми любимый,
Святого Лудовика сын,
Несчастием сопровожденный
От цвета жизни до седин,
На трон тобою возведенный,
Тебя с слезами обнимал
И сыном неба называл!

Вещайте, летописи Славы!
Каких веков, какой державы
Монарх столь блага совершил?
Ищу... Закройтесь: нет примера!
К величию подвигнут был
Он вами, Добродетель, Вера!
На бога твердо уповал
И выше всех героев стал.

России слава, царств спасенье,
Наук, торговли оживленье,
Союз властей — покой, досуг,
Уму и сердцу вожделенный, —
О! сколько, сколько счастья вдруг!
Как мир, грозою потрясенный,
В разрыве смертоносных туч
С любовью видит солнца луч,

Так все мы тишину встречаем,
Приветствуем душой, ласкаем
Изгнанницу столь многих лет!
Забудем зло, но рассуждая.
Нас опыт к Мудрости ведет:
Из глубины веков блистая,

---

[1] Читатели помнят о сем умилительном священнодействии на месте, где варвары убили Лудовика XVI.

Как ясная умо́в заря,
Сия другиня олтаря

К нам ныне руку простирает —
Страстям велит молчать — вещает:
«Цари, народы! благо вам,
Десницей вышнего спасенным!
Но клятва будущим войнам,
Безумцам, славой обольщенным!
Велик отец и друг людей,
Не гений зла, не муж кровей.

Кто следом Галлии тирана,
Путем насилия, обмана,
Для ада радостных побед,
Еще к бессмертью устремится?
Стократ он прежде смерть найдет,
Чем с ним победами сравнится, —
И сей Наполеон в пыли;
Живет теперь в позор земли,

Несчастный пьет стыда отраву!
Цари! всемирную державу
Оставьте богу одному!
Залог, вам небом порученный,
Вы должны возвратить ему
Не кровью слабых обагренный
Для умноженья областей,
Но с мирным счастием людей.

Не для войны живет властитель:
Он мира, целости хранитель.
Пусть каждый собственность блюдет
И чуждого да не коснется!
Тогда спокоен будет свет.
У диких кровь рекою льется:
Там воин — первый человек;
Но век ума гражданский век.

Судить, давать, блюсти Законы,
С мечом в руке — для обороны
От чуждых и своих врагов —

Есть дело вышней царской власти.
Не будет праздных вам часов,
Пока, увы! пылают страсти.
Любите знаний тихий свет:
От них — Наполеона нет! [1]

Народы! власти покоряйтесь;
Свободой ложной не прельщайтесь:
Она призрак, страстей обман.
Вы зрели галлов заблужденье:
И своевольство и тиран
Отмстили им за возмущенье
Против законного царя,
Уставов древних, олтаря.

Питайте в сердце добродетель,
Тогда не будет ваш владетель
Святых законов попирать.
Ко злому только зло влечется:
Благим и царь есть благодать.
Господь небес о всех печется,
И червь его рукой храним.
Над вами царь, а бог над ним.

В правленьях новое опасно,
А безначалие ужасно.
Как трудно общество создать!
Оно устроилось веками,
Гораздо легче разрушать
Безумцу с дерзкими руками.
Не вымышляйте новых бед:
В сем мире совершенства нет!

Цари да будут справедливы,
Народы верностью счастливы!
Не искушайте никогда
Всевышнего в долготерпенье:
Спасает бог — но не всегда».
Рекла — и мир в благоговенье;

[1] Если бы Наполеон злодействовал не в просвещенные, а в варварские времена, то он мог бы умереть в величии.

Умолкла — но ее совет
Есть глас ума в деяньях лет.

Исчезните, примеры злые!
Теките счастья дни златые
Для всех народов и царей!
А ты, наш царь благословенный,
Спеши, спеши к стране своей,
Победой, славой утружденный!
Везде ты искренно хвалим,
А здесь и славим и любим.

Тебя как солнце ждем душею!
Ах! благодарностью своею
Достойны мы *твоими* быть!
Гряди с геройскими полками,
Которых память будет жить
Вовек с чудесными делами!
Российских древних царств глава,
Седая в доблести Москва

С себя прах смерти отрясает;
Развалины свои венчает
Цветами юныя весны.
Не бойся мрачных лиц, стенаний:
Печали все погребены.
Услышишь громы восклицаний:
«Для счастья нашего живи!»
Узришь один восторг любви.

1814

154. СТИХИ К ПОРТРЕТУ И. И. ДМИТРИЕВА

1

Министр, поэт и друг: я всё тремя словами
Об нем для похвалы и зависти сказал.
Прибавлю, что чинов и рифм он не искал,
Но рифмы и чины к нему летели сами!

1810 (?)

2

Он с честью был министр, со славою поэт;
Теперь для дружества и счастия живет.

1815

155. К ПОРТРЕТУ ЕЕ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ ЕЛИСАВЕТЫ АЛЕКСЕЕВНЫ

Корона на главе, а в сердце добродетель;
Душой пленяет ум, умом душе мила;
В благотворениях ей только бог свидетель;
Хвалима... но пред ней безмолвствует хвала.

1819

156. ТЕНЬ И ПРЕДМЕТ

Мы видим счастья *тень* в мечтах земного света;
Есть счастье где-нибудь: *нет тени без предмета.*

10 октября 1820
Царское Село

157. ЛУИЗЕ

В ДЕНЬ ЕЕ РОЖДЕНИЯ 18 ГЕНВАРЯ, ПРИ ВРУЧЕНИИ ЕЙ ПОДАРКА

Луиза! Прийми дар искренней любви.
Твой ум, твоя душа питается прекрасным:
Ты ангел горестных, мать сирым и несчастным;
Живешь для счастия других!.. И так живи!

Не каждый ль день и час ты в жизни сей добрее,
Прекраснее душой и дружеству милее,
Достойнее святой, божественной любви,
Достойнее небес?.. И так живи, живи!

Здесь всё мечта и сон; но будет пробужденье!
Тебя узнал я здесь в прелестном сновиденье,
Узнаю наяву!.. Есть вечность для любви,
Бессмертие добра, есть бог... И так живи!

1820

Тѣнь и предметъ

[NB. Эта мысль удостоилась ВАШЕГО вниманія: я выразилъ ее въ двухъ слѣдующихъ стихахъ]

Мы видимъ щастья тѣнь въ мечтахъ земнаго свѣта;
Есть щастье гдѣ нибудь: нѣтъ тѣни безъ предмета.

Царское Село,
10 Окт. 1820.

Н. Карамзинъ.

158. ГОСУДАРЫНЕ ИМПЕРАТРИЦЕ МАРИИ ФЕОДОРОВНЕ
В ДЕНЬ ЕЕ РОЖДЕНИЯ

Живи, монархиня, ко счастию людей!
Для суетных забав жизнь наша скоротечна,
Для добродетели всегда есть время в ней.
Добром бессмертна ты, так будь же долговечна!

1820

159. СТИХИ С ПОДНЕСЕНИЕМ ВЫПИСОК

Благодарю судьбу, что грамоте умею!
Писатель для других, я для тебя писец,
В изображеньи букв совсем не образец,
Но, криво ставя их, я не кривлю душею:
Достойное хвалы хвалю,
Достойное любви люблю —
Тебя! И выбрав здесь без строгого разбора
Что нравилося мне, согласен я без спора
Всё надвое делить: прекрасное твое,
А слабое мое.

1821

160

Не сон ли жизнь и здешний свет?
Но тот, кто видит сон, — живет.

Царское Село
28 июня 1825

ПРИЛОЖЕНИЯ

I

---

161. АРКАДСКИЙ ПАМЯТНИК

Сельская драма с песнями в одном действии

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Палемон, старый пастух.
Лизиас, молодой спартанец.
Эвфемон, аркадский пастух.
Дафна, Лизиасова невеста.
Эвергета, жена Эвфемонова.
Лавра } дочери Эвфемоновы.
Дорис }

Действие в Аркадии.

ЯВЛЕНИЕ 1

Лизиас, Дафна.

Лизиас

Конечно, мы с тобою
В Аркадию пришли,
Любезнейшая Дафна!
Здесь вечная весна
В долинах зеленеет;
Здесь кроткий ветерок
Колеблет воздух свежий,
Без терна цвет растет,
И небо чисто, ясно.
Конечно, мы с тобой,

Любезнейшая Дафна,
В Аркадию пришли.

Дафна

Ах, Лизиас! мы верно
В Аркадии теперь;
Здесь всё покойно, мирно.
Гармония певцов,
Поющих на кусточках,
В восторг приводит нас.
Они, не зная страха,
Навстречу к нам летят.
Ах! Лизиас! мы верно
В Аркадии теперь.

Вместе

Будьте вы благословенны,
Вы, долины и луга,
Где вовеки обитают
Добродетель и покой!
Приимите нас, долины,
Приимите нежно нас
И укройте с лаской юность!
Мы пришли сюда искать
Счастья, вольности, покоя.
Нам любовь, кончая жизнь,
Счастья здесь искать велела,
Счастья, мира, тишины.

Дафна

Добродетельная Аканта, сказав, что я только в Аркадии могу быть счастлива, конечно нас не обманула. Какое великолепное зрелище открывается со всех сторон! Везде блистает Натура избраннейшими своими сокровищами и для каждого чувства приготовляет богатое пиршество. Мне кажется, что я дышу здесь гораздо чистейшим воздухом. Совсем необыкновенные чувства разливаются у меня в сердце; восторг, сладостное упоение... Ах, добродетельный юноша! Как я тебе благодарна, что ты исполнил мое желание и привел меня сюда!

Лизиас

Но исполнишь ли теперь и мое желание, любезная Дафна? Ведь ты помнишь, что мне обещала?

Дафна

Руку мою? Не правда ли? — Ах, друг мой! Могу ли чем-нибудь маловажнейшим наградить тебя за то, что ты оставил для меня свое отечество?

Лизиас

А сердце твое? — Ах, Дафна! Можешь ли ты наградить меня чем-нибудь важнейшим?

Дафна

Сердце давно уже отдано тебе за твои добродетели. Разве ты этого не знаешь?

Лизиас

Для чего же никогда еще не осмеливался я хорошенько спросить тебя о том, для чего ты в самой Спарте не хотела мне вместе с сердцем дать руки своей?

Дафна

Для испытания твоей любви ко мне.

Лизиас

Разве бы я не пошел уже с тобою на край света, когда бы ты увенчала любовь мою? Неужели ты этого боялась?

Дафна

Нет, я боялась отсрочки. Скажи мне, юноша, как бы я, став твоею, могла тебя в чем-нибудь не послушаться?

Лизиас

А как же бы и я мог тебя не послушаться и не исполнить твоего желания, как бы скоро узнал его? — Ведь я знаю, что мать твоя Аканта хотела этого.

Дафна

Мать моя, говоришь ты? Так знай же, что Аканта была мне не мать.

Лизиас

Не мать?

Дафна

Нет, однако ж я обязана была любить ее, как мать свою, потому что она воспитывала меня с такою нежною попечительностью, с таким неусыпным старанием...

Лизиас

Да кто же она была? и откуда?

Дафна

Из Аркадии. В последнее нападение спартанцев на безоружные Аркадские долины была она уведена отсюда вместе с другими пленниками. Она вышла замуж за похитителя своего, более по принуждению, нежели по избранию; а по прошествии пятнадцати лет смерть мужа ее освободила ее от брачных уз.

Лизиас

Какое чудо! А я всегда почитал тебя Акантиною дочерью.

Дафна

И я так думала, потому что с самого того времени, как начала себя чувствовать, не помню ни одной женщины, которая бы меня так любила, как она, и которую бы могла я почесть своею матерью. Иногда носится в моих мыслях какой-то образ, который приводит сердце мое в несказанное сладостное движение, и в таком случае кажется мне, будто я его когда-то видела, может быть в самых первых летах детства; но подлинно не знаю, что это такое: одна ли мечта сновидения, или память моя старается опять возобновить существенный образ, заглаженный временем. Но будем говорить об Аканте. Поздно уже настало время свободы ее. Будучи снедаема тайною горестию, она должна была оставить ту сладкую надежду, которая ободряла ее во время неволи, — надежду увидеть опять любезные свои долины; а это ускорило конец ее.

Лизиас

Итак, она недолго жила по смерти мужа своего?

Дафна

Только десять горестных месяцев. День ото дня слабость ее увеличивалась; и в самый тот час, как светильник жизни ее готов был погаснуть, она подозвала меня к постели своей и прерывающимся голосом сказала мне: «Дафна! Я приняла на себя имя матери твоей только для того, чтобы муж мой любил тебя; ты дочь любезнейшей моей приятельницы». Потом говорила она:

Если боги присудили
Быть здесь счастливой тебе,
То в Аркадии ты можешь
Счастье, мир, покой найти.
Там опять найти то можешь,
Что теряешь здесь во мне.

Она хотела говорить более, но смерть отняла у нее язык и покрыла мраком глаза ее, которые она несколько раз с тоскою на меня устремляла. Молча пожала она руку мою и скончалась.

Лизиас

И во всю жизнь свою не говорила тебе ничего такого, по чему бы можно было догадаться, кто были родители твои и где тебе искать их?

Дафна

Ничего. Она говаривала только об одном отечестве своем; и сердце ее столько им занималось, что Аркадия была у нее всегда на языке. Там только, говорила она, только в этой радостной стране можно еще найти истинное благополучие.

Богатый там всегда умерен,
Доволен бедный, и в трудах
Там всякий весел и покоен,
Там верны, нежны все в любви.
Там старый молод, бодр весельем,
А юный нравом, духом стар.
Там нет вражды, коварства, злобы.
Златое время там течет.

Коротко сказать, в Аркадии царствует простота, невинность и радость. Такими прелестными изображения-

ми сердце мое пленилось, и я внутренно решилась не выходить замуж ни за какого юношу без того, чтобы он не дал мне слова проводить меня в счастливую Аркадию. Тебе известно, что с моей стороны не было иного условия, когда ты за меня стал свататься.

Лизиас

Оно исполнено, любезная Дафна! Для тебя оставил я свое отечество, Спарту.

Дафна

Однако ж ты не раскаиваешься?

Лизиас

Ах! когда бы добродетель
Наших предков и отцов
И поныне напрягала
Мышцы наших сограждан,
В неге, в роскоши ослабших;
Ах! когда бы гражданин
И теперь еще героем,
Патриотом умирал, —
Я тогда бы мог стыдиться,
Мог раскаяться, тужить.

Но когда порок в тиранов
И в рабов их превратил
И когда любовь к корысти,
Злоба, бунты, заговор
Вольность в узы заключают, —
Ах! могу ли я тогда
Пожалеть, оставя Спарту,
И раскаяться в душе?

Но мог ли бы я и в самых счастливейших обстоятельствах раскаяться в том, когда ты будешь моею наградою? — Ты, любезная Дафна! — Но когда же — когда?

Дафна

Всякую минуту. При первом олтаре, посвященном Пану, поклянусь я быть твоею. Для счастия любви нашей потребно благословение богов.

Лизиас

Правда, что для успеха каждого дела потребно благословение богов. И конечно, они благословят любовь нашу. Ты прекрасна, и еще более, нежели прекрасна, — ты добродетельна. Ах, как я счастлив!

Дафна

Как и я счастлива! Потому что и ты добродетелен.

Лизиас

Но не идти ли нам к этим счастливым хижинам и не познакомиться ли с жителями, чтобы они указали нам место олтарей своих?

Дафна

С радостию. Если они так добры, как Аканта говорила, то им надобно радоваться нашему благополучию; потому что добрые люди всегда веселятся радостию других, и гостеприимство, сказывают, нигде так не наблюдается, как здесь.

Лизиас

Однако ж будем несколько поосторожнее.

Дафна

А что?

Лизиас

Пятнадцать лет, говоришь ты, Аканта не была в Аркадии. Мороз может в одну ночь побить самые прекраснейшие цветы, а заразительный порок может в малое время переменить народные нравы. Подумай о моем отечестве — о Спарта! Зачем называю тебя таким именем!

Дафна

Не бойся ничего; я полагаюсь на предчувствие сердца своего — на тайное движение, туда меня влекущее.

Лизиас

По крайней мере позволь мне идти наперед и поискать кого-нибудь из жителей. Может быть, угадаю по виду и словам его, какого приема нам здесь ожидать

надобно. Между тем ты можешь укрыться здесь в лесу. Я пойду только за этот кустарник, который закрывает от нас часть хижин.

Дафна

Хорошо. Только поскорее приходи назад.

Лизиас

Как голубь, который летит назад к своей голубке.

(Уходит.)

ЯВЛЕНИЕ 2

Дафна

одна

Добродушный Лизиас! — Как он старается о моем счастии! Любовь делает его боязливым; а между тем он забывает, что без него могло бы мне быть еще страшнее. Однако ж в этой спокойной долине нечего бояться.

Где нравы просты, тихи, кротки;
Где в сельских хижинах живут
И любят воздухом питаться;
Где пища состоит в плодах
И где руно одеждой служит —
Невинность безопасна там.
Но где во мраморных чертогах
Со скукой праздность жизнь влачит,
Где червь индийский есть одежда,
Куда из Тира пурпур шлют,
Где алчность к злату горы роет, —
Невинность там страшись всего!

Кажется — кажется, что в кустах слышу я шум. — Тише! — Шорох приближается. — Я спрячусь за дерево и посмотрю, кто это.

(Прячется за куст.)

ЯВЛЕНИЕ 8

Лавра и Дорис, неся в руках корзинки с цветами.

Лавра

Цветочек мил в лугах,
Когда росою утра
Бывает окроплен;
Когда днем юным, ясным
Бывает позлащен.
Но он тогда милее,
Когда в полдневный жар,
Головку распустивши,
Пестреет, как звезда.

(Смотрит на цветочек.)

Дорис

Но он еще милее,
Когда престанет луч
Блестящего светила
Палить его огнем;
Когда прохладный воздух
Бальзамом напоен;
Когда зефиры дышат
И пурпур на него
Дыханьем навевают.

Посмотри, как прекрасно все вокруг нас блистает! Как все хорошо пахнет! — Мне, право, кажется, что ввечеру, когда заходит солнце, все виды бывают прекраснее, нежели поутру.

Лавра

А я лучше люблю утро. Когда вдруг все поля, покрытые мраком, в чистейшем свете представятся глазам нашим; когда дремавшая Природа пробудится и снова придет в движение, и все, на что ни взглянешь, оживет и возрадуется; когда весь хор маленьких сладкогласных птичек, сидящих по кусточкам, пристанет к кроткой песне парящего жаворонка...

Дорис

А когда после жаркого дня приблизится сладостный вечер и прольет на все нежную прохладу; когда под тихий шепот осинника и тополя и под журчание ручья запоет соловей громкую вечернюю песнь свою; когда стада протянутся вниз по пригорку, благовонными травами усеянному...

Лавра

Так мы обе правы, миленькая сестрица. Каждое время в сутках имеет свои приятности; всякое любезно и сладостно и наполняет сердце благодарением и радостью.

Дорис

Правда, правда, любезная Лавра. Поутру буду я с тобою хвалить утро, а ввечеру хвали со мною вечер — так вот мы и согласны. Да послушай, сестрица, — довольно ли у нас цветов?

Лавра

И очень, очень довольно. Посмотри, сколько у меня. Старичок наш мог бы ими покрыть все кипарисы вокруг монумента — все, сверху донизу.

Дорис

Когда цветы сплетешь в венки поплотнее, так их много пойдет. А мне хочется, чтобы и для нас сколько-нибудь осталось.

Лавра

Да если бы их и недостало, так бы нам не о чем было тужить. Ведь здесь везде растут цветы; мы их ногами топчем. Только скажу тебе за тайну, что ныне мне очень тяжело рвать цветы, хотя это упражнение для меня очень приятно в другое время.

Дорис

Отчего же?

Лавра

Ведь ты знаешь, на что цветы надобны нашему Палемону?

Дорис

Конечно, на воспоминание прежней потери своей.

Лавра

Не прерывает ли оно на несколько минут всегдашней радости нашей? По крайней мере придет тут в голову какая-нибудь печальная мысль, а этого я не люблю.

Любезны мне мирты,
Торжественный блеск,
Веселы свирели,
И танцы и плеск,
И пиршество Пана,
И праздники жертв;
И жизнь всю в забавах
Хочу провождать,
Не зная печали.
Как ввек небеса
В Аркадии чисты,
Так Лаврины дни
Да будут прекрасны,
И чисты, и ясны,
И веселы ввек!

Дорис

Однако ж, любезная Лавра,

Разве солнце не прекрасно
И тогда, как облака
Флером солнце покрывают?
И Природа красоту
Разве тратит в те минуты,
Как торжественная ночь
Тьмой Природу покрывает?
Ведь для света тень нужна.

Дафна потихоньку выходит и показывается Лавре.

Лавра
(бросаясь к сестре)

Ах, Дорис! посмотри, посмотри!

Дорис

О боги! Кто это? — Какое чудное платье!

Дорис и Лавра обнимаются и пристально смотрят на Дафну.

Лавра
(тихонько)

Она так прекрасна, что я могла бы почесть ее за богиню.

ЯВЛЕНИЕ 4

Лавра, Дорис, Дафна.

Дафна
(вслушавшись в слова Лаврины)

Нет, нет, любезные дети! Я такая же смертная, как и вы. Я друг ваш, и почту себя счастливою, если вы захотите быть моими друзьями.

Лавра

Как этого не хотеть! Вид твой показывает, что ты не хуже самой лучшей пастушки нашей.

Дорис

И мы бы, конечно, почли тебя своею, если бы на тебе было не такое платье.

Дафна

Я не ваша. Однако ж желаю принадлежать вам, если вы захотите принять меня.

Лавра

С радостию, с радостию! Пойдем в наши хижины; и все, что у нас есть, будет твое.

Дорис

Все, все. Стада наши будут тебя кормить и одевать; ты будешь питаться лучшими плодами, которые для нашего наслаждения растут у нас на прекрасных деревах.

Дафна

Прелестные девушки! Позвольте мне вас обнять и прижать к сердцу! *(Про себя.)* Вижу теперь, что добродетельная Аканта правду говорила. — Удивление и радость.

Лавра

Удивление! Чему ты удивляешься? Старики наши говорят, что чужестранцы, которым мы нравимся, конечно приятны богам, любящим свободу и простоту. Народ должен радоваться, когда умножается число честных людей, которые всеми силами стараются быть добродетельными и чрез то возбуждают нас к добру. Слава богам, что будет больше прилежных людей, обрабатывающих долины наши! От этого они еще более украсятся.

Дорис

Можем ли мы думать, что благодетельная Природа только для нас произвела плоды и стада и только для нас украшает луга благовонными цветами?

Попеременно.

Дорис

Когда у нас цветами
Покроются поля,

Лавра

Когда у нас плодами
Покроются леса,

Дорис

Приятно ли мне будет
Всегда одной их рвать?

Лавра

Приятно ли мне будет
Одной плоды срывать?

Вместе

На что, на что нам всё богатство,
Когда делить его нельзя?

Дафна
(сперва одна, а потом все три вместе)

Блажен, блажен, кто в счастье ближних
Находит счастие свое!
Везде во всем, всегда он счастлив;
Всегда доволен, рад, блажен!

ЯВЛЕНИЕ 5

Прежние, Лизиас, Эвфемон.

Лавра
(увидев Лизиаса и Эвфемона)

О боги! Дорис! Посмотри, посмотри! Вот опять новое явление.

Дорис

Ах, этот молодой пастух — однако ж он не пастух; он совсем не таков, как пастухи наши, — верно, пришел с нашим другом *(указывая на Дафну)*, ведь ты хочешь быть другом нашим? Однако ж у тебя должно быть и другое имя?

Дафна

Дафна — я Дафна, а он *(указывая на Лизиаса)* Лизиас, мой спутник.

Лавра и Дорис
(вместе)

Лизиас!

Эвфемон

Итак, это твоя любезная, которая с тобою ищет у нас прибежища? Здравствуй, прекрасная девушка! Ты найдешь здесь все, чего желаешь.

Дафна

Благодарю тебя за твою любовь. Эти милые дети подали мне радостную надежду на хороший прием.

Лавра

Ах, батюшка! Как ласково, как приятно обошлась она с нами!

Дорис

Она обнимала нас...

Лавра

Прижимала к своему сердцу...

Дорис

И называла своими друзьями.

Лизиас

Так ты отец этих любезных девушек?

Эвфемон

Так, друг мой. *(Детям)* Не забыли ли вы, что вам приказал почтенный Палемон?

Лавра

Ах, нет! Только нечаянная встреча с прекрасною Дафною — кажется, зовут ее Дафною — задержала вас здесь.

Дорис

Посмотри, батюшка, — цветы уже нарваны.

Эвфемон

Да еще не сплетены в венки; а вам, может быть, ныне же надобно будет с своими подругами нарвать больше цветов. Завтра при восхождении солнца ваши девические руки украсят наш брачный олтарь.

Лавра

(сестре своей)

Мне это пришло на мысль в ту же минуту, как я его увидела...

Дорис

И ее подле него. Ах! Пойдем поскорее. Как же обрадуются наши пастухи и пастушки!

Лавра

Мне нетерпеливо хочется сказать им о том.

Дорис

Однако ж нам надобно наперед сплести свои венки.

Обе поспешно уходят.

ЯВЛЕНИЕ 6

Лизиас, Эвфемон, Дафна.

Лизиас

Слышишь, любезная Дафна, что этот добрый пастух берет радостное участие в исполнении моего желания, желания соединиться с тобою, добродетельная Дафна!

Дафна

В сердце своем благодарю его за такое приветливое дружелюбие, и язык мой не может изъяснить чувствуемой мною благодарности.

Эвфемон

Боги пламенно желают
Счастья смертных чад земли
И хотят, чтоб человеки
Знали счастие свое.
Если ж им уподобляться
Кто захочет из людей,
То святая добродетель
Есть единый путь к тому.

Лизиас

Ах! Если бы все так думали, то зачем бы было нам искать счастия в такой отдаленности?

Эвфемон

Здесь вы, конечно, найдете счастие, если ищете его в тихом спокойствии и в тех дарах, которыми благодетельный Пан награждает наши легкие труды. Часы дня употребляем мы на сельские работы, чтобы, утомившись, наслаждаться ночью приятнейшим сном. Общественное согласие и гармония соединяют всех нас твердым сою-

зом. От умеренной пищи бываем мы здоровы, покойны, веселы.

Лизиас

(подавая Дафне руку)

Ах! Какое счастие ожидает нас здесь!

Эвфемон

Но если ищете его в искусственных сценах жизни, где пышность в обманчивых мечтах ослепляет глаза блеском — в роскошной, драгоценной пище или в шумных забавах, — то вы, конечно, обманетесь, и ничего по желанию своему не найдете здесь.

Дафна

Мы всего этого убегаем. Я видела издали роскошь и пышность, видела и презрела. Та, которая меня воспитывала, показала мне все опасные следствия их и увещевала меня искать счастия в такой земле, где добродетель исполняют без гражданского закона и где невинность доставляет чистые радости, которые не влекут за собою раскаяния, — коротко сказать, здесь, в Аркадии.

Лизиас

Я уже сказывал тебе, добродушный пастух, что это было причиною долговременной отсрочки моего благополучия, которое никак бы не могло совершиться, если бы я не исполнил ее воли и не привел бы ее сюда, положась на ее обещание, что здесь увенчается мое желание.

Эвфемон

Оно увенчается, и день вашего союза будет радостным днем для всей Аркадии. Мы не пропускаем случаев к веселию, почитая за благоразумие пользоваться жизнию, пока еще невинность и умеренность бывают душою наших забав, потому что веселая улыбка на устах добродетели есть, конечно, приятная жертва богам. И тот день бывает для нас днем радостнейшим, в который можем мы споспешествовать счастию добрых людей, приятных небу.

Дафна

Мы надеемся на милость богов, пришедши сюда единственно с тем намерением, чтобы в тишине подражать

вашим добродетелям. Конечно, сами бессмертные вели нас с Лизиасом, потому что мы никогда не теряли дороги и перешли такое великое расстояние без большой опасности и утомления.

Эвфемон

Однако ж вам, конечно, нужно отдохновение. Пойдемте же со мною. Там, за тенью этих высоких дерев, где извивается маленький ручеек, стоит моя хижина; она обросла ясмином и козьим листом. Сперва прохладитесь соком плодов, а потом представлю вас друзьям своим.

Лизиас

О, если бы они все были подобны тебе!

Дафна

И милым дочерям твоим!

Эвфемон

Перестаньте! Иначе буду думать, что вас заразила лесть тех городов, откуда вы пришли к нам; а истина есть у нас первое правило. Когда отдохнете, то поведу вас к нашему старому Палемону, чтобы он дал вам свое благословение.

Лизиас

Палемону? — Да кто он?

Эвфемон

Наш общий отец и друг, один из первых пастухов наших и господин многочисленных стад. С некоторого времени он совсем почти удалился от нашего небольшого общества и построил себе грот в этом лесу, где оплакивает некоторую важную потерю свою, которая отвратила его от радостей жизни и преждевременно покрыла сединою голову его.

Дафна

Кажется, что дочери твои об нем упоминали.

Эвфемон

Может быть; потому что мы все любим его, как отца. Благоразумие, опытность и добродетели его вселили в

нас такое к нему почтение, что в долинах наших не делается ничего без его совета и ведома. Иногда призывает он к себе детей наших и сообщает им добрые наставления в приятных сказках. Всякий боится впасть в порок, чтобы не потерять любви его. Никто из юношей и девушек наших не хочет любить без того, чтобы не посоветоваться с ним о своем выборе и не испросить на свой союз его отеческого благословения. Он всегда предводительствует нами, когда мы приносим жертву Пану, и кажется, что за молитву его оказывает нам небо свое благоволение.

Дафна

Поведи нас к нему, добродушный пастух, чтобы он и за нас помолился и чтобы его благословение осчастливило союз наш. Не знаю, какое сладостное чувство во мне возбуждается! При имени его бьется у меня сердце и кровь волнуется. Пусть он совокупит руки тех, которых сердца любовию совокупились! Ах, Лизиас! Пусть он отдаст нас друг другу!

Еще приятнее мне будет
Союз с тобою, нежный друг,
Когда рука святого мужа
Его навеки утвердит.
Отца и матери не зная,
Не зная, как отец и мать
Свое дитя ласкают, нежат,
Почту его своим отцом
И нежно поцелую руку
Того, кто нас благословит.

Лизиас

(Эвфемону)

Он, конечно, это сделает, когда узнает ее доброе, чистое, невинное сердце, достойное Аркадии.

Эвфемон

Конечно; луч света освещает тогда горестную душу его, когда он видит людей счастливых и сам может их счастливыми делать.

Уходят.

ЯВЛЕНИЕ 7

Открывается лес и гробница, на которой лежит молодая Нимфа. Внизу большими буквами написано: и я была в Аркадии. Недалеко от сего места видна пещера, из которой выходит Палемон, сперва кругом осматривается и наконец идет потихоньку.

Палемон

Как приятно сияет солнце на западе! Как прекрасно позлащает оно слабеющими лучами своими уединенную мою хижину! — Печальное воспоминание!

В сей день я некогда лишился
Всего, что было мило мне, —
Тебя, любезнейшая Дафна!
В последний раз тогда твой взор
Приятный, кроткий обращался
С улыбкой нежной на меня.

И вдруг рука спартанцев злобных
Тебя исторгнула навек
Из нежных, пламенных объятий
Отца, который слез своих
Еще не осушал о смерти
Любезной матери твоей!
Но время не могло исторгнуть

Тебя из сердца моего.
В нем вечно будет жить твой образ;
Он там глубоко впечатлен.

(Указывая на монумент)

Всегда сей памятник я буду
Слезами горести кропить.

Ныне, ныне минуло уже пятнадцать лет тому, как ты, милый ангел, — и точно в этот час — вместе с нашею верною приятельницею, которой умирающая мать твоя поручила нежное твое детство, досталась в добычу злодеям. Тщетно буду надеяться где-нибудь найти тебя или узнать, что ты жива! — Но так богам угодно, и непостижимый совет их всегда бывает премудр! — Может быть, предвидели они, что сердце мое слишком бы прилепилось

к этой милой дочери; что я великою своею любовию изнежил бы ее и в изнеженном младенце воспитал бы ядовитое растение для прекрасных и здравых долин Аркадских — непослушную дочь, дурную супругу и беспечную мать, а наконец в родительском восторге забыл бы и самих богов. Кто может поручиться за человеческое сердце, когда оно предастся страсти? — Теперь уже, конечно, уединенные сени, мудрое размышление и долговременные опыты научили меня истине; и если бы я нашел тебя ныне, когда уже укротился всякий мятеж вожделений в душе моей, когда жизнь моя течет тихо, подобно этому ручью, и когда спокойно ожидаю отзыва, — если бы ныне нашел тебя... Но начто такие мечты! Несбыточные сны, быв не что иное, как мечта, возбуждают только горесть. Лучше предамся сладостной меланхолии, столь приятной моему сердцу, — увенчаю цветами пустую гробницу, мною сделанную, чтобы нежные Зефиры развевали вокруг их бальзамический дух; и когда придут ко мне в уединенное мое жилище юные аркадские пастухи и пастушки, буду их приготовлять к разным случаям человеческой жизни, от которых не спасается и самое чистейшее человеческое счастие. — Что же нейдут ко мне любимые мои пастушки, дочери Эвфемоновы, которым я поручил нарвать цветов, на что они всегда с радостию вызывались? Неужели приключилось им что-нибудь неприятное? — На всякий случай и сам я могу нарвать... Тише! кто-то идет по кустам. — Посмотреть. *(Идет туда, где слышит шорох.)* А! Это они.

ЯВЛЕНИЕ 8

Палемон, Дорис, Лавра, обе запыхавшиеся.

Палемон

Где вы по сю пору были, любезные дети? Бывало, вам лишь только слово скажешь, так уже и все сделано. А я ведь, кажется, поручил вам приятное дело.

Лавра

Ах, любезный Палемон! Не сердись. Не сердись! Видишь — они нарваны.

Дорис

И в венки сплетены — только...

Палемон

Прежде отдохните, милые мои.

Лавра

Только мы были задержаны...

Дорис

И против воли опоздали; потому что на дороге увидели мы чудное явление...

Палемон

Не дурное ли?

Лавра

О нет! Приятное...

Дорис

Самое приятнейшее, потому что оно возбудило в нас величайшее любопытство.

Палемон

Неисполнение должности — а что мы сделать обещали, то есть уже должность наша, — неисполнение должности, любезные дети, не всегда извиняется побуждением любопытства. Но как обещание ни важно...

Лавра

Ах! Мы чувствуем, что нехорошо сделали. Ведь ты для нас всего дороже!

Дорис

Да как было удержаться? Двое молодых чужестранных; пастух — однако ж не в таком платье, как мы...

Лавра

С молодою Нимфою — однако ж не совсем такою, как мы...

Палемон

Пастух с Нимфою? Правда, что это чудное явление, потому что люди, живущие в больших городах и воспи-

танные в изобилии и шуме, убегают тихих, уединенных долин, где надобно прилежною работою доставать себе умеренную и простую пищу, где не терпится праздность и где уважаются одни невинные и чистые нравы. — Не слыхали вы, откуда они пришли?

Дорис

Кажется, что они, когда мы плели венки, говорили о Спарте.

Палемон

(с некоторым движением)

О Спарте? Они из Спарты? Так надобно стараться поскорее сбыть их с рук. Они, конечно, обманщики, разбойники. Берегитесь их, берегитесь, милые дети!

(С горестию оборачивается к монументу.)

Лавра

Нет, нет, любезный Палемон! Они не обманщики, не разбойники...

Дорис

Он так добр, как аркадский пастух; а она так невинна, как аркадская пастушка. Тебе надобно только увидеть их...

Лавра

И услышать их слова. — Она мила, прекрасна!

Как пурпур в час вечерний
Собою красит облака,
Так лилии и розы
Сияют на лице ее.

Дорис

Глаза ее подобны
Лазури утренних небес.
В ее открытых взорах
Видна вся внутренность души.

Лавра

Не чудно бы мне было,
Когда бы пчелки на уста
Ее толпой слетелись
И стали меду в них искать.

Дорис

Так волны не сребрятся
У брега пенистых озер,
Как волосы сребрятся
На шее в кудрях у нее.

Лавра

А рост ее...

Дорис

А походка ее...

Лавра

И все, что она делает...

Дорис

И все, что говорит...

Лавра

А он — он так хорош — так прекрасен, как молодой кедр.

Дорис

Кроток, как улыбающийся месяц.

Палемон

Хорошо, хорошо! Только молодым девушкам не надлежало бы с такою прилежностию рассматривать приятности молодых пастухов и описывать их с таким красноречием. А то...

Дорис

А то подумают, что мы влюблены в них, и станут над нами смеяться.

Лавра

А смеялась ли ты над молодою пастушкою, что она любит юношу?

Дорис

Это совсем другое — она большая, и разве ты не слыхала, что батюшка говорил о свадебных венках, которые нам скоро надобно будет для них сплести?

Палемон

О свадебных венках? — Отец ваш? — Это меня уверяет, что их не надобно бояться и что они не только прекрасны, но и добродетельны.

Лавра

Конечно, конечно добродетельны! Они хотят, чтобы мы их приняли.

Дорис

И пришли сюда с тем, чтобы у нас навсегда остаться.

Лавра

И хотят здесь праздновать брак свой.

Дорис

И придут к тебе просить благословения.

Палемон

Моего благословения? Да кто им обо мне сказал?

Лавра

Верно, батюшка.

Палемон

(в беспокойстве)

Однако ж они, конечно, не ныне придут ко мне?

Дорис

Ныне, ныне — теперь же.

Лавра

Они отдыхают, потому что от дальней дороги очень устали; а прохладясь плодами, тотчас сюда придут.

Палемон

(подумав)

Нет, нет! Они помешали бы мне в сладостной меланхолии совершать память любезной дочери моей. Они хотят перед олтарями нашими заключить союз любви, — может быть, радостные сердца их наполнились бы печальными предчувствиями, когда бы они, пришедши ко

мне за благословением, увидели здесь памятник осиротевшей родительской нежности и нашли меня подле печальных кипарисов. Лучше мне предупредить их.

Лавра

Они уже, может быть, идут.

Дорис

А может быть, и близко.

Палемон

По крайней мере надобно, чтобы мы с ними не здесь увиделись. Отнесите свои корзинки в мою хижину, побегите и скажите, что я приду. Я пойду стороною к ним навстречу и ворочу их. — Подите, дети, подите!

Пастушки относят свои корзинки в пещеру и уходят.

ЯВЛЕНИЕ 9

Палемон

Как неприятно, когда мешают печалиться! — Что вздумалось Эвфемону теперь, в самое это время... Ведь ему известно... Однако ж он, по своему добродушию, может быть хочет этим выгнать из души моей меланхолические мысли нынешнего вечера. Ах! Он не знает, что в самом унынии есть несказанная сладость! — Да они из Спарты! А ему известно, что это имя возмущает душу мою! Однако ж я чувствую в сердце своем великое движение — мне бы хотелось видеть их. — А они из Спарты! — Чудно! я охуждаю любопытство в молодых пастушках, а сам — сам чувствую неизвестное побуждение... Пойду, пойду. Только наперед обвешаю цветами пустую гробницу моей Дафны. Пусть этот ежегодный обряд пребудет доказательством, что я помню ее! Вот единственный дар, который она может получить от родительской нежности!

(Идет, приносит корзину с цветами и увенчивает ими монумент. Между тем поет)

Ах, как в венках прекрасны розы!
Но скоро меркнет алый цвет,

И скоро розы опадают.
Когда же завтра я спрошу:
Где роза, цвет прекрасный, гордый,
Краса долин, полей, лугов, —
То роза жалобно мне скажет:
И я в Аркадии цвела!

(Помолчав.)

И ты в Аркадии была,
Моя любезнейшая Дафна!
В пучочке видел я твой цвет.
Ах, если б я теперь увидел
Тебя, любезнейшая дочь!
Теперь бы в полном, в пышном цвете
Сияла Дафна как звезда.
В пучочке видел я цвет Дафнин —
Она в Аркадии была!

А теперь нет тебя! — А если ты еще жива, то как? где? — Может быть, живешь ты в неволе;

И если цепи носишь,
То цепи облегчай
Надеждою на небо!
Они легки тогда,
Когда душа свободна,
Невинна и мудра.
А если дух твой чистый
Взирает на меня
Со свода голубого,
То радуйся, моя
Любезнейшая Дафна!
Я скоро буду там.
Сошла почти нить жизни,
И смерть близка ко мне.
Отверстая могила
Готовится принять
В свои покойны недра
Меня и скорбь мою.

(После горестного молчания.)

Однако ж я долго медлю. В горести своей совсем забыл, что гости наши меня дожидаются. Пойду скорее,

чтобы скорее возвратиться сюда, к своей меланхолии. — Кажется, что кто-то идет. — Спрячусь.

(Прячется за гробницу.)

ЯВЛЕНИЕ 10

Дафна, Лавра, Дорис.

Дафна

Только на минуту останусь здесь, любезные дети! Ведь вы говорите, что его здесь нет и что он хотел стороною выйти к нам навстречу? — А мне хочется видеть по крайней мере жилище его.

Лавра

Однако ж, прекрасная Нимфа, что ты там смотришь? — Он это запретил; а нет на свете такого человека, которого приказания уважали бы мы более Палемонова слова.

Дорис

Если и друг твой, Лизиас, сюда же придет, так мы совсем пропали. Ах! Один важный взор укоризны...

Дафна

Так подите же и не пускайте его сюда.

Лавра

А где он?

Дафна

Он намерен был сплести мне брачный венок. Отец ваш хотел вести его в розовый кустарник и ушел с ним незадолго перед вашим приходом.

Дорис

Так мы пойдем к ним навстречу, а ты приходи за нами. Эта дорожка в правую сторону приведет тебя туда.

Дафна

Хорошо, хорошо. *(Указывая на пещеру)* Так это жилище добродетельного старца?

Лавра

Да.

Дафна

Для чего же не хотел он нас принять здесь?

Дорис

Ныне он совершает память любезного младенца.

Лавра

И не хочет, чтобы ему мешали заниматься горестными мыслями.

Дорис

А более всего не хочет того, чтобы его приветствие было для вас печально. — Однако ж нам надобно идти. А ты еще не хочешь идти с нами, любезная Нимфа?

Дафна

Только на минуту...

Лавра

Нет, пойдем, Дорис. Если они прежде придут, то что скажет Палемон?

Дорис

А что он скажет, если ее найдет здесь?

Дафна

О! Если он так добр, то, конечно, извинит мое любопытство и простит, что я вас не послушалась. А я сама себя обвинять буду.

Лавра

Так поскорее приходи. Ведь здесь тебе нечего больше смотреть!

Дорис

А если хочешь посмотреть гробницу дочери его...

Дафна

(с некоторым ужасом)

Гробницу дочери его?

Лавра

Вон она! Видишь ли?

Дорис

Ах! Он уже обвешал ее нашими цветами!

(Уходит.)

ЯВЛЕНИЕ 11

Дафна

(Одна. Подходит к памятнику, осматривает его с великим вниманием и по некотором молчании читает вслух слова)

И я была в Аркадии... И я была в Аркадии — в Аркадии! И конечно, лишилась жизни во цвете лет своих? И покоишься в этой гробнице! И добрый отец, нежная мать тебя оплакивают! — А здесь Аркадия! А я думала, что на Аркадской земле не произрастает никакого человеческого злополучия! А вместо того и здесь живут заразы и болезни и скорби — или какое иное несчастие тебя, нежная дочь, преждевременно у родителей похитило? — Среди прекрасных долин, среди прелестных лугов... О как я обманулась! Суетная надежда! Как ты обольстила меня!

В мирных рощах и долинах
Кипарисы я нашла
Вместо роз и миртов нежных.
Вместо брачных олтарей,
Где б союзу совершиться,
Вижу гроб я пред собой.
Так и здесь бывает горесть
После радости, утех?
Терны так же колют сердце?

И на радостных полях
Только памятник печали
Представляется глазам?

Так только для этого пришла я сюда из такой отдаленности, оставила Спарту и бедного Лизиаса увела из отечества? — Где непрерывное благополучие, которое мне Аканта выхваляла? Где тот цветущий душевный мир, которого мы искали? — Ах! Как могла она предаваться такой суетной, неосновательной надежде!

ЯВЛЕНИЕ 12

Дафна, Палемон.

Палемон

(выходя из-за монумента; про себя)

Правда ли, что я слышал? *(Смотрит ей в глаза.)* Ах! Какой прекрасный образ!

Дафна ужасается и хочет бежать.

Куда, любезная девица! Куда? — Не бойся меня! — Останься здесь!

Дафна

Прости, почтенный старец, прости, что я потревожила тебя в священном твоем уединении! По крайней мере милые мои пастушки в том не виноваты. Прости их! Они мне сказывали, что ты не хотел здесь с нами видеться, и просили меня идти назад; но — непреодолимое влечение...

Палемон

(смотря на нее пристально)

Я это слышал. Не для себя, а для вас не хотел я здесь с вами видеться. Ты видишь, что в этом месте неприлично принимать таких приятных гостей, как ты. Здесь жилище престарелой горести; а в Аркадии много лучших мест для угощения добрых людей.

Дафна

О! Я вижу, что самый радостнейший вид неба и земли не спасает от гроба, в который навсегда сокрывается надежда и счастие; и что самый лучший человек может погребсти своих ближних. — Однако ж взор твой услаждает мое сердце, берущее участие в твоей горести. Не знаю сама, какое тайное утешение, какая несказанная радость.

Палемон

А твой взор?.. Скажи мне, скажи! Или меня обмануло воображение, или не говорила ли ты о Спарте, об Аканте? Так ли я слышал?

Дафна

Конечно говорила, потому что я пришла из Спарты, где меня Аканта...

Палемон

(поспешно)

Аканта? Ты ее знала? Она еще жива?

Дафна

Ах, нет! Она умерла в моих объятиях. Я потеряла в ней лучшего друга, и память ее никогда не истребится из моего сердца. Последняя воля ее была та, чтобы я шла в Аркадию, где она жила счастливее, нежели в Спарте.

Палемон

Итак ты, конечно, Акантина дочь?

Дафна

Нет, добродетельный старец! Я любила ее как мать свою и несколько лет матерью почитала; но при кончине своей она вывела меня из сладостного заблуждения и открыла мне, что я дочь лучшей ее приятельницы, которая меня в детстве ей поручила. Смерть не дала ей более говорить — и я осталась бы беспомощною сиротою, если бы один добродетельный спартанский юноша не...

Палемон

(вне себя)

Пан всемогущий! Это она! Она! Она!

Дафна

Ах! Что с тобою сделалось? — Ты трепещешь — слезы льются из глаз твоих...

Палемон

(громким голосом)

Дафна! Дафна!

Дафна

Это мое имя... боги!

Палемон

Дафна! Дочь моя!

(Падает в ее объятия.)

Дафна

Небо! — Ты мой отец? Отец мой? Можно ли?

Обнимает его — молчание — оба рыдают, обнимая друг друга.

Сердце мое, сердце мое сказало мне, что ты — родитель мой!

Палемон

Я умираю с радости! — О Дафна, дочь моя, которую Спарта у меня похитила, которую пятнадцать лет я оплакивал! — И я еще вижу тебя! — боги!

Дафна

Неизъяснимая радость — доныне неизвестный восторг детской любви — счастие — блаженство... Ах! Я нашла своего родителя!

ЯВЛЕНИЕ 13

Лизиас, Эвфемон, Эвергета, Лавра, Дорис.

Эвфемон

(входя)

Надобно посмотреть, где они. Он так добр, что, конечно, простит нетерпение наше.

Лизиас
(приходит в замешательство, увидев Дафну в Палемоновых объятиях)

Во всех видно изумление и любопытство.

Что? что? — Дафна!

Дафна
(вырываясь из объятий отца своего)

О Лизиас! Поди, участвуй в счастии...

Лизиас
(в беспокойстве)

Какое счастие? — В его объятиях...

Дафна

В объятиях моего любезного отца...

Все
(в удивлении)

Отца!

Дафна

Так, любезный Лизиас! *(Палемону)* Ах, родитель мой! Вот тот юноша, который привел меня из Спарты и с которым обещала я соединиться в Аркадии вечным союзом. Без него не могла бы я наслаждаться этим счастием, — счастием, о котором думала Аканта при кончине своей, убеждая меня идти в Аркадию. Он исполнил условие и привел меня сюда, где любовь должна была наградить его сердцем моим. Теперь рука моя в твоей власти, и от тебя зависит исполнение моего обещания.

Эвфемон
(тихонько дочерям своим)

Подите, любезные дети, и поскорее уведомьте всех аркадских жителей о счастии нашего добродетельного старца.

Эвергета

И я пойду с вами. Эта ведомость так приятна, что я непременно хочу вместе с детьми своими ее обнародовать. Какая будет радость! Какое веселие!

Уходят.

Палемон
(Лизиасу)

А ты, юноша, из Спарты?

Эвфемон

Из Спарты; однако ж, конечно, не из тех злодеев, которые некогда похитили Аканту с твоею дочерью. Он наилучший, наидобродетельнейший юноша; он возвращает тебе дочь твою.

Палемон

Возвращает! Я чувствую одолжение, и благодеяние его заглаждает злодейство спартанцев. Непостижимы пути Провидения! — Поди ко мне, юноша! — Ты любезен моей дочери, любезен по своим добродетелям, и возвращаешь мне вверенный тебе залог невинности: будь же Дафниным супругом и дай мне прижать тебя к отеческому сердцу моему! Да излиется на тебя благословение небес, подобно как в сердце моем благодарность и любовь разливается!

Лизиас

Какое восхищение! — О Дафна!

Дафна

Любезный Лизиас! Однако ж мне еще об одном знать надобно: у меня нет уже матери?

Палемон

Нет, твое рождение было гробом ее. Для того-то и вверил я воспитание твое Аканте, ее другу. — Но не будем огорчать сладких минут радости печальным воспоминанием. Такова жизнь человеческая! Ты думала, дражайшая Дафна, найти в Аркадии непрерывное счастие; однако ж ты обманывалась — под солнцем нет такой страны, которая не была бы подвержена всеобщему жребию человечества.

Там, там, превыше гор лазурных,
Подпоры неба, светлых звезд, —
Там будем жить в странах блаженных,
Где царствует добро без зла;

Где дух, одетый паром неба,
Вкушает сладость, нектар пьет;
Где сердце в чистоте эфира
Не знает скорби, зол и бед
И где душа, быв в вечном мире,
Всегда довольна, весела.

Туда, любезная Дафна, туда страждущая добродетель должна обращать терпеливое око свое; там только обитает совершенное благополучие, — здесь, на земле, все подвержено перемене времени и счастия.

Дафна

Правда, что здесь надеялась я найти убежище от всех беспокойств и несчастий жизни. Чистый воздух, светлое небо, добрые люди, а более всего прекрасные Акантины описания...

Лизиас

Теперь ты уже видишь, дражайшая Дафна, какое было ее намерение. Она разгорячала твое воображение, чтобы побудить тебя скорее идти в то место, где могла ты найти величайшее для себя счастие — добродетельного отца.

Дафна

Я нашла его, нашла и благодарю богов и Аканту во гробе.

Палемон

Ты представляла себе мечтательное счастие. Часто воображение обольщает нас приятными мечтами; увидев наконец обман, обвиняем своим заблуждением не себя, а мир. Человек, жаждущий благополучия, вымышляет себе радости, которых ему по справедливости ожидать не можно; и когда не исполнится его ожидание, тогда почитает он потерянным то, чем в самом деле никогда не обладал.

Дафна

И так впредь воображение меня уже не обманет. Я буду почитать всякое роптание за преступление и неудовольствие — за неблагодарность против неба.

Палемон

Хорошо сделаешь, любезная Дафна. Если бы не ободряла меня надежда когда-нибудь найти тебя, то бы я уже давно занял эту пустую гробницу. Теперь узнал я опытом, что в самую ту минуту, когда небо наиболее чернеет и гроза носится над головою нашею, боги нас подкрепляют и направляют к миру стопы наши. Умерим свои вожделения, дети мои; ограничим желания, будем наслаждаться счастием с благодарением и радостию и в страдании веселиться надеждою. Таким образом будет Аркадия в сердцах наших, потому что и здешняя земная жизнь доставляет добродетельному много удовольствий, а смерть бывает ему совсем не страшна.

Вдали слышен марш, играемый на трубах, который между следующими речами, прерываемыми музыкою, несколько раз повторяется.

Ах, друзья мои! вместо звуков сожаления и печали слышу я громкий глас мира и радости! Как приятно отзывается он в ушах моих и с какою красотою вся Природа снова возвеселяется для радостного Палемона, который до теперешнего часа видел ее во мраке и для которого самые прекраснейшие песни были печальными песнями!

Эвфемон

Конечно, Эвергета и дочери мои объявили аркадским жителям твое и наше благополучие.

Палемон

Вот они.

ЯВЛЕНИЕ 14 И ПОСЛЕДНЕЕ

Эвергета, Лавра и Дорис с другими пастухами и пастушками приходят с сельскою музыкою, будучи украшены цветами и неся в руках миртовые ветви.

Палемон, Лизиас, Дафна, Эвфемон.

Хор пастухов

Из руки твоей лиется
Всякий дар на нас, о Пан!
Ты плодами нас питаешь,
Ты веселье проливаешь.

Дар приемля, Пана чтим;
Дар вкусив, благодарим.

Палемон

От Пана проистекает всякое счастие наше; и вы, любезные друзья мои, берущие участие в моем благополучии, находите меня теперь в таком восхищении, что язык мой никак не может изъяснить чувств моего радостного сердца, в благодарности славящего всемогущего Подателя благ.

В сей день заря, румяным светом
Рассеяв мрак, мой сон прервав,
Была мне знаком к новой скорби;
Я был в унынии, в тоске,
Но вдруг душа возвеселилась,
И я песнь радости пою,
И слезы сладки проливаю,
Нашедши снова Дафну там,
Где я построил ей гробницу
И где оплакивал ее.

Хор

Пойте, пойте песни Пану!
Пан печальных веселит,
Пан печали утоляет,
Пан источник слез сушит;
Часто мрачные пустыни,
Где уныло бродим мы,
Он внезапно освещает
И Аркадией творит.

Пляшут под музыкою.

Палемон

Памятник моей скорби будет теперь памятником моей радости, и гробница, посвященная Дафне родительскою нежностию, будет брачным олтарем ее. Да исчезнут печальные кипарисы! Насадите здесь, друзья мои, радостные розы и мирты. А ты, прекрасный юноша... *(Подводит Лизиаса и Дафну к памятнику.)* Дайте мне руки, дети мои! *(Складывает их руки.)* Любите друг друга и будьте счастливы! Завтра луга и стада мои бу-

дут приданым любезной Дафны. Горестная жизнь моя приближается к покою, и, утешаясь тобою, нежная чета, с радостию ожидаю смерти.

Лизиас

В продолжение Палемоновой речи надевает на Дафну розовый венок, который был у него в руках; и между тем как он с Дафною поет, пастухи, составляющие хор, пляшут и обсаживают памятник, наместо кипарисов, миртами.

Венок, любовию сплетенный,
Прими, любезная моя!
Сколь опыт ни тяжел бывает,
Но вдруг, награду получив,
В восторге всё мы забываем,
Всю грусть, и горесть, и тоску.

Дафна

(подавая ему руку)

Вот тебе моя рука!
Сердцем ты давно владеешь,
Должность, нежность и любовь
Купно верность награждают.
Вянут, вянут все цветы;
Вянет цвет и нашей жизни,
Но любовь всегда живет.

Вместе

Кто в браке счастливо живет,
Ах! тот в Аркадии живет.

Палемон

Вы теперь, конечно, в Аркадии, любезные дети! Невинность и любовь, мир и радость в сердцах ваших, благословение богов на вас, доброжелательство людей вокруг вас — ах! Это истинная аркадская жизнь! Наслаждайтесь ею; но не забывайте, что и вы когда-нибудь выйдете из Аркадии.

Эвфемон

Где мир, согласие, любовь
Вовеки купно обитают
И где порок всегда презрен;
Где чтут святую добродетель
И где награда есть она...

Эвергета

Где счастие в трудах находят;
Где старец как младенец прост,
Невинен, нежен и любезен;
Где отрок, юноша так мудр,
Как старец опытный и умный...

Вместе

Там есть Аркадия для нас.

Лавра

Если сердце будет ясно
Так, как утро в красный день,
И беспечно так, как птички;
Так цветуще, как луга;
Прямо, просто, как Природа...

Дорис

Кротко, как сердца ягнят;
Нежно, как сердца у горлиц,
И покорно, как птенец,
Всегда матери послушный...

Лавра

Если любим мы труды,
Сил своих не истощая,
И довольны тем, что есть, —
То везде, куда ни взглянем,
Мы Аркадию узрим.

Обе повторяют последнюю фразу.

Хор

Не мучьтесь никогда желаньем
    Вы, юные сердца, —
Найти Аркадию под солнцем!
    Вы можете найти
Аркадию в душе спокойной.
    Ищите там ее!

Повторяют последний стих.

Конец драмы.

II
ПРИПИСЫВАЕМОЕ Н. М. КАРАМЗИНУ

162. ВЗДОХ

Месяц восходит, месяц прекрасный,
Тихий, любезный спутник земли;
Сребряный, ясный свет изливает,
Нежно блистает в чистых водах.

В счастии, в мире, в тихом весельи
Я наслаждался светом твоим,
Месяц прекрасный! здесь с Альциндором
В роще дубовой ночью сидев.

Чувства из груди в грудь преливались,
Нежные чувства дружбы, любви.
Нет Альциндора! .. Тисы над гробом
Юного друга томно шумят.

<1789>

163. ГРОЗА

Велик господь! вещают громы,
Гремя, треща, тряся всю твердь.
Велик господь! вещают бури,
Волнуя, пеня Океан.

Дуб древний, с шумом потрясаясь,
Вещает нам: велик господь!
Ударом грома раздробляясь,
Гласит еще: велик господь!

Злодей, законы презиравший,
Мятеж Природы всей узрев,
Бледнеет, падает, взывает:
Велик господь и страшен злым!

Душа благая, враг пороков!
Внимая громам, шуму бурь, —
С улыбкой на небо взирая,
Вещаешь ты: коль благ господь!

<1789>

164. НА СМЕРТЬ ДЕВИЦЫ **

Вчера здесь роза расцветала,
Собою красила весь луг;
Но ныне роза в зной увяла —
Краса ее исчезла вдруг.

Куда, Элиза, ты сокрылась
Толь скоро от друзей твоих?
Вчера ты с нами веселилась,
Быв в цвете майских дней своих.

Но вдруг, Элиза, увядаешь —
Болезни зной пожег твой цвет,
Глаза со вздохом закрываешь...
Я слезы лью — Элизы нет!

Любив здесь в жизни добродетель,
Ты ею красила себя;
Теперь наш бог и благодетель
Осыплет благами тебя.

Друзья умершей! не печальтесь;
Она в объятиях отца.
Отрите слезы, утешайтесь!
Ее блаженство без конца.

<1789>

165. ВСЕОБЩАЯ МОЛИТВА
СОЧИНЕННАЯ Г. ПОПОМ

Перевод с английского

Отец всего, согласно чтимый
Во всяком веке, всех странах —
И диким, и святым, и мудрым, —
Иегова, Зевс или господь!

Источник первый, непонятный,
Открывший мне едино то,
Что ты еси источник блага,
Что я и немощен и слеп;

Но давший мне в сем мраке око
От блага злое отличать,
И, всё здесь року покоряя,
Свободы не лишивший нас!

Что совесть делать понуждает,
То паче неба да люблю;
Но то мне будь страшнее ада,
Что совесть делать не велит!

Да буйно не отвергну дара
Твоей щедроты и любви!
Доволен ты, когда он принят, —
Вкушая дар, тебе служу.

Но к сей земной и бренной жизни
Да ввек не буду прилеплен;
Не чту себя единой тварью
Творца бесчисленных миров!

Не дай руке моей бессильной
Брать стрелы грома твоего
И всех разить во гневе злобном,
Кого почту твоим врагом!

Когда я прав, то дай мне, боже,
Всегда во правде пребывать;
Когда неправ, рассей туманы
И правду в свете мне яви!

Да тем безумно не хвалюся,
Что дар есть благости твоей;
Да ввек за то роптать не буду,
Чего, премудрый, мне не дашь!

Да в горе с ближним сострадаю,
Сокрою ближнего порок!
Как я оставлю долги братьям,
Так ты остави долги мне!

Быв слаб, тогда бываю силен,
Когда твой дух меня живит;
Веди меня во дни сей жизни,
И в смерти, боже, не оставь!

В сей день мне дай покой и пищу;
Что сверх сего под солнцем есть
И нужно мне, ты лучше знаешь —
Твоя будь воля ввек и ввек!

Тебе, чей храм есть всё пространство,
Олтарь — земля, моря, эфир,
Тебе вся тварь хвалу пой хором,
Кури, Натура, фимиам!

<1789>

166. ЛАВИНИЯ

ОСЕННЯЯ ПОВЕСТЬ[1]

Перевод с английского

Любезная душой, Лавиния младая,
Имела перед сим приятелей, друзей,
И счастье в день ее рожденья улыбалось.
Но вдруг лишась всего во цвете юных лет,
Лишась подпоры всей — кроме подпоры неба,
Невинности своей, — она и мать ея,

---

[1] В 11 ч. «Детского чтения» напечатан вольный прозаический перевод сей повести. Кажется, что в сем новом метрическом переводе удержано более красот подлинника; и потому можно надеяться, что читателям будет он не неприятен.

Беднейшая вдова и в старости больная,
Под кровом шалаша спокойно жизнь вели
В излучинах лесов, среди большой долины,
Уединенной тьмой густых, ветвистых древ,
Но более стыдом и скромностью укрыты.
Оставя свет, они хотели избежать
Презрения людей, и ветреных и гордых,
Которые в бедах невинность не щадят.
Они питались там почти единым даром
Простого Естества, подобно птицам тем,
Которые свои приятнейшие песни
В забаву пели им; — довольны были всем,
Не думая о том, чем завтра им питаться.
Сколь роза на заре бывает ни свежа,
Когда листы ее окроплены росою,
Лавиния была свежее розы сей.
Как лилия, как снег, лежащий на Кавказе,
Была она чиста. В очах ее всегда
Достоинства души кротчайшие сияли —
Все влажные лучи ее прекрасных глаз,
Потупленных всегда, в цветы рекой лилися.
Когда же мать ее рассказывала ей,
Чем некогда судьба коварная им льстила,
Она, внимая ей, задумчива была,
И слезы у нее в глазах светло блистали,
Как росная звезда сияет ввечеру.
Приятность Естества, размеренная стройно,
Блистала в ней везде, во всех ее частях,
Скрываемых от глаз одеждою простою,
Которая была превыше всех убранств.
Любезности чужда вся помощь украшений,
И без прикрас она прекраснее всегда.
Не мысля о красе, была она красою,
Сокрытою в лесах дремучих и больших.
Как в недрах пустоты седого Апеннина,
Под тенью бугров, рассеянных кругом,
Восходит юный мирт, неведомый всем людям,
И сладкую воню во всю пустыню льет, —
Лавиния цвела сим образом во мраке,
Не зримая никем. Но некогда пошла
Понужде хлеб сбирать на поле к Палемону, —
С улыбкой на устах, с терпением в душе.

Все жители села гордились Палемоном.
Он был богат и добр и вел простую жизнь
Счастливейших веков, в аркадских нежных песнях
Воспетых издавна, — жизнь сих невинных дней,
Когда неведом был еще обычай зверской,
И тот по моде жил, кто жил по Естеству.
Гуляя по полям и мысль свою вперяя
В осенни красоты, он вдруг увидел там
Лавинию в трудах, которая не знала
Всей силы своея, и, застыдясь, тотчас
Укрылась от него. Он прелести увидел,
Но только третью часть сокрытых от него
Смирением ее. Почувствовал он в сердце
Невинную любовь, не зная сам того.
Ему был страшен свет, которого насмешку
Едва ли философ решится презирать.
Избрать в супруги ту, которая сбирает
Понужде хлеб в полях! — Он так вздыхал в себе:
«Как жалко, что она, быв так нежна, прекрасна,
Быв в чувствах столь жива, являя доброту,
Столь редкую в других, — готовится в объятья
Кого-нибудь из сих суровых поселян!
Она сходна лицом с фамилией Акаста...
Приводит мне на мысль виновника всех благ
Моих счастливых дней, лежащего во прахе.
Его земля и дом — цветущая семья —
Всё вдруг разорено. Я слышал, что сокрылась
Жена и дочь его в дремучие леса,
Чтоб им не видеть сцен своей счастливой жизни,
Которые могли б умножить их печаль,
Унизить гордость их; но тщетен был мой поиск.
О, если б это дочь была его!..
Мечта!»
Когда же, расспросив ее о всем подробно,
Узнал, что друг его, сей щедрый друг Акаст,
Был точно ей отец, — как выразить все страсти,
Которые в душе его восстали вдруг
И трепетный восторг всем нервам сообщили?
Вдруг искра, быв пред сим скрываема в душе,
Свободно, смело там во пламя превратилась.
Осматривав ее с огнем любви, он вдруг
Слезами залился... Любовь, и благодарность,

И жалость извлекли сии потоки слез.
Смешаясь, — устрашась внезапности сих знаков, —
Прекраснее еще была она в тот час.
Так страстный Палемон, и купно справедливый,
Излил души своей священнейший восторг:
«Ты друга моего любезнейшая отрасль?
Та, кою тщетно я, покоя не имев,
Везде, везде искал? .. О небо! та, конечно.
В сей кротости твоей Акастов образ зрю —
И каждый взор его — черты его все живы —
Но всем нежнее ты. Краснейшая весны!
О ты, единый цвет, оставшийся от корня,
Который воспитал всё счастие мое!
Скажи мне, где, в какой пустыне ты питалась
Лучом любви небес, столь щедрых для тебя,
С такою красотой расцветши, распустившись,
Хотя суровый ветр, дождь бурный нищеты
На нежность лет твоих всей силой устремлялись?
Позволь же мне теперь тебя пересадить
На лучший слой земли, где луч весенний солнца
И тихий дождь лиют щедрейшие дары!
Будь сада моего отличной красотою!
Пристойно ли тебе, рожденной от того,
Кто житницы свои, наполненные хлебом,
Отверстые для всех, считал еще ничем,
Кто был отцом сих сел, — сбирать изверг на нивах,
Доставшихся мне в дар от милости его?
Ах! выбрось же сию постыдную безделку
Из рук, не для снопов созданных Красотой!
Поля и господин твоими ныне будут,
Любезная моя, когда захочешь ты
Умножить те дары, которыми осыпал
Меня твой щедрый дом, дав мне драгую власть
Устроить часть твою, тебя счастливой сделать».
Тут юноша умолк; но взор его являл
Святый триумф души, вкушавшей благодарность,
Любовь и сладкий мир, божественно взнесясь
Превыше всех утех души обыкновенной.
Ответа он не ждал. Быв тронута его
Сердечной красотой, в прелестном беспорядке,
Румянцем нежным щек, она сказала: да!
Потом тотчас пошла к родительнице с вестью,

Грустившей о судьбе Лавинии своей,
Считавшей всякий миг. Услыша, изумяся,
Не смела верить ей; и радость вдруг влилась
В увядшие ее сосуды хладной крови —
Слабевшей жизни луч со блеском осветил
Ее вечерний час. Она была в восторге
Не менее самой счастливейшей четы,
Которая цвела в блаженстве нежном долго,
Воспитывая чад любезных, милых всем —
Подобно ей самой — и бывших красотою
Всей тамошней страны.

<1789>

167. СИЛЬФИДА

Плавай, Сильфида, в весеннем эфире!
С розы на розу в весельи летай!
С нежного мирта в кристальный источник
На испещренный свой образ взирай!

Май твоей жизни да будет весь ясен!
Пчелка тебя никогда не пугай,
Там, где пиешь ты свой сладостный нектар,
Птица Цитерина мимо лети!

В Оркус низыдя, Сильфида, покойся
Кротко в Платоновом вечном венке!
Он возвещал утешение смертным,
Психе свободу, подобно тебе.

До 1791

ВАРИАНТЫ

4

«Московский журнал»
1792 Нашел ты ключ ко всем таинственностям рока
127 И светом своего великого ума.

7

Автограф ПД
4 Нигде покоя в мире нет
9 В духовны сферы вознесемся
13 Тогда, быв светом озаренны
15 И слезы радости проливши

16

«Московский журнал»
После 37

Да девять сестр небесных,
И важных и веселых,
Тебя в сей год утешат
Беседою своею!
Родившая Орфея
Читай тебе Гомера;
Всезнающая Клио —
Плутарха или Юма;
С кинжалом Мельпомена
Шекспира декламируй;
Полимния в восторге
Пой Пиндаровы оды;
Эрата с нежной краской
Читай тебе тихонько
Теосского поэта;
А Талия с Мольером
Насчет пороков смейся;
Урания поведай,
Что Гершель в небе видит;

Играй тебе Эвтерпа
На флейте сладкогласной
Божественные песни
Из Генделевых песней;
Прыгунья Терпсихора
Как Вестрис пред тобою
Пляши, скачи, вертися!

18

«Московский журнал» 9—16

Открыл мне, как златые хорды[1]
С размером движимы рукой,
Согласны издают аккорды
И радость в сердце льют рекой.

Потом в небесном восхищеньи
Я начал как Орфей играть,
И в нежном, сладком упоеньи
Всю бедность, горесть забывать.

38

ПЕСНЯ ВЕСЕЛЫХ

«Московский журнал» 5—7 20

Братья! в жизни много горя —
Кто его не испытал?
Вздохи, слезы наша доля
В сей для нас приятный час!

40

«Московский журнал» После 4

Рок мрачный разлучает нас —
Последнюю слезу безмолвно проливаю...
Прости и будь мне друг всегда!
Хотя б моря меж нас шумели,
Пески Ливийские горели;
Хотя б громады вечна льда
Меня с тобою разделяли, —
Ах, милый друг! душе моей
Они б не заграждали
Пути к душе твоей!

---

[1] Я не знаю, для чего итальянец назвал струны греческим именем.

41

«Московский журнал»

35—36
47—48
71—72

Веселися вся земля!
С целым миром мы друзья!

49—54

Музы, Грации с венками
Окружают, мир, тебя;
Снегобелыми руками
Цепь лилейную сплетя,
Ею нежно обвивают
Крылья легкие твои,

70

И к любови обратился.

43

«Московский журнал»
27—28

Доколе пользоваться будешь
Ты правом матери одной

45

«Московский журнал»
5—8

Любил, не быв любимым,
К несчастью моему...
Увы! Насильно милым
Не будешь никому!

47

«Аглая», 1794
После 36

Когда, когда, святая благость,
Ты бедных смертных просветишь?
Когда, когда любовь и радость
В сердцах жестоких оживишь?

48

«Аглая», 1794

2 Чувствителен и сердцем нежен
11 Но дух его, вовек бессмертный

50

«Аглая», 1794
60—61

Когда же ты под мрачным небом
Начнешь клубиться с грозным ревом

Примеч. к слову «ветрил» — Некоторые из наших стихотворцев в слове «ветрила» делают ударение на среднем слоге; но я ссылаюсь на все церковные книги.

93

«Аониды», 1797

1 — Престань мой друг, поэт любезный!

4 — Для сердца могут быть полезны

146

«Вестник Европы»

18 — Нас к мистическим брегам!..

ПРИМЕЧАНИЯ

В 1794 г. Карамзин издал первую книгу своих стихов — вторую часть сборника «Мои безделки» (второе издание — 1797 г.). Затем альманах «Аониды, или Собрание разных новых стихотворений» (кн. 1—3, М., 1796—1799).

В дальнейшем Карамзин издавал свои стихотворения в составе многотомных собраний сочинений (1803, 1814, 1820 гг.), неизменно посвящая первый том поэзии.

Характер подбора стихотворений и принципы их внутренней композиции, постепенно вырабатываясь, достигли в первом томе Сочинений 1803 г. определенной завершенности. Дальнейшие два издания (1814 и 1820 годов) вносили в этот порядок лишь незначительные изменения, в основном за счет расширения состава. Все прижизненные издания строились преимущественно по хронологическому принципу. Хронологическое расположение стихотворений нарушалось лишь для того, чтобы поставить в начало или конец сборника программные стихотворения.

Посмертные издания стихотворений повторяли порядок и состав прижизненных собраний сочинений. Наиболее значительные из них два издания А. Смирдина: Н. М. Карамзин, Сочинения, тт. 1—9, СПб., 1834—1835 и Сочинения, тт. 1—3, СПб., 1848, так называемое «чудиновское» издание: Н. М. Карамзин, Избранные сочинения, тт. 1—2, СПб., 1892 (второе изд. 1910—1911 годов), а также «Избранные сочинения Н. М. Карамзина», ч. 1, СПб., 1884 с биографическим очерком и комментарием Льва Поливанова.

Первым опытом полного издания всего поэтического наследия Карамзина явился соответствующий том в седьмом выпуске «Русской поэзии» под редакцией С. А. Венгерова (СПб., 1901), подготовленный А. Лященко. Состав этого издания был значительно расширен по сравнению с прижизненными изданиями. Новым шагом в изучении поэтического наследия Карамзина явилось предпринятое в 1917 г. Академией наук издание полного академического собрания сочинений Карамзина (вышел лишь первый — стихотворный том, под редакцией и с примечаниями В. В. Сиповского). Здесь был дан наиболее полный свод стихотворений Карамзина.

Поэтические тексты, включавшиеся Карамзиным в состав про-

заических произведений, должны были появиться в последующих, не увидевших света, томах.

После 1917 г. стихотворения Карамзина издавались несколько раз. Наиболее существенными являются издания «Библиотеки поэта»: «Карамзин и поэты его времени», Малая серия, Л., 1936 (статья, редакция и примечания А. Я. Кучерова), «Карамзин, Дмитриев, Избранные стихотворения», Большая серия, Л., 1953 (вступительная статья, подготовка текстов и примечания А. Я. Кучерова) и «Избранные сочинения в двух томах», М., 1964, подготовленные П. Н. Берковым и Г. П. Макогоненко.

Настоящее издание является полным собранием стихотворений Карамзина. В основной состав сборника впервые включено: стихотворение «Странные люди» (принадлежность которого Карамзину с бесспорностью установлена В. В. Виноградовым). Все имеющие самостоятельное значение стихотворные извлечения из прозаических произведений Карамзина также публикуются в основном разделе. Основанием для этого служит тот факт, что сам Карамзин включал в свои поэтические сборники стихотворные извлечения из прозы в отрыве от их прозаического окружения (см. оглавление сб. «Мои безделки»). Впервые в настоящее издание включены два стихотворения в прозе. В «Приложении I» печатаются приписываемые Карамзину стихотворения. В «Приложении II» публикуется драма «Аркадский памятник» — ранний перевод Карамзина, значительную часть которого составляют стихи. После примечаний даны оглавления основных прижизненных поэтических сборников Карамзина, так как сам характер авторского отбора был фактом, имевшим художественное значение. Другие редакции и варианты приводятся в соответствующем разделе выборочно. В поэтическом наследии Карамзина не много стихотворений, подвергшихся коренной переработке, следовательно число текстологических редакций невелико. Но Карамзин производил от издания к изданию значительную стилистическую правку текста. В настоящем издании воспроизводятся только наиболее существенные строчные разночтения.

В данном сборнике стихотворения располагаются в хронологическом порядке. Большинство произведений датируется по последнему прижизненному Собранию сочинений 1820 г., в котором стихотворения датированы самим Карамзиным, но во многих случаях даты в этом собрании обозначены неточно и они исправлены в последующих изданиях (см.: Соч. 1917 г. и изд. 1953 г.), поэтому в настоящем сборнике случаи расхождения с датировкой Сочинений 1820 г. специально не оговариваются.

Уточнение датировки в пределах года ряда стихотворений (в основном стихотворных отрывков, извлеченных из прозаических произведений) во многих случаях затруднительно, поскольку включение их в письмо с определенной датой само по себе не всегда является безусловным свидетельством времени их создания. Что касается дат, проставленных в «Письмах русского путешественника», то в силу особой жанровой природы произведения они не могут являться убедительным аргументом для датировки. Даты первой публикации или год, не позднее которого написаны данные произведения, заключены в угловые скобки.

Орфография и пунктуация текстов приближены к современным нормам, за исключением тех случаев, когда графическое оформление текста (употребление заглавных букв) имеет смысловое или стилистическое значение.

В примечаниях указывается место первой публикации, затем все публикации, в которые были внесены какие-либо изменения. В заключение библиографической справки указывается источник, по которому печатается текст. За основу берется то издание, в котором впервые установилась окончательная авторская редакция текста. Если текст первой публикации в дальнейшем не менялся, то источник текста специально не оговаривается. В примечаниях приводятся сведения историко-литературного и реального характера.

Объяснение мифологических имен дается в специальном словаре.

Рукописи произведений Карамзина, относящихся главным образом к его литературной деятельности, погибли в огне московского пожара 1812 г. Количество дошедших до нас автографов его стихотворений невелико. Несколько автографов альбомных стихотворений последних лет хранятся в ЦГАЛИ (Москва) и архиве ИРЛИ АН СССР.

Наличие автографов и их местонахождение отмечается в примечаниях.

Сокращения, принятые в примечаниях

«Аглая» (с годом издания) — Аглая, издание Н. М. Карамзина, 1794 — кн. 1; 1795 — кн. 2; второе издание — 1796.

«Аониды» (с годом издания) — Аониды, или Собрание разных новых стихотворений. Стихотворный альманах, составленный Н. М. Карамзиным, М., 1796 — кн. 1; 1797 — кн. 2; 1798 — 1799 — кн. 3.

«Мои безделки» (с годом издания) — Мои безделки, сборник произведений Н. М. Карамзина в стихах и прозе, М., 1794, чч. 1—2; второе издание — М., 1797.

«Письма Карамзина к Дмитриеву» — Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву, с примечаниями и указателем, составленными Я. Гротом и П. Пекарским, СПб., 1866.

Соч. 1803 — Сочинения Н. М. Карамзина в восьми томах, т. 1, М., 1803.

Соч. 1814 — Сочинения Н. М. Карамзина в девяти томах, т. 1, М., 1814.

Соч. 1820 — Сочинения Н. М. Карамзина в девяти томах. т. 1, М., 1820.

Соч. 1917 — Сочинения Карамзина, т. 1, Пг., 1917, под редакцией и с примечаниями В. В. Сиповского.

СТИХОТВОРЕНИЯ

1. «Письма Карамзина к Дмитриеву», с. 2, в письме, датированном 1787 г. В собр. соч. не включалось. Содержание стихотворения поясняется в письме: «Следующее потом в письме вашем восклицание открывает, как мне кажется, некоторым образом неудовольствие ваше на настоящую участь вашу; но позволь мне, любезный друг, сказать, что не зависящее от нас самих не должно угнетать нас» (с. 1). В стихотворении отчетливо заметно влияние философии А. М. Кутузова (см.: Письма А. М. Кутузова к И. П. Тургеневу. — «Ученые записки Тартуского государственного университета», вып. 139, Труды по русской и славянской филологии, т. 6, Тарту, 1963, с. 281—333).

2. «Письма Карамзина к Дмитриеву», с. 3, в письме, датированном 1787 г. В собр. соч. не включалось. Это и следующее стихотворения извлечены из письма, в котором содержится поздравление Дмитриева с 27-летием (Дмитриев родился 10 сентября 1760). На основании этого уточняется датировка письма. Кроме стихов к поздравительному письму был приложен «Юлий Цезарь» Шекспира в переводе Карамзина.

3. «Письма Карамзина к Дмитриеву», с. 4, в письме, датированном 1787 г. В собр. соч. не включалось. См. примеч. 2.

4. «Детское чтение», 1789, ч. 17, с. 200 (отрывок); «Московский журнал», 1792, ч. 7. Печ. по «Московскому журналу», 1803, ч. 7, с. 263. В собр. соч. не включалось. Исключение этого программного стихотворения из собраний сочинений, видимо, обусловлено резкостью его историко-литературной позиции, в частности недвусмысленно отрицательным отношением ко всей предшествующей русской поэзии. Помета: «сочинена в 1787 г.» могла иметь тактический характер: она противоречит многим местам стихотворения, явно перекликающимся с «Письмами русского путешественника». Сам Карамзин, желая сгладить противоречие между датой и содержанием, снабдил одно из мест стихотворения примечанием: «Сии стихи прибавлены после». Все же отвергнуть безоговорочно прямое указание Карамзина на дату создания не представляется возможным. Видимо, наиболее обоснованной будет дата 1787—1791, поскольку можно предположить, что имелся ранний вариант стихотворения, обработанный поэтом после возвращения из-за границы в 1791 г. *Чувствуя себя, Сей гордый мира царь почувствовал и бога* и т. д. Карамзин излагает популярные в философии конца XVIII в. сенсуалистические представления о связи бытия и ощущения. Кондильяк, внимательным читателем которого был Карамзин, доказывал, что оживленная статуя получает чувство своего «я», жизни, только будучи наделена ощущениями. Аналогичные мысли развивал Лафатер в письме Карамзину: «Чувство бытия, сознание своего «я», душа существует только чрез посредство предметов, которые вне нас, и явлений, как будто прикасающихся к нам» («Переписка Карамзина с Лафатером», СПб., 1893, с. 22—24). Подобные же идеи

развивал и А. М. Кутузов. *Ты пал, о человек! Поэзия упала* и т. д. Представление о высшей мудрости, которой обладал человек до грехопадения и приближение к которой — вся цель последующего знания, заимствовано Карамзиным у масонов, однако с существенным отличием, сближающим Карамзина с будущим поколением романтиков: вместо идеи небесного происхождения мудрости — здесь мысль о божественной природе поэзии. *С невиннейшим семейством (Когда погибло всё) Поэзия спаслась.* Имеется в виду библейская легенда о спасении Ноя во время всемирного потопа. *Так славный, мудрый бард* и т. д. — пророк Моисей, которому приписывалось авторство «Пятикнижия», включающего и рассказ о творении мира (книга Бытия). *Так оный муж святый, в грядущее проникший* — автор библейской книги «Екклезиаст». *Так царственный поэт, Родившись пастухом* — библейский царь и пророк Давид. *В храме Соломона Гремела богу песнь!* В 1786—1787 гг. Карамзин задумал и, видимо, начал сочинение о Соломоне по-немецки. С «твоей пиэсой о Соломоне не осмеливайся показываться в публику», — писал ему А. А. Петров. (Письма А. А. Петрова к Карамзину неоднократно печатались в отрывках или по дефектным копиям. Здесь и далее цитируем по подлинникам в архиве ИРЛИ (Пушкинского Дома) АН СССР, Тургеневский архив.) *Омир* — Гомер. *Бион, Теокрит* (Феокрит), *Мосхос* (Мосх) — древнегреческие поэты-идиллики (IV—III в. до н. э.). *Так Августов поэт, так пастырь Мантуанский* — римский поэт Вергилий (I в. до н. э.) был родом из Мантуи. *Он пел, и всякий мнил, что слышит глас Омира.* Имеется в виду «Энеида». *Он пел, и всякий мнил, что сельский Теокрит* и т. д. Речь идет о «Георгиках» и «Буколиках» Вергилия. *Овидий воспевал начало всех вещей.* Овидий (I в. до н. э.) — римский поэт. Имеется в виду его поэма «Метаморфозы». *Фингалов мрачный сын* — Оссиан, полулегендарный бард (III в. н. э.). В середине XVIII в. шотландский литератор Д. Макферсон издал «Сочинения Оссиана, сына Фингала», быстро завоевавшие общеевропейскую известность. Н. М. Карамзин был в эти годы страстным поклонником поэзии Оссиана. В предисловии к переводу из Оссиана он писал: «В чем состоит достоинство Оссиановых песней? ... Глубокая меланхолия, иногда нежная, но всегда трогательная, разлиянная во всех его творениях, приводит читателя в некоторое уныние; но душа наша любит предаваться унынию сего рода...» («Московский журнал», 1791, ч. 2, с. 117). *Шекспир, Натуры друг!* Интерес к Шекспиру проявился у Карамзина очень рано, свидетельствуя о самостоятельности его вкусов уже в середине 1780-х годов, т. к. в литературном окружении писателя (у А. М. Кутузова) гораздо ярче обнаруживался интерес к Мильтону и Юнгу. В письмах А. А. Петрова к Карамзину имя Шекспира встречается постоянно. 20 мая 1787 г. он иронически пишет, что «обе типографии (Новикова и Типографической компании. — *Ю. Л.*) заняты печатанием Российского Шакеспира». На самом деле Карамзин в это время еще только собирался приступить к переводу, и книга вышла из печати в этом же году, но позже (Юлий Цезарь, Трагедия Виллиама Шекспира, М., 1787). По письмам Петрова можно судить и о направлении карамзинского интереса к Шекспиру. А. А. Петров писал Карамзину в 1785 г.: «Ты пишешь о переводах, о собствен-

ных сочинениях, о Шакеспире, о трагических характерах, о несправедливой Волтеровой критике» (ИРЛИ). В рецензии 1791 г. на постановку «Сида» (подражание трагедии Корнеля) в Московском театре Карамзин писал: «Французские трагедии можно уподобить хорошему регулярному саду, где много прекрасных аллей, прекрасной зелени, прекрасных цветников, прекрасных беседок; с приятностью ходим мы по сему саду и хвалим его; только всё чего-то ищем и не находим, и душа наша холодною остается; выходим и всё забываем. Напротив того, Шекспировы произведения уподоблю я произведениям Натуры, которые прельщают нас в самой своей нерегулярности; которые с неописанною силою действуют на душу нашу и оставляют в ней незагладимое впечатление» («Московский журнал», 1791, ч. 3, с. 95). В «Письмах русского путешественника» Карамзин, подробно характеризуя творчество Шекспира, поставил его выше всех английских поэтов: «У англичан один Шекспир!» *Все башни, коих верх* и т. д. — цитата из «Бури» Шекспира. В «Письмах русского путешественника» Карамзин дал другой перевод:

Колоссы гордые, веков произведенье,
И храмы славные, и самый шар земной,
Со всем, что есть на нем, исчезнет как творенье
Воздушныя мечты, развалин за собой
В пространствах не оставив!

То, что Карамзин включил в текст стихи Шекспира, на которые он обратил внимание в бытность в Лондоне, заставляет предположить, что стихотворение, по крайней мере, дорабатывалось в 1791 г. *Мильтон ... в гремящих страшных песнях.* Имеется в виду «Потерянный и возвращенный рай», очень высоко ценимый в кружке Новикова — Кутузова. *Йонг* — Юнг (1684—1765), поэт английского предромантизма. *Томсон* (1700—1748) — английский поэт, автор поэмы «Времена года». *Альпийский Теокрит* — Геснер (1730—1780), швейцарский писатель, автор поэм «Идиллия», «Смерть Авеля». Высоко ценился в московском масонском кружке. Имя его многократно упоминается в сочинениях Карамзина. *Начало и конец Мессииных страданий.* Имеется в виду поэма Клопштока «Мессиада».

5. «Письма Карамзина к Дмитриеву», с. 7, в письме — от 18 мая 1788 г. В собр. соч. не включалось. Стихотворению предшествует текст: «Неужели весна не принесла тебе с собою ничего доброго? Правда, что у нас она не очень весела; по сие время все еще холодно, так что в одном кафтане нельзя ходить».

6. «Московский журнал», 1791, ч. 2, с. 113, под названием «Господину ***. В ответ на полученную от него поэму» (вероятно, «Любовь и дружество» Дмитриева). Печ. по сб. «Мои безделки», 1794, ч. 2, с. 180. Стихотворение является письмом к Дмитриеву от 17 ноября 1788 г. *Все ли Омиры, Геснеры, Клейсты? Где Анакрéон другой? Геснер* — см. примеч. 4. *Клейст* Х. Э. (1715—1759) — немецкий поэт. Перечисление этих имен в одном ряду интересно как свидетельство того, какие поэтические жанры Карамзин считал в этот период важнейшими (эпопея, идиллия, элегия, анакреонтика)

и как указание на вершинные, по мнению Карамзина, имена в каждом из этих жанров. Карамзин, подчеркивая новаторство ритмической системы стихотворения, в «Московском журнале» поставил над текстом ритмическую схему (дактило-хорей), а Дмитриеву писал: «Так бедный московский стихотворец, учащийся ныне разбирать по складам греческих поэтов, осмеливается греческим стихосложением воспевать хвалу своему другу» («Письма Карамзина к Дмитриеву», с. 13). Стихотворение проникнуто столь же критическим отношением к современной Карамзину поэзии, как и «Поэзия».

7. «Детское чтение», 1789, ч. 18, с. 109. В собр. соч. не включалось. *Часть* — участь.

8. «Детское чтение», 1789, ч. 18, с. 63. В собр. соч. не включалось. 9—10-е строфы (с некоторыми разночтениями) включены в письмо к И. И. Дмитриеву от 22 марта 1788 г. и им предшествуют строки: «Надеюсь, что приближение весны имеет целебное влияние на твое здоровье. Все скоро оживится. Скоро птицы, соединясь в хоры, воспоют хвалебную песнь весне. Мой друг! Неужели мы с тобою будем ходить повеся голову? Неужели не возьмем участия во всеобщей радости...» И. И. Дмитриев написал на обороте письма стих. «Ответ» («Мой друг! Судьба определила...») (см.: «Письма Карамзина к Дмитриеву», с. 5—6).

9. «Московский журнал», 1791, ч. 2, с. 217, с подстрочным примечанием: «Сочиненная при начале Шведской войны». Печ. по сб. «Мои безделки», 1794, ч. 2, с. 157. Война началась летом 1788 г. *Туда спеши, о сын России* — обращение к И. И. Дмитриеву, отправлявшемуся в армию. В письме к нему от 2 июля 1788 г. Карамзин иронически писал: «Итак, друг мой, болезнями отягченный, забывает слабость свою и в энтузиазме спешит на поле сражения! ... Браво, друг мой! Только позволь спросить, возьмешь ли ты с собою в поход парики свои? Лучше не брать; парик придает важность профессору, а не воину. Может быть, потомки наши будут читать поэму под заглавием: *«Шведская война»,* в которой ты, конечно, будешь играть не последнюю ролю, и где ты (NB, если не возьмешь с собою в поход париков) будешь именоваться плешивым героем ... Если же ты и сам вздумаешь воспеть великие подвиги свои и всего воинства нашего, то, пожалуй, пой дактилями и хореями, греческими гекзаметрами, а не ямбическими шестистопными стихами, которые для героических поэм неудобны и весьма утомительны. Будь нашим Гомером, а не Вольтером. Два дактиля и хорей, два дактиля и хорей. Например:

Трубы в по/ходе гре/мели /крики по /воздуху /мчались». («Письма Карамзина к Дмитриеву», с. 9—10.)

10. «Детское чтение», 1789, ч. 18, с. 93. В собр. соч. не включалось. *Петров* Александр Алексеевич (1766—1793) — друг Карамзина, литератор и переводчик, член «Дружеского ученого общества», редактор «Детского чтения» (1785—1789), сотрудник «Утреннего света», «Московского журнала». Петров оказал большое влияние на формирование литературных воззрений Карамзина.

О переписке Петрова и Карамзина см. примеч. 4. Перевел две основополагающие масонские книги: повесть без имени автора «Хризомандер» (1783) и И. А. Штарка «О древних мистериях и таинствах, бывших у всех народов» (1785), несколько учебников. В 1788 г. перевел с английского книгу «Багаут-Гета, или Беседы Кришны с Аржуном», впервые познакомив русского читателя с знаменитым санскритским эпосом «Бхагавад-Гита». *Томсон* — см. примеч. 4.

11. «Детское чтение», 1789, ч. 18, с. 151. В собр. соч. не включалось. Перевод окончания поэмы Д. Томсона «The Seasons». 30 июня 1788 г. А. А. Петров писал Карамзину: «Удивленные Чистые пруды внемлют ли гимну Томсонову, улучшенному на языке российском» (ИРЛИ). Интерес к Томсону был у Карамзина весьма устойчивым. Однако в «Анакреонтических стихах А. А. П<етрову>» Карамзин весьма решительно отказался следовать по пути Томсона. В «Письмах русского путешественника» имя Томсона упоминается неоднократно, приводятся в подлиннике и в прозаическом переводе его стихи, посвященные Петру I. В очерке английской литературы, помещенном в «Письмах...», Карамзин отмечал: «По сие время ничто еще не может сравняться с Томсоновыми «Временами года»; их можно назвать зеркалом Натуры» (Н. М. Карамзин, Избр. соч. в двух томах, т. 1, М.—Л., 1964, с. 572). В «Детском чтении», 1787, ч. 10—12 публиковался прозаический перевод этой поэмы Томсона, видимо выполненный Карамзиным.

12. «Московский журнал», 1792, ч. 6, с. 219. Печ. по Соч. 1803, т. 1, с. 147. «Романс о графе Гвариносе» — старинный испанский романс, упомянутый Сервантесом в «Дон-Кихоте» (см.: Рамон Менендес Пидаль. Избранные работы, М., 1961, с. 615), вошедший в испанские песенники, начиная с середины XVI в. Карамзин перевел этот романс с немецкого по изданию Ф.-Ю. Бертука «Magazin der Spanischen und Portugiesischen Literatur» (1780—1783). Историю знакомства Карамзина с Бертуком и испанской литературой см.: М. П. Алексеев, К литературной истории одного из романсов в «Дон-Кихоте». — Сб. «Сервантес, статьи и материалы», Л., 1948. Как отмечает М. П. Алексеев, Карамзин ввел романс о графе Гвариносе «в русскую поэзию значительно ранее, чем возник широкий интерес к испанским романсам во многих других европейских литературах» (ук. соч., с. 121). Следует отметить, что именно Карамзин выработал русскую ритмическую систему для передачи формы испанского романса средствами русской поэзии. Ее в дальнейшем использовал Пушкин (ср. «На Испанию родную...»). *Худо, худо, ах, французы! В Ронцевале было вам!* Сражение между франками и маврами при Ронсевале (778 г.) легло в основу большого цикла испанских романсов и французского эпоса «Песнь о Роланде». *Праздник Иоаннов* — праздник дня рождения Иоанна Крестителя 24 июня.

13. «Московский журнал», 1791, ч. 6, с. 11, с графическим воспроизведением над текстом ритмической схемы стихотворения. Печ. по Соч. 1803, т. 1, с. 43.

14. «Московский журнал», 1791, ч. 1, с. 146, с графическим воспроизведением над текстом ритмической схемы стихотворения. В собр. соч. не включалось.

15. «Московский журнал», 1791, ч. 2, с. 8. Печ. по «Московскому журналу», 1802, ч. 2, с. 11. В собр. соч. не включалось. Посвящено М. С. Воронцову (1782—1856), в будущем — генералу, раненному при Бородине, затем командующему русским корпусом в Мобеже, наместнику Новороссии, известному гонителю Пушкина. Карамзин видел 8-летнего М. С. Воронцова в доме его отца, русского посла в Лондоне, гр. С. Р. Воронцова, о котором писал в «Письмах русского путешественника»: «Он истинный патриот, знает хорошо русскую историю, литературу и читал мне наизусть лучшие места из од Ломоносова» (т. 1, с. 530). *Агатон* — герой одноименного романа Виланда. Этим именем Карамзин называл А. А. Петрова (см. примеч. 10). *Я пел хвалу Никандру.* Видимо, имеется в виду Н. И. Новиков. Стихи, упоминаемые здесь, до нас не дошли. *Лафатер* (1741—1801) — швейцарский писатель и философ, автор трудов по физиогномике. Карамзин переписывался с ним (см.: «Переписка Карамзина с Лафатером», СПб., 1893) и посетил его в августе 1789 г. в Цюрихе.

16. «Московский журнал», 1791, ч. 1, с. 16; «Мои безделки», 1794, ч. 2. Печ. по Соч. 1803, т. 1, с. 58.

17—35. «Письма русского путешественника», ч. 1—6, М., 1797—1801. Извлечения из «Писем...» датируются 1790—1791 г., когда Карамзин начал издавать «Московский журнал». Поскольку публикация «Писем...» с самого начала была задумана как одна из основных составных частей журнала, текст произведения к этому времени у Карамзина в основном безусловно был закончен. По внешним обстоятельствам (цензурные трудности, закрытие журнала) Карамзин не опубликовал в «Московском журнале» всего произведения, доведя его печатанье лишь до момента своего прибытия во Францию. Позже, в «Аглае», он дал отрывок о своем пребывании в Лондоне. Полностью произведение смогло появиться лишь в 1801 г. Известно, что между 1791 и 1801 гг. Карамзин, проделав большую идейно-творческую эволюцию, изменял и текст «Писем...». Однако у нас нет никаких оснований полагать, что эти изменения коснулись текстов стихотворений, включенных в произведение. Не вызывают полного доверия даты, а также обстоятельства создания того или иного стихотворения (например, «Алины»), которые сообщает сам Карамзин в «Письмах...». Возможно, они несут на себе печать общего стремления представить это литературное произведение сборником подлинных писем.

1. Включено в письмо из Парижа, помеченное июнем 1790 г., ч. 6, с. 7. Утверждение В. В. Сиповского (см.: В. В. Сиповский. Карамзин — автор «Писем русского путешественника», СПб., 1899, с. 165—166), что стихотворение написано в 1797—1800 гг., на основании якобы отразившихся в нем автобиографических мотивов, не представляется убедительным. Стихотворению предшествует в «Письмах...» следующий связанный с ним текст: «Вчера целых

пять часов провел я у госпожи Н*, и не скучно... Говорили о чувствительности. Барон утверждал, что привязанность мужчин бывает гораздо сильнее и надежнее; что женщины более плачут, а мы чаще умираем от любви. Хозяйка утверждала противное и милым голосом, с нежным и томным видом своим рассказала нам печальный лионский анекдот. Все были тронуты; я не менее других. Госпожа Н* оборотилась ко мне и спросила: «Сочиняете ли вы стихи?» — «Для тех, которые любят меня», — отвечал я. — «Вот вам материя. Дайте мне слово описать это приключение в русских стихах». — «Охотно; но позвольте немного украсить». — «Нимало. Скажите только, что от меня слышали». — «Это слишком просто». — «Истина не требует украшений». — «По крайней мере в рассказ можно вместить некоторые мысли, нравственные истины». — «Дозволяю. Сдержите же слово». — Я сдержал его и написал следующее...» (следует текст стихотворения).

2. Включено в письмо от 28 августа 1789 г. из Берна, ч. 3, с. 105. Стихотворению предшествует текст: «Сегодня за ужином бедный италианский музыкант играл на арфе и пел. Англичане набросали ему целую тарелку серебряных денег и хотели, чтобы он рассказал нам свою историю. «Слушайте», — сказал он и запел». Полемика с этим эпизодом — в повести Л. Толстого «Люцерн».

3. Включено в письмо из Цюриха, ч. 2, с. 291. Стихотворению предшествует текст: «Какая приятная, тихая мелодия нежно потрясает нервы моего слуха! Я слышу пение; оно несется из окна соседнего дома. Это голос юноши — и вот слова песни». *Мы все живем в союзе братском* и т. д. — здесь сказывается влияние на Карамзина идей Руссо.

4. Включено в письмо из Парижа от 29 апреля 1790 г., ч. 5, с. 62. Песня исполняется Лефортом. Пересказав содержание мелодрамы, Карамзин заключает: «Я отираю слезы свои и радуюсь, что я русский. Автор пиесы есть г. Бульи». Бульи Жан-Никола (1763—1842) — французский драматург.

5. Включено в письмо от 29 апреля 1790 г., ч. 5, с. 56. Стихотворению предшествует текст: «Любовник смотрит в поле, нетерпеливо ожидая помощи ... Гретри сочинял музыку: она прекрасна». *«Рауль Синяя борода»* — комическая опера французского композитора Гретри (1741—1813), написанная на сюжет комедии Седена.

6. Включено в письмо из Парижа, помеченное маем 1790 г., ч. 5, с. 233. В нем Карамзин описывает праздник сельской невинности под Парижем. Это описание имеет глубокий политический смысл: Карамзин изображает просвещенных, добродетельных и мирных французских поселян. В сельских девушках он находит сочетание добродетели и просвещения в духе идей XVIII в.: «Давно уже сельская простота не веселила меня столько, как нынешний день, — и наслаждаться ею в 7 верстах от Парижа! Я не мог наговориться с крестьянами и с крестьянками; последние довольно смелы, но не бесстыдны. «Куда ты идешь с книжкою?» — спросил я у миленькой девушки. — «В церковь, — отвечала она, — молиться богу». — «Жаль, что я не вашего закона; а мне хотелось бы молиться подле тебя, красавица». — «Mais le bon Dieu est de toutes les religions, Monsieur. Бог един во всех законах». — Согласитесь, друзья мои, что такая философия в сельской девушке не совсем обык-

новенна». Описание имело двойной смысл. С одной стороны, оно контрастировало с положением русских крестьян, в связи с той полемикой, которую вел Карамзин в «Письмах...» против противников просвещения народа в России. С другой стороны, Карамзин явно противопоставлял идеал мирного прогресса кипению политических страстей в Париже. Внимательный наблюдатель жизни Франции, он, конечно, знал, что подлинные отношения во французской деревне 1790 г. были весьма далеки от нарисованной в «Письмах русского путешественника» картины. Это было время аграрной революции «великого страха». См.: Ж. Лефевр, Аграрный вопрос в эпоху террора, Л., 1936. Возможно, эпизод составлен с учетом беседы автора и Анюты в «Путешествии из Петербурга в Москву» Радищева.

7. Включено в письмо из Парижа, помеченное маем 1790 г., ч. 5, с. 280. Описывая памятник кардиналу Ришелье, Карамзин замечает: «Я представил бы кардинала не с христианскою, святою религиею, а с чудовищем, которое называется Политикою и которое описывает Вольтер в „Генриаде"». Об отношении Карамзина к политической борьбе см. во вступит. статье, с. 15 и 23.

8. Включено в письмо, помеченное июнем 1790 г., ч. 5, с. 374, 376, 378. Написано по поводу посещения кладбища французских королей, где похоронены «колено Меровеево, Карлово, Капетово, Валуа и Бурбонское. Я напрасно искал гробницы Ярославовой дочери, прекрасной Анны, супруги Генриха I». *Тюрен* (Тюренн Анри де ла Тур д'Овернь, 1611—1675) — французский полководец.

9. Включено в письмо из Парижа, помеченное июнем 1790 г., ч. 5, с. 390. Перевод отрывка из поэмы французского поэта Делиля (1738—1813) «Сады».

10. Включено в письмо из Парижа, помеченное июнем 1790 г., ч. 5, с. 396. Перевод отрывка из поэмы Делиля «Сады», представляющей описание парка Марли. *Армида* — волшебница из поэмы Тассо «Освобожденный Иерусалим». *Великий герой* — Людовик XIV (1638—1715).

11. Включено в письмо из Парижа, помеченное июнем 1790 г., ч. 5, с. 351.

12. *Эрменонвиль* — место под Парижем, прославленное пребыванием в нем Ж.-Ж. Руссо. Об отношении Карамзина к Руссо см. вступ. статью, с 10—11. *Габриель* д'Эстре — любовница Генриха IV

13. Включено в письмо из Шантильи, помеченное июнем 1790 г., ч. 6, с. 4. Карамзин писал: «Я списал в Шантильи прекрасную Груввелеву надпись к амуру». Грувель Филипп-Антуан (1758—1806) — французский писатель-памфлетист, историк.

14. Надпись на могиле Джона Гея (1685—1732), создателя «Оперы нищих». Утверждения Карамзина, что автором эпитафии был сам Гей, ошибочно: она принадлежит перу Попа.

15. Включено в письмо из Парижа, помеченное маем 1790 г., ч. 5, с. 96. Надписи предшествует текст: «Говоря о Лувре, нельзя не вспомнить о снежном обелиске, который в жестокую зиму в 1788 году сделан был против его окон бедными людьми в знак благодарности к нынешнему королю, покупавшему для них дрова. Все парижские стихотворцы сочиняли надписи для такого редкого

памятника, и лучшая из них была...» (следует текст стихотворения).

16. 1. Включено в письмо из Парижа, помеченное маем 1790 г., ч. 5, с. 161. *Талес* — Фалес (см. примеч. 69). Перевод античной эпитафии Фалеса, текст которой приводит историк Диоген Лаэрций. 2. Включено в письмо из Парижа, помеченное маем 1790 г., с. 286. Ей предшествует текст: «В церкви св. Кома погребен некто Трульяк, рогатый человек. Он был представлен за чудо Генриху IV».

17. Включено в письмо из Парижа, помеченное маем 1790 г., ч. 5, с. 274. Стихотворению предшествует текст: «Надзиратель хотел сделать нам полное удовольствие и велел слепым ученикам своим петь гимн, сочиненный для них Обером... Милые слова! Мы заплакали...»

18. Включено в письмо из Лондона, помеченное июлем 1790 г., ч. 6, с. 191. Перевод из поэмы Попа «Виндзорский лес». Стихотворению предшествует текст: «Описание стихотворца пышно, но справедливо. Мрачные леса, прекрасные лесочки, поля, луга, бесконечные аллеи, зеркальные каналы, реки и речки — все есть в Виндзорском парке! — Как мы веселились, отдыхали и снова утомлялись, то сидя под густою сенью, где пели над нами всякого роду лесные птицы, то бегая с оленями, которых тут множество! — Стихотворец у меня в мыслях и в руках. Я ищу берегов унылой Лодоны, где, по его словам, часто купалась Цинтия — Диана...» (следует перевод). Далее Карамзин добавляет: «Извините, если перевод хуже оригинала. Слушая томное журчание Лодоны, я вздумал рассказать ее историю в русских стихах.

Мне хотелось бы многое перевести вам из «Windsor-Forest»; например, счастие сельского жителя, любителя наук и любимца муз; описание бога Тамеса, который, подняв свою влажную главу, опершись на урну и озираясь вокруг себя, славословит мир и предсказывает величие Англии».

19. Включено в письмо из Лондона, помеченное июлем 1790 г., ч. 6, с. 249. Стихотворению предшествует текст: «Я долго слушал и положил ей <бедной женщине> на колени несколько пенсов. Мальчик взглянул на меня благодарными глазами и подал мне печатный листок. Это был гимн, который пела мать его. Вместо того чтобы идти за город, я возвратился домой и перевел гимн. Вот он: (следует текст). Далее Карамзин добавляет: «В словах нет ничего отменного, но если б вы, друзья мои, слышали, как бедная женщина пела, то не удивились бы, что я переводил их — со слезами».

36. «Московский журнал», 1791, ч. 3, с. 3. Печ. по сб. «Мои безделки», 1794, ч. 2, с. 140. Связано с болезнью Карамзина в апреле 1791 г. (см. «Письма Карамзина к Дмитриеву», с. 17).

37. «Московский журнал», 1791, ч. 3, с. 123, с графическим изображением над текстом ритмической схемы стихотворения.

38. «Московский журнал», 1791, ч. 3, с. 238, под заглавием «Песня веселых». Печ. по сб. «Мои безделки», 1794, ч. 2, с. 155.

39. «Московский журнал», 1791, ч. 2, с. 118. Печ. по сб. «Мои безделки», 1794, ч. 2, с. 144.

40. «Московский журнал», 1792, ч. 6, с. 6, под заглавием «На разлуку с Б**»; «Мои безделки», 1794, ч. 2; «Мои безделки», 1797, ч. 2, под загл. «На разлуку с П***». Печ. по Соч. 1803, т. 1, с. 60. «С Б**», видимо, следует расшифровывать «с Б<ратом>». «Брат» — общепринятое обращение в масонской среде, в частности в новиковском кругу. Написано по поводу отъезда А. А. Петрова (см. примеч. 10) зимой 1791 г. в Петербург, куда он был приглашен занять должность секретаря у Державина. Петров был уже тяжело болен и надеялся на советы петербургских врачей. В 1793 г. он скончался. *И, видя вкруг себя пороки, подлость, лесть.* А. А. Петров был настроен в эти годы резко критически. В «Московском журнале» он выступал как автор сатирических «восточных» повестей «Барух, или Ученик мудрости» (перевод с немецкого) и «Прогулка арабского философа Ал Рашида». В последней он писал о философе, который «за 75 лет жизни 14 раз был удален от двора за то, что на языке у него была всегда какая-нибудь неприятная истина» («Московский журнал», 1792, ч. 6, с. 10). *Когда со мной живал под кровом тишины.* Карамзин в течение 1785—1789 годов прожил вместе с Петровым в одной комнате в масонском (гендриковском) доме в Москве. *По бледному лицу* — речь идет о болезни Петрова. В лирическом отрывке «Цветок на гроб моего Агатона» Карамзин писал: «Сердце мое замерло, когда я увидел Агатона. Долговременная болезнь напечатлела знаки изнеможения на бледном лице его» (Н. М. Карамзин, Сочинения, т. 3, СПб., 1848, с. 365). *Кто в мире и любви* и т. д. Карамзин поставил эти стихи в 1797 г. эпиграфом к отдельному изд. «Писем русского путешественника».

41. «Московский журнал», 1792, ч. 5, с. 153; «Мои безделки», 1794, ч. 2. Печ. по Соч. 1803, т. 1, с. 39. Имеется отдельное изд., уникальный экземпляр которого хранится в Государственной публичной исторической библиотеке в Москве. Если рукописная помета на нем: «генв<арь> 1792» (в конце текста) и «Песьнь Мира. 1792 генв<арь>. Г-на Карамзина» (на обложке) справедлива, то его следует считать первым изданием. Написано по поводу мира с Турцией в декабре 1791 г. Популярные в просветительской литературе пацифистские идеи звучали в атмосфере 1791—1793 годов как осуждение вмешательства контрреволюционной коалиции в дела Франции. Показательно, что в русской публицистике 1791—1792 годов выступления против войн были особенно многочисленными (см.: М. М. Штранге, Русское общество и французская революция 1789—1794 гг., М., 1956). Ср. также примеч. 77 и 81. О связи этого стихотворения с «Песнею радости» Шиллера, о влиянии на Карамзина идеи «вечного мира», пропагандировавшейся в XVIII в. Руссо, — см. вступ. статью, с. 21. *Век Астреин, оживи.* В первой публикации 1792 г.: *Веселися вся земля.* Упоминание Астреи во время царствования Екатерины II прозвучало бы как прославление императрицы, что противоречило отчетливо оппозиционному духу стихотворения.

42. «Московский журнал», 1792, ч. 5, с. 12. В собр. соч. не включалось. Авторство Карамзина установлено В. В. Виноградо-

вым («Неизвестное стихотворение Н. М. Карамзина». — «Ученые записки Саратовского гос. университета», т. 6, вып. филологический, 1957 и в кн.: «Проблема авторства и теория стилей», М., 1961). *Лихтвер* (1719—1783) — немецкий баснописец. *Клеант объездил целый свет* и т. д. Намек на отношения Карамзина и московского дружеского кружка после возвращения из-за границы. *Патагоны* — жители Южной Америки. *Гуроны* — североамериканское племя индейцев. *Не благо ли людей? ... В других мирах они летают? ... О камне мудрых рассуждают? Или хотят узнать, как тело в жизни сей Сопряжено с душей.* Перечислены основные проблемы масонского социального утопизма и психологизма. Однако это перечисление в сатирическом контексте воспринималось ревностными адептами как профанация и действительно отражало ироническое отношение Карамзина в эти годы к мистицизму «мартинистов».

43. «Московский журнал», 1792, ч. 6, с. 117. Печ. по Соч. 1803, с. 18. Написано в связи с арестом Н. И. Новикова 27 апреля 1792 г. Первопечатный текст подвергся автоцензуре (см. вступ. статью, с. 20). Карамзин очень дорожил этим стихотворением и неизменно помещал его в начале своих сборников и собраний сочинений.

44. «Московский журнал», 1792, ч. 7, с. 7. Печ. по сб. «Мои безделки», 1794, ч. 2, с. 150.

45. «Московский журнал», 1792, ч. 8, с. 170. Печ. по Соч., 1803, т. 1, с. 64.

46. «Московский журнал», 1792, ч. 7, с. 109, под названием «Могила»; Соч. 1803, т. 1. Печ. по Соч. 1814, т. 1, с. 21. Вольный перевод немецкого стих. Л. Козегартена (1758—1818) «Ужасы и прелести могилы» («Des Grabes Furchtbarkeit und Lieblichkeit...»).

47. «Аглая», 1794, кн. 1, с. 78. Печ. по сб. «Мои безделки», 1797, ч. 2, с. 101. Стихотворение выражает отрицательное отношение Карамзина к началу военных действий коалиции союзников (Россия, Пруссия, Австрия) против Франции. *Начало военных действий весною.* В апреле 1793 г. союзные армии освободили Майнц.

48. «Аглая», 1794, кн. 1, с. 22. Печ. по Соч. 1803, т. 1, с. 66. *Боннет* — Бонне Шарль (1720—1793) — философ и естествоиспытатель. Датируется годом смерти Бонне. Переводы из Бонне Карамзин публиковал в «Детском чтении» («Статьи из Боннетова сочинения «Созерцание природы», 1789, ч. 19). 10 июня 1788 г. Карамзин писал Лафатеру: «Я прилежно читаю сочинения Боннета» («Переписка Карамзина с Лафатером», СПб., 1893, с. 38). Многочисленные упоминания Бонне содержатся в «Письмах русского путешественника».

49. «Аглая», 1794, кн. 1, с. 3. Печ. по альм. «Аглая», 1796, кн. 1, с. 3. В собр. соч. не включалось. *Которых прелести боже-*

ственный Сократ Искусною рукой на мраморе представил. Сократ (469—399 гг. до н. э.) — греческий философ, сын скульптора Софониска, в молодости обучавшийся искусству ваяния. Ему приписывалось создание скульптуры трех граций. *Я друга потерял.* А. А. Петров скончался в марте 1793 г. 21 марта Карамзин писал Дмитриеву: «Итак, его уж нет! — Одному мне известно, чего я в нем лишился, и сердце мое долго, долго не привыкнет к своей потере» («Письма Карамзина к Дмитриеву», с. 34).

50. «Аглая», 1794, кн. 1, с. 23. Печ. по Соч., 1803, т. 1, с. 13.

51. «Аглая», 1794, кн. 1, с. 31. Печ. по Соч. 1803, т. 1, с. 56.

52. «Мои безделки», 1794, ч. 2, с. 167. *Дюмон* Андре (1764—1836) — деятель французской революции, член Конвента, «бешеный», враг Робеспьера, участник «движения дехристианизации», в дальнейшем — термидорианец, контрреволюционер. Идеи деизма, выраженные в стихотворении, близки к религиозным представлениям Руссо. *Огнем пылающего Феба* и т. д. Смешение христианской и античной терминологии в наименовании божества звучало, с точки зрения ортодоксальной церковности, как весьма свободомыслящее. *Ты их прощаешь.* Карамзин был сторонником терпимости в вопросах религии и на протяжении всей жизни выступал против церковного фанатизма.

53. «Мои безделки», 1794, ч. 2, с. 152. Стихотворение интересно для характеристики деистических воззрений Карамзина: молитва адресована природе, которая прямо приравнена божеству; люди — дети природы. Ср. в «Исповедании веры савойского викария» Руссо: «Итак, я закрыл все книги [священные. — *Ю. Л.*]. Есть одна, открытая для всех глаз, это книга природы. По этой великой и возвышенной книге я учусь служить и поклоняться ее божественному автору» (Ж.-Ж. Руссо, Эмиль, или О воспитании, СПб., 1913, с. 303).

54. «Мои безделки», 1794, ч. 2, с. 200. Видимо, адресовано А. И. Плещеевой (см. о ней в примеч. 81).

55. «Мои безделки», 1794, ч. 2, с. 201; «Мои безделки», 1797. Печ. по Соч. 1814, с. 68. *И с Титанией люблю.* Имеется в виду 3-й акт из «Сна в летнюю ночь» Шекспира: царица фей и эльфов Титания, глаза которой Оберон смазал волшебным соком цветка, влюбляется в ткача Основу с ослиной головой.

56. «Аониды», 1796, кн. 1, с. 28. Стихотворение является демонстративным отказом от сочинения официозных стихов. *Бедный чижик не дерзает* и т. д. Этот образ был использован И. А. Крыловым в басне «Чиж и еж», представлявшей собой отказ писать оды в честь Александра I.

57. «Аониды», 1796, кн. 1, с. 49.

58. «Аглая», 1794, кн. 1, с. 77. В состав первого тома «Аглаи» вошли произведения, написанные до весны 1793 г. Стихотворение на этом основании датируется 1793 г. В собр. соч. не включалось. В 1791 г. Карамзин опубликовал прозаический отрывок «Калиф Абдул-Раман»: «Жаль, что история мало говорит нам о Калифе Абдул-Рамане, который велел написать на гробе своем, что он полвека царствовал и славился, а был счастлив — десять дней! Как бы хотелось мне читать описание оных десяти дней...» (Соч. 1803, т. 3, с. 668). *Абдулраман* — Абдуррахман III, кордовский халиф, правил в 913—961 гг.

59. «Аглая», 1794, кн. 1, с. 92. Уже в 1790-е гг. получила распространение отдельно от текста повести, превратившись в популярный романс (см., например, рукописный сб.: ГИМ, Увар., 1005). В IV действии «Ревизора» цитируется Хлестаковым.

60—67. «Мои безделки», 1794, ч. 2, с. 210, в качестве отдельных стихотворений (частичная публикация); в составе «Афинской жизни» — впервые в альм. «Аглая», 1795, кн. 2, с. 26. «Афинская жизнь» — утопическая повесть об «идеальной» античной действительности, противоположной современности. Печ. по Соч. 1820, т. 7, с. 63.

2. *«Эдип в Колоне»* — трагедия Софокла, рассказывающая о смерти Эдипа, изгнанного из Фив и нашедшего приют в святилище эриний в Колоне (Аттика).

3. *Кодр* — мифический царь Аттики, пожертвовавший собой ради торжества отечества, в литературе XVIII в. — пример патриотизма. *Леонид* — спартанский царь, защищавший в битве при Фермопилах (48 г. до н. э.) вместе с тремястами воинами горный проход против армии персов.

6. *Сафо* (конец VII — первая половина VI в. до н. э.) — древнегреческая поэтесса. Карамзин изображает апокрифический эпизод из ее биографии — самоубийство от любви к юноше Фаону. Согласно легенде, Сафо бросилась в море с Левкадийской скалы. *Последняя строфа известной Сафиной оды.* Имеется в виду стихотворение Сафо: «Равный бессмертным кажется тот...». Последняя строфа в переводе Мерзлякова звучит так:

В поте холодном трепет; ланиты
Былий, иссохших зноем, бледнее;
Кажется, смертью, таю, объята;
Я бездыханна!

(«К счастливой любовнице»)

68. «Аглая», 1795, кн. 2, с. 1. Вторая книжка «Аглаи» была посвящена другу Карамзина А. И. Плещеевой *Мы живем в печальном мире.* Слова эти стали для Карамзина программными, и он ввел их в окончательную редакцию стих. «Веселый час».

69. «Мои безделки», 1794, ч. 2, с. 170, под заглавием «Послание к Д***»; «Аглая», 1795, кн. 2, с подписью А. Б. В; «Аглая», 1796, кн. 2; «Мои безделки», 1797; Соч. 1803. Печ. по Соч. 1814,

с. 47. Ответ на «Стансы к Карамзину» Дмитриева (1793). Стихотворение выражает глубокий идейный кризис, пережитый Карамзиным в 1793—1794 годах. 17 августа 1793 г. Карамзин писал Дмитриеву: «Поверишь ли, что ужасные происшествия Европы волнуют всю душу мою? Бегу в густую мрачность лесов — но мысль о разрушаемых городах и погибели людей везде теснит мое сердце. Назови меня Дон-Кишотом; но сей славный рыцарь не мог любить Дульцинею свою так страстно, как я люблю — человечество!» («Письма Карамзина к Дмитриеву», с. 42). *Олимпийская чаша* — чаша с нектаром, сохранявшим богам молодость и красоту. *С Платоном Республик нам не учредить.* Об отношении Карамзина к республике Платона см. вступ статью, с. 9. *Питтак* (650—569 гг. до н. э.), *Фалес* (640—540 гг. до н. э.), *Зенон* (видимо, Зенон-стоик, 336—264 гг. до н. э.) — греческие философы. *Сатурн* — царствовал, согласно легенде, в «золотом веке». *Сократ* (469—399 гг. до н. э.) — греческий философ, был казнен по решению народного собрания в Афинах. В литературе XVIII в. — образ мудреца, павшего жертвой завистников. Смерть Сократа — тема ряда произведений XVIII в. — составляет сюжетную основу трактата М. Мендельсона «Федон, или Бессмертие души», переведенного наставником Карамзина А. М. Кутузовым и опубликованного в журнале Н. И. Новикова «Утренний свет».

70. «Аониды», 1796, кн. 1, с. 17, под заглавием «Послание к А. А. П.». Печ. по Соч. 1803, т. 1, с. 88. *Плещеев* А. А. (ок. 1775—1827) — писатель, член «Арзамаса», сын друзей Карамзина — Алексея Александровича и Анастасии Ивановны Плещеевых. *Фалес* — см. примеч. выше. *Эпименид* (VII в. до н. э.) — критский философ, пророк и поэт. *Хилон* (VI в. до н. э.) — один из «семи мудрецов» Древней Греции. *Питтак* — см. примеч. выше. *Критон* (конец V в. до н. э.) — афинский философ. *Бион* (Бористенит) (IV—III в. до н. э.) — древнегреческий философ. *Симмий* (V—IV в. до н. э.) — ученик Сократа, его собеседник в диалоге Платона «Федон», упоминаемый и в одноименном трактате М. Мендельсона. *Стильпон* (ок. 320 г. до н. э.) — древнегреческий философ, предшественник стоиков. *Эрмий* (V—IV в. до н. э.) — древнегреческий философ. Во всех изданиях этого стихотворения — опечатка «Эммий». Исправлено на основании указания И. М. Тронского, которому составитель сборника выражает благодарность. *Эсхин* из Сфетта — ученик Сократа, автор «Диалогов». *Зенон* — Зенон-стоик (см. примеч. выше). *Чудесный философский камень* — алхимическое средство превращения металла в золото. Интерес к его поискам был устойчив в среде розенкрейцеров (см. примеч. 42). *Япетов сын* — Прометей. *Смельчак, Америку открывший... Индейцев в цепи заключивший — Цепями сам окован был* и т. д. Х. Колумб (1451—1506) после открытия Америки как вице-король новых земель вел истребительную войну против индейцев; в 1500 г. испанский король назначил нового правителя, который арестовал Колумба, заковал в цепи и отправил в Испанию. *Анахорет* — пустынник, отшельник.

71. «Аониды», 1796, кн. 1, с. 41. Печ. по Соч. 1814, т. 1, с. 98.

72. «Аониды», 1796, кн. 1, с. 43. Печ. по Соч. 1803, т. 1, с. 99.

73. «Аглая», 1795, кн. 2, с. 171. Печ. по Соч. 1803, т. 7, с. 201. Творческая декларация Карамзина в начале поэмы представляет собой демонстративный отказ от эпической (в духе классицизма) и одической поэзии. Она близка пропаганде «русской мифологии» и русской народной поэзии, которую энергично вел в эти годы Н. А. Львов. Характеристику «поэм-сказок» конца XIX в. и их отношения к «Илье Муромцу» Карамзина см.: Л. Лотман, «Бова» Радищева и традиции жанра поэмы-сказки. — «Ученые записки ЛГУ», № 33, филологическая серия, № 2, Л., 1939; А. Н. Соколов, Очерки по истории русской поэмы XVIII и первой половины XIX в., изд. МГУ, 1955. Поэма Карамзина вызвала положительную оценку современников. А. Х. Востоков писал: «Прекрасная сия пьеса ... по справедливости обратила на себя общее внимание сколько заманчивостью слога, столько и новостью размера» («СПб. вестник», 1812, ч. 2, № 6, с. 285). *Не хочу с поэтом Греции... петь вражды Агамемноновой с храбрым правнуком Юпитера.* Имеется в виду «Илиада» Гомера. Во время осады Трои Агамемнон враждовал с Ахиллесом — сильнейшим из греческих героев. *Или, следуя Виргилию* и т. д. Речь идет об «Энеиде», рассказывающей о бегстве сына Афродиты Энея из горящей Трои, его странствиях и переселении в Италию, где он наследовал престол царя Латина. *Бог Сатурн мог любезного родителя превратить в урода жалкого.* Согласно древнегреческой легенде, бог Сатурн оскопил своего отца — Урана. *Чтобы Леды были — курицы и несли весною яица; чтобы Поллуксы с Еленами родились от белых лебедей.* По легенде, нимфа Леда, вступившая в союз с Зевсом, принявшим образ лебедя, снесла два яйца, из которых вылупились красавица Елена и герой Поллукс. *С алхимистом открываешь нам.* См. примеч. 42. *Геснер* — см. примеч. 4. *Продолжение впредь.* Поэма не была окончена Карамзиным.

74. «Письма Карамзина к Дмитриеву», с. 45. В собр. соч. не включалось. *Де Мазюр* — герой комедии Детуша «Ложное простодушие» («La fausse Agnès»), провинциал-графоман. В. В. Виноградов предположил, что стихотворение представляет собой пародию на стиль Ф. Туманского (В. В. Виноградов, Из наблюдений над языком и стилем И. И. Дмитриева. — «Материалы и исследования по истории русского литературного языка», М.—Л., 1949, т. 1, с. 179—180).

75. «Аониды», 1796, кн. 1, с. 52. Печ. по Соч. 1814, т. 1, с. 88. *С Катоном смерть любил, в надежде Носить бессмертия венец.* Соединение образа Катона-республиканца с проповедью идеи бессмертия души впервые прозвучало в трагедии Аддисона «Катон Утический», в которой Катон перед самоубийством появлялся с мечом в одной руке и сочинениями Платона — в другой. Трагедия Аддисона в значительной мере определила восприятие образа Катона Радищевым и другими русскими писателями.

76. «Аониды», 1796, кн. 1, с. 56. *Селадон* — герой романа «Астрея» д'Юрфе (1568—1625), нарицательное имя нежного любовника.

77. «Аониды», 1796, кн. 1, с. 73. Стихотворение, видимо, обращено к И. И. Дмитриеву и выражает отрицательное отношение Карамзина к войне контрреволюционной коалиции (Россия, Пруссия, Австрия) против Франции.

78. «Аониды», 1796, кн. 1, с. 75.

79. «Аониды», 1796, кн. 1, с. 105. Середина 1790-х годов была отмечена в творчестве Карамзина ростом интереса к античности и античному героизму. До этого перевода Карамзина русский читатель имел уже перевод Петра Екимова (Омировых творений 2 части, содержащие в себе 12 песен Илиады, пер. с греч., СПб., 1776—1778) и Ермила Кострова (Гомерова Илиада, первые VI глав, СПб., 1787). Карамзин использует в переводе те же стилистические средства, что и в своей оригинальной лирике. Показательно, что Карамзин избрал в «Илиаде» одно из наиболее драматических и психологически сложных мест. Возможно, что интерес именно к этому отрывку «Илиады» вызван ролью, которую он играет в «Разбойниках» Шиллера. *Вождь Атрид* — Агамемнон. *Менелай, Аякс, Идоменей* — вожди греческого *(ахейского)* войска в «Илиаде» Гомера. *Фригийские сыны и дщери Илиона* — здесь: троянцы. *Гиперийский ключ* — упоминаемый в «Илиаде» источник в окрестностях Аргоса.

80. «Аониды», 1796, кн. 1, с. 169. Обращено к А. А. Плещеевой — дочери друзей Карамзина. Сохранились письма девочки А. А. Плещеевой к А. М. Кутузову, которого в семье в шутку называли ее «мужем» (см.: Я. Л. Барсков, Переписка московских масонов XVIII в., Пг., 1915).

81. «Аониды», 1796, кн. 1, с. 218; Соч. 1803, т. 1, с. 124. Печ. по Соч. 1814, т. 1, с. 125. Стихотворение вызвало живой интерес современников. См. отклики Державина в письме И. И. Дмитриеву от 5 апреля 1796 г.: «Особливо его «Эпистола к женщинам» очень, очень хороша!» (Г. Державин, Сочинения, т. 6, СПб., 1878, с. 55) и в письме от 6 октября 1796 (там же, с. 58). *В войне добра не видя ... Вложил свой меч в ножны.* Пацифистская позиция Карамзина выражена в этом стихотворении особенно отчетливо и демонстративно. 16 марта 1796 г. Карамзин писал Дмитриеву: «Долго ли воевать? Пожалуй, опиши в гармонической оде все прелести мира и пошли ее ко всем дворам; авось-либо они перестанут ссориться» («Письма Карамзина к Дмитриеву», с. 66). См. также примеч. 47 и 77. Бесспорно, что несколько комплиментарных стихов об успехах русских войск в войне с Турцией, которые находим ниже в тексте «Послания к женщинам», имели смягчающе-цензурный характер, так же как и сноска в первой публикации к вышеуказанной строке: «Всякий согласится, что война сама по себе не есть добро; но всякому известно и то, что она бывает иногда необходима для пользы и безопасности государства». Но и в этом случае показательно, что Карамзин приветствовал военные успехи как победы европейской цивилизации против азиатского деспотизма. *Россия, торжествуй, — сказал я, — без меня.* В первой публикации: «Минерва, торжествуй...», что звучало как прямой вызов

«российской Минерве», Екатерине II, со стороны поэта, демонстративно чуждающегося государственной службы. Карамзин был весьма последователен в своем отрицательном отношении к завоевательной политике Екатерины II. Когда Дмитриев в двух стихотворениях («Графу Суворову-Рымникскому на покорение Варшавы» и «Глас патриота») прославил подавление восстания в Польше, Карамзин ему писал: «Ода и Глас патриота хороши Поэзиею, а не предметом. Оставь, мой друг, писать такие пиесы нашим стихокропателям. Не унижай Муз и Аполлона» («Письма Карамзина к Дмитриеву», с. 50). *Жестоких, мрачных Силл.* Сулла (130—78 до н. э.) — римский диктатор. Истолкование образа Суллы Карамзиным близко к «Диалогу» Монтескье. *Самый лютый воин, Который ввек на ратном поле жил.* Намек на стихи Ломоносова из «Оды на день восшествия на всероссийский престол ее величества государыни императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года»:

Великой похвалы достоин,
Когда число своих побед
Сравнить сраженьям может воин
И в поле весь свой век живет.

Зенон — см. примеч. 70. *Злосчастный Вертер не закон.* О восприятии романа Гете в русской литературе конца XVIII в. см.: В. М. Жирмунский, Гете в русской литературе, Л., 1937. *Аспазия* (V в. до н. э.) — жена афинского государственного деятеля Перикла, известная красотой, образованностью и стремлением покровительствовать наукам. Сократ называл ее своей ученицей. Образ Аспазии, женщины-ценительницы искусств, — в связи с карамзинским тезисом о дамском вкусе как критерии изящного — вошел в русскую литературу. В 1815 г. в Петербурге издавался предназначенный «для дам» журнал «Кабинет Аспазии». *Эйлер* (1707—1783) — знаменитый математик. *Селадон* — см. примеч. 76. *Нанина! десять лет тот день благословляю.* Речь идет о друге Карамзина А. И. Плещеевой, ей же в 1795 г. Карамзин посвятил вторую часть альм. «Аглая». Карамзин долгие годы прожил в семье Плещеевых, куда введен был, видимо, А. М. Кутузовым. С А. И. Плещеевой, женой его близкого друга, Карамзина связывала дружба-влюбленность. В 1801 г. Карамзин женился на Е. И. Протасовой — сестре А. И. Плещеевой. *Фебовы друзья, бессмертные певцы.* В первой публикации — «Платоновы друзья», а к слову «певцы» имелось примечание: «Например, великий Клопшток, которого я никогда не видал и никогда не беспокоил письмами, уверяет меня в своей благосклонности и хочет, чтобы я непременно прислал к нему все мои безделки. Признаюсь в слабости: это меня очень обрадовало». О просьбе Клопштока, пересланной ему его швейцарским корреспондентом, Карамзин писал Дмитриеву (см.: «Письма Карамзина к Дмитриеву», с. 67). Клопшток (как и другие «славнейшие творцы») назван в редакции 1796 г. «другом Платона». Это очень важно для определения литературных взглядов Карамзина этих лет. Его привлекает поэт-философ и моралист, социальный реформатор, что вполне согласуется с общими настроениями Карамзина в это время (см. вступ. статью, с. 24). Дальнейшая

эволюция в сторону политического скептицизма и эстетического субъективизма определила изменение этого образа.

82. «Аониды», 1796, кн. I, с. 260, под заглавием «Прибавление к последней строфе» и подписью N. N. Печ. по Соч. 1820, с. 138. *Одна девица* — Екатерина Сушкова (1811—1858). Здесь было опубликовано вслед за стихотворением Е. Сушковой «Любовь и дружба» под заглавием «Прибавление к последней строфе» и за подписью «N. N.».

83. «Мои безделки», 1797, ч. 2, с. 273. Обращено, видимо, к А. А. Плещеевой, см. примеч. 80.

84. «Мои безделки», 1797, ч. 2, с. 149.

85. «Аониды», 1798—1799, кн. 3, с. 86.

86. «Аониды», 1798—1799, кн. 3, с. 93.

87. «Аониды», 1798—1799, кн. 3, с. 257.

88. «Аониды», 1796, кн. 1, с. 51.

89. «Аониды», 1796, кн. 1, с. 59. Печ. по Соч. 1820, т. 1, с. 92.

90. «Аониды», 1796, кн. 1, с. 76. В Соч. 1820, видимо, ошибочно датировано 1796 г., т. к. альм. «Аониды» в начале 1796 г. был уже в цензуре (см.: «Письма Карамзина к Дмитриеву», с. 64). На этом же основании и стих. «Прощание» и «Время» следует датировать 1795 г.

91. Отдельное издание, М., 1796. В собр. соч. не включалось. В стихотворении отразились надежды на Павла I, как просвещенного монарха, существовавшие в прогрессивных кругах русского дворянского общества, отрицательно относившихся к политике Екатерины II. *Венец российския Минервы Давно назначен был ему.* В момент коронации Павлу было 42 года. Планы устранения Екатерины II от власти с момента совершеннолетия ее сына давно вынашивались в кругах русских конституционалистов, близких к Н. И. Панину. *Полезных обществу законов.* Намек на конституционные надежды, которые связывались с воцарением Павла I. Последующие строфы очень близки к идеям программных документов кружка Н. И. Панина — Д. И. Фонвизина. Карамзин декларирует необходимость судебной реформы (*«не буду винен без вины»*), равенства перед законом (*«ему все дети, все равны»*), твердого законодательства. Система суда присяжных вызывала симпатии Карамзина, и он ее подробно описал в «Письмах русского путешественника». *В спокойной, мирной тишине.* Намек на полуопальную жизнь Павла I в Гатчине. *Любовь невежд кому завидна.* Наряду с законодательными реформами, Карамзин выдвигает требование просвещения. *И дверь в темницах отворилась.* Воцарение Павла сопровождалось рядом демонстративных амнистий и реабилитаций: были прощены Новиков и масоны, возвра-

щен из Сибири Радищев. *Любезная Мария* — императрица Мария Федоровна.

92. «Аониды», 1797, кн. 2, с. 116. *Хованский Г. А.* (1767—1796) — мелкий литератор, сотрудник «Новых ежемесячных сочинений» (1788), «Зрителя» (1792), «СПб. Меркурия» (1793), «Приятного и полезного препровождения времени» (1795—1796), альманахов Карамзина. 11 июля 1795 г. Карамзин в иронических тонах сообщал Дмитриеву о несостоявшейся дуэли Хованского с писателем В. С. Подшиваловым (см.: «Письма Карамзина к Дмитриеву», с. 56). Судя по этому письму, Хованский не был близок к Карамзину. Стихотворение написано на смерть не государственного деятеля и не близкого друга, а обыкновенного человека *(«Ничем Хованский не был славен; Он был... лишь добрый человек»)*. Замысел стихотворения состоял в утверждении обыденного как высокого и поэтического свойства человека.

93. «Аониды», 1797, кн. 2, с. 35. Печ. по Соч. 1803, т. 1, с. 80. *Лаиса* — греческая гетера V в. до н. э., здесь: нарицательное имя красавицы, продающей любовь за деньги. Карамзину, видимо, было известно переведенное Вольтером с латинского античное стихотворение «Венере от Лаисы» (русский перевод «Вот зеркало мое...» был осуществлен Пушкиным в Лицее), пользовавшееся большой популярностью в XVIII в. и включенное в «Лицей» Лагарпа в качестве литературного образца. *Или, Платонов воскрешая... Закон республикам давай* — см. вступ. статью, с. 9.

94. «Аониды», 1797, кн. 2, с. 43. Вольный перевод начала стихотворения Шиллера «Resignation»: «Auch ich war in Arkadien geboren». *Я жил в Аркадии* — ср. у Батюшкова в стих. «Надпись на гробе пастушки»: «И я, как вы, жила в Аркадии счастливой». *Умру любя* — оборот этот повторялся позже в поэзии Пушкина: «...Но пусть умру любя» («Желание», 1816). Со словами «Умру любя» умирает Земфира в «Цыганах». Интересно, что первоначально было: «Умру, его любя» (Пушкин, Полн. собр. соч., т. 6, 1937, с. 430 и 461). В окончательном тексте Пушкин вложил в уста Земфиры точную цитату из Карамзина.

95. «Аониды», 1797, кн. 2, с. 111. Печ. по Соч. 1803, т. 1, с. 74. *Могу ль сказать прости надежде?* Ср. у Жуковского в «Песне» (1818): «Могу ль сказать *живи* надежде?».

96. «Аониды», 1797, кн, 2, с. 173. Печ. по Соч. 1803, т. 1, с. 1. Вольный перевод из Вольтера «Precis de l'Ecclésiaste». Другой перевод этого же произведения принадлежит М. М. Хераскову: «Почерпнутые мысли из Экклезиаста». Карамзин придавал этому стихотворению большое значение, начиная с него все прижизненные собрания своих стихотворений. *Экклезиаст* — проповедник, этим словом называется одна из книг Ветхого Завета. *Уныние мое казалось непонятно.* Этот стих с незначительным изменением повторил Пушкин в стих. «Странник»: «Уныние мое всем было непонят-

но». *Ничтожество! ты благо нам.* С незначительным изменением процитировано у Лермонтова в юношеском стих. «Монолог»: «...ничтожество есть благо в здешнем мире». *Что нас за гробом ждет, не знает и мудрец... Сей тайны из людей никто не разрешил.* Религиозный скептицизм этих стихов звучал слишком резко, и Карамзин в первой публикации вынужден был сопроводить их смягчающим примечанием: «Но сия тайна разрешена откровением. Соломон, при всей своей мудрости, не был еще просвещен оным. Счастливым уверением, что мы бессмертны и что все добрые будут блаженствовать в вечности, обязаны христианству более, нежели трактатам наших философов» (с. 182). При изменении цензурного режима в начале XIX в. это примечание Карамзин снял.

97. «Аониды», 1797, кн. 2, с. 257, с подписью О. О. и подзаголовком «Перевод с французского», снятым в последующих изданиях. Печ. по сб. «Мои безделки», 1797, кн. 2, с. 235. В. В. Сиповский основательно считал это указание фиктивным, долженствующим скрыть автобиографический смысл стихотворения (см.: Соч. 1917, с. 447). А. И. Лященко указал, что в стихотворении речь идет о разрыве поэта с кн. П. Ю. Гагариной (см.: «Русская поэзия» под ред. С. А. Венгерова, вып. 7, СПб., 1901, с. 113). 4 апреля 1799 г. Карамзин писал Дмитриеву: «Я третьего году писал ... стихи «К верной», давно неверной», и 15 ноября 1800 г.: «С княгинею я почти расстался. Суди теперь, на какую погоду указывает барометр моего сердца!» («Письма Карамзина к Дмитриеву», с. 111 и 119). *Армиды Тассовы.* Армида — волшебница, героиня «Освобожденного Иерусалима» Тассо. *Лаиса* — см. примеч. 93.

98. «Аониды», 1797, кн. 2, с. 269, с подзаголовком «Перевод с французского», снятым в последующих изданиях, и подписью О. О. *«Темно; можно только догадываться»* — сноска, маскирующая автобиографический характер стихотворения.

99. «Аониды», 1797, кн. 2, с. 287. *Долина Иосафатова* — местность в окрестностях Иерусалима, согласно евангельской легенде — место страшного суда. *Петел* — петух. *Хитрый бог* — Амур.

100. «Аониды», 1797, кн. 2, с. 331.

101. «Аониды», 1797, кн. 2, с. 332. *Взгляните на меня: я в двадцать лет старик.* Ср. у Жуковского в «Шильонском узнике»: «Взгляните на меня: я сед; Но не от хилости и лет». *Ир* — нищий в «Одиссее» Гомера.

102. «Мои безделки», 1797, ч. 2, с. 272.

103. «Мои безделки», 1797, ч. 2, с. 274. Печ. по Соч. 1803, т. 1, с. 175.

104. «Аониды», 1797, кн. 2, с. 337. Печ. по Соч. 1820, т. 1, с. 143. *Так Фидий Кодра воскрешает* — см. примеч. 63. *Апелл* —

Апеллес (IV в. до н. э.) — древнегреческий живописец. *Тимотей* (род. в 446 г. до н. э.) — древнегреческий поэт и музыкант. *Ламберт* — Сен Ламбер Жан-Франсуа (1716—1803) — французский поэт. *Томсон* — см. примеч. 4. *Клейст* — см. примеч. 6. *Делиль* Жак. — см. примеч. 25. *Пучину грозного Левкада* и т. д. — см. примеч. 66.

105. «Аониды», 1798—1799, кн. 3, с. 89. Печ. по Соч. 1803, т. 1, с. 204.

106. «Аониды», 1798—1799, кн. 3, с. 97. Печ. по Соч. 1803, т. 1, с. 210.

107. «Аониды», 1798—1799, кн. 3, с. 113.

108. «Аониды», 1798—1799, кн. 3, с. 259.

109. «Аониды», 1796, кн. 1, с. 163. *Бюффон* Луи (1707—1788) — французский естествоиспытатель, автор «Естественной истории». *Агатон* — здесь: А. А. Петров. *Писано было во время войны.* Имеется в виду итальянский поход Бонапарта, отношение Карамзина к которому было отрицательным.

110. «Аониды», 1797, кн. 2, с. 234. Печ. по «Пантеону российских авторов», М., 1801. В собр. соч. не включалось.

111. «Аониды», 1797, кн. 2, с. 103.

112. «Мои безделки», 1797, ч. 2, с. 231.

113. «Аониды», 1797, кн. 2, с. 198. В письме к Дмитриеву от 11 марта 1797 г. Карамзин писал: «Теперь ничего не ищу. Называй же меня суетным! Жизнь кажется мне скучною, бесплодною равниною; там, впереди, что-то возвышается... надгробный камень — и вот эпитафия» (следует текст стихотворения) («Письма Карамзина к Дмитриеву», с. 75).

114. «Мои безделки», 1797, ч. 2, с. 232.

115. «Мои безделки», 1797, ч. 2, с. 276.

116. «Мои безделки», 1797, ч. 2, с. 277.

117. «Мои безделки», 1797, ч. 2, с. 275.

118. «Аониды», 1798—1799, кн. 3, с. 111.

119. «Аониды», 1798—1799, кн. 3, с. 96.

120. «Аониды», 1798—1799, кн. 3, с. 250. Составляющая основу стихотворения тема подвига, героизма характерна для настроений Карамзина в конце 1790-х годов (ср. стих. «Тацит», «Дарования»).

121. «Аониды», 1798—1799, кн. 3, с. 253.

122. «Аониды», 1798—1799, кн. 3, с. 260. *Тацит* Кай Корнелий (55—120) — римский историк, резко осудивший деспотизм, раболепие, падение республиканских доблестей в Риме.

123. «Аониды», 1798—1799, кн. 3, с. 262. *Курций* Квинт (I в. до н. э.) — римский историк, автор «Истории Александра Македонского».

124. «Мои безделки», 1797, ч. 2, с. 232.

125. «Мои безделки», 1797, ч. 2, с. 276.

126. «Мои безделки», 1797, ч. 2, с. 277.

127. «Аониды», 1798—1799, кн. 3, с. 104. Печ. по Соч. 1803, т. 1, с. 216.

128. «Аониды», 1798—1799, кн 3, с. 325. Печ. по Соч. 1814, т. 1, с. 237. *Геснер* — см. примеч. 4. *Где, действуя лишь для себя самих, Невольно действуем для выгоды других.* Представление об обществе как о союзе людей, соединяющем пользу всех и каждого, восходит к социологии французских просветителей XVIII в. *Нума Помпилий* — легендарный царь Рима. *Эпиктет* (60—100) — греческий философ-стоик. *Небесный свод трещит; огромные шары Летят с своих осей; в развалинах миры* — неточная цитата из стих. С. Боброва «Судьба мира»:

Падут миры с осей великих,
Шары со всех стряхнутся мест,
Она [душа. — *Ю. Л.*] между развалин диких
Попрет, дымящись, пепел звезд.

Однако отношение Карамзина к поэзии С. Боброва было отрицательным. В предисловии ко второй книжке альманаха «Аониды» (1797) он писал: «Молодому питомцу муз лучше изображать в стихах первые впечатления любви, дружбы, нежных красот природы, нежели разрушение мира, всеобщий пожар натуры и прочее в сем роде» (с. 3). *Нравственный Апелл* — см. примеч. 104. Мысль о том, что поэт «сердца для глаз изображает», была существенной для эстетики Карамзина. *Зенон* — см. примеч. 70. *Великий Александр* — Александр Македонский (356—323 гг. до н. э.). *См. в Бюффоне чувства первого человека.* Перевод отрывка из «Естественной истории» Бюффона под названием «Идеи первого человека» Карамзин опубликовал в «Пантеоне иностранной словесности» (1798, кн. 2, с. 38). Отрывок излагает сенсуалистическую теорию связи чувств и мыслей с оттенком агностицизма в духе Кондильяка.

129. «Аониды», 1798—1799, кн. 3, с. 113.

130. «Аониды», 1798—1799, кн. 3, с. 112.

131. «Аониды», 1798—1799, кн 3, с. 98. *Марфино* — поместье гр. И. П. Салтыкова, московского главнокомандующего.

132. «Аониды», 1798—1799, кн. 3, с. 102. Печ. по Соч. 1820, с. 173.

133. «Аониды», 1798—1799, кн. 3, с. 258.

134. «Аониды», 1798—1799, кн. 3, с. 258.

135. «Аониды», 1798—1799, кн. 3, с. 259.

136. «Аониды», 1798—1799, кн. 3, с. 251.

137. «Аониды», 1798—1799, кн. 3, с. 260.

138. «Письма Карамзина к Дмитриеву», с. 108. Печ. по Соч. 1917, с. 249. В собр. соч. не включалось. *Нострадамус* (1503—1566) — знаменитый в средние века французский астролог. *Траянов обелиск* — памятник императору Траяну в Риме. Возможно, внимание к нему Карамзина было привлечено в связи со стремлением истолковать «тропу Троянью» «Слова о полку Игореве», с текстом которого Карамзин познакомился в это время. *Шандалы* — подсвечники. *Пиндар* (V—IV в. до н. э.) — греческий поэт-лирик, воспринимался как родоначальник высокой одической поэзии, отношение к возможностям которой в условиях конца XVIII в. было в кружке Карамзина ироническое (ср. сатиру И. И. Дмитриева «Чужой толк»).

139. «Вестник Европы», 1803, ч. 12, с. 246. Печ. по Соч. 1820, с. 186. Сочинено для домашнего спектакля в поместье гр. Салтыкова «Марфине» (см. примеч. 127). Ф. Ф. Вигель писал об этом спектакле: «Всего примечательнее была пьеса, интермедия, пролог или маленький русский водевиль под названием «Только для Марфина», сочинение Карамзина. Содержание, сколько могу припомнить, довольно обыкновенное: деревенская любовь, соперничество, злые люди, которые препятствуют союзу любовников, и нетерпеливо ожидаемый приезд из армии доброго господина, графа Петра Семеновича, который их соединяет, потом великая радость, песни и куплеты оканчивают пьесу... Сам Карамзин приехал накануне представления, учил нас и даже сам играл с нами графа Петра Семеновича Салтыкова...» (Ф. Ф. Вигель, Воспоминания, т. 1, СПб., 1866, с. 194—195).

140. «Письма Карамзина к Дмитриеву», с. 117, в письме от 20 мая 1800 г. В собр. соч. не включалось.

141. «Вестник Европы», 1802, № 1, с. 53. Отрывок — в письме к Дмитриеву от 3 декабря 1800 г. («Письма Карамзина к Дмитриеву», с. 120). Вольный перевод из поэмы Делиля «Воображение» («L'Imagination»).

142. Отд. изд., М., 1801. В связи с этим стихотворением можно поставить вопрос о влиянии идей кружка Д. И. Фонвизина — Н. И. Панина конца XVIII в. на политическую концепцию Карамзина этих лет. *И с первым словом обещаешь Екатеринин век златой.* Намек на слова «Манифеста» Александра I, 12 (24) марта 1801 г., обещавшего «управлять богом нам врученный народ по законам и по сердцу в бозе почивающей августейшей бабки нашей государыни императрицы Екатерины Великия». *Когда монаршими устами Вещала милость к нам одна.* Идеализация царствования Екатерины II получает здесь характер условной формы для выражения политических идеалов Карамзина (ср. стих. «К Милости»). *Румянцев* — см. примеч. 36. *Монарх! довольно лавров славы.* Стихи выражают устойчиво отрицательное отношение Карамзина к войнам в Европе. *Возьми не меч — весы Фемиды... Да царствуют благие нравы!.. Есть род людей, царю опасный...* Осуждение придворного разврата, фаворитизма, требование ясного и твердого законодательства близки идеям известного программного документа Д. И. Фонвизина — «Рассуждения о непременных государственных законах». *Долгорукий* Я. Ф. (1678—1742), князь, один из деятелей Петровской эпохи. С 1717 г. — председатель ревизион-коллегии. Прославился смелыми спорами с Петром I.

143. Отд. изд., М., 1801, Соч. 1803, т. 1. Печ. по Соч. 1814, т. 1, с. 267. *Сколь трудно править самовластно И небу лишь отчет давать.* Деспотизм Павла I, видимо, укрепил Карамзина в его конституционных симпатиях (см. примеч. 91), однако к реальным шагам правительства Александра I в этом направлении он, в дальнейшем, отнесся резко отрицательно. Смысл позиции Карамзина раскрывается стихами: *Он может всё, но свято чтит Его ж премудрости законы,* которые выражают отношение Карамзина этих лет к идее законодательства, регламентирующего государственную жизнь и действия правительства, но источником своим имеющего волю монарха. Таким образом, власть царя не безгранична, но ее ограничивают не парламент и народные представители, а твердые законы и просвещение, добрые нравы и обычаи. *Сколь необузданность ужасна... Но равенство одна мечта.* Осуждение деспотизма сочеталось у Карамзина с осуждением и революционных лозунгов эгалитаризма. Считая, что идеал равенства людей представляет мечту, прекрасную в теории, но невозможную и гибельную на практике, Карамзин в эти годы противопоставляет ей «трезвую» политику, соединяющую сильную власть с твердыми законами и просвещением. Ту же самую программу, которую он в этих стихах предлагал Александру I, Карамзин надеялся найти в деятельности первого консула Бонапарта: «Он, конечно, заслужит признательность французов, если, разрушив мечту равенства, которая всех их делала равно несчастными... даст республике мудрую систему гражданских законов, будет искренним покровителем наук, художеств, торговли» («Вестник Европы», 1802, № 1, с. 68). *Антонин* (Тит Аврелий Фульвий, 86—161) — римский император. *У вас на троне — человек!* Перефразировка стиха Державина «Будь на троне человек» («На рождение в Севере порфирородного отрока»). *Я в храм Истории иду.* Интерес

Карамзина к изучению русской истории датируется концом 1790-х годов.

144. Отд. изд. в 1801 г. Перевод с немецкого оратории Гайдна. Карамзин, видимо, пользовался изданием «Die Schoepfung», Vienna, 1800. В основу оратории Гайдна лег текст Мильтона, переработанный композитором. В. П. Семенников сопоставил «Творение» Карамзина и «песнословие» Радищева «Творение мира» (см.: В. П. Семенников, Радищев, очерки и исследования, М. — Пг., 1923, с. 452). Между этими произведениями действительно есть тематическое родство, определенное общим источником — Библией. Однако бесспорно, что они возникли независимо друг от друга, поскольку никакой сюжетной связи между текстом Радищева, с одной стороны, и ораторией Гайдна (равно как и переводом Карамзина), с другой, установить невозможно.

145. «Вестник Европы», 1802, № 8, с. 366, с подписью Ж.

146. «Вестник Европы», 1802, № 19, с. 186. Печ. по Соч. 1814, т. 1, с. 296. Написано на смерть первой жены, Елизаветы Ивановны Карамзиной.

147. «Вестник Европы», 1802, № 5, с. 59. Печ. по Соч. 1803, т. 1, с. 277. Стихотворение очень характерно для политических настроений Карамзина 1802 г. Надежды на Александра I в это время сменились резко критической оценкой деятельности «Негласного комитета» и либеральных проектов молодого императора и его друзей. О критике правительственного курса в «Вестнике Европы» см.: Ю. Лотман, Эволюция мировоззрения Карамзина (1789—1803). — «Ученые записки Тартуского государственного университета», вып. 51, 1957. *Гераклит* (VI в. до н. э.), *Демокрит* (IV—III в. до н. э.) — греческие философы. Антитеза «Гераклит — Демокрит» имеет в виду утвердившиеся за этими философами прозвища: «Гераклит плачущий» и «Демокрит смеющийся».

148. «Вестник Европы», 1802, № 3, с. 61, с маскирующим сопроводительным письмом: «Издатель «Вестника» одолжит меня, напечатав стихи мужа моего. Они для меня хороши; а может быть, понравятся и другим женщинам, которые счастливы любовью мужей своих. — Эмилия». Стихотворение посвящено первой жене поэта Елизавете Ивановне Карамзиной, которая скончалась при родах в 1802 г.

149. «Вестник Европы», 1802, № 23, с. 206, с подписью О. О. *Остаток радостей земных* и т. д. Стихи обращены к новорожденной дочери Софии, появление которой на свет было причиной смерти первой жены Карамзина. В письме к В. фон Вольцогену 28 октября 1802 г. Карамзин писал: «Я жил ею более, чем собой самим. Я ничего не просил более у неба, и оно отняло у меня все. Вот уже шесть месяцев, как я оплакиваю смерть самой нежной и лучшей супруги у колыбели нашей малютки, еще содрогаясь за жизнь этой драгоценной сироты, которая столь похожа на свою мать и которая, без сомнения, переняла ее ангельский нрав...»

в кн.: Literarischer Nachlaß der Frau Caroline von Wolzogen, II B., zweite Auflage, Leipzig, 1867, S, 425—426). Печ. по Соч. 1803, с. 296.

150. «Вестник Европы», 1803, № 4, с. 275, с подписью П. Г. Имеются в виду противники Карамзина из лагеря Шишкова, вероятно в первую очередь П. И. Голенищев-Кутузов, попечитель Московского университета, махровый реакционер, автор ряда доносов на Карамзина.

151. «Вестник Европы», 1803, № 11, с. 210. *Пельский* П. А. (ум. 10 мая 1803) — переводчик радикального романа «Кум Матвей», литератор, автор сборника «Мое кое-что, или Собрание мелких сочинений и переводов в стихах и прозе» (1803). За день до смерти Пельский посетил Карамзина в деревне Свирлове.

152. Соч. 1814, т. 1, с. 306. Написано перед началом кампании 1807 г. (после неудачной битвы при Аустерлице 2 декабря 1805 г.) и отразило патриотический подъем этих дней. Ср. стих. Державина «Евгению. Жизнь Званская», написанное в марте 1807 г.

И сельски ратники как, царства став щитом,
Бегут с стремленьем в строй во рыцарском убранстве,
«За веру, за царя мы, — говорят, — помрем,
Чем у французов быть в подданстве».

Стихотворение Карамзина пользовалось популярностью: А. Кучеров указал, что «в тетради литературных выписок декабриста А. А. Бестужева имеется следующий отрывок из данного стихотворения:

Нет, нет! у нас святое знамя,
В руках железо, в сердце пламя:
Еще судьба не решена!»

(Н. Карамзин, И. Дмитриев, Избранные стихотворения, Л., «Б-ка поэта», Большая серия, 1953, с. 479).

153. Отд. изд., СПб., 1814, с посвящением «добрым москвитянам». Печ. по Соч. 1820, т. 1, с. 241. В либеральных кругах ода была оценена положительно. П. А. Вяземский находил, что стихи ее «сильны», «богаты и мыслью и выражением». «У вас в Петербурге и понятия не имеют о таких стихах» («Остафьевский архив», т. 1, СПб., 1899, с. 22, 24). Благожелательно отнеслись к стихам в кругах «Арзамаса». Но декабрист Н. Тургенев оценил их иначе: «Стихи Карамзина меня огорчили: «Паду, лью слезы и молюсь». Я ожидал совсем противного». «Какой вздор эти стихи Карамзина! Следующие два стиха:

В правленьях новое опасно,
А безначалие ужасно —

мог бы только Хвостов написать. Впрочем, «Паду, лью» — не в том смысле, в каком ты писал» («Декабрист Н. И. Тургенев. Письма к брату С. И. Тургеневу», М.—Л., 1936, с. 166). *Саллу-*

стий (86—35 гг. до н. э.) — римский историк. *Сражен, сражен Наполеон.* Речь идет об отречении от престола Наполеона в 1814 г. *Из рук отчаянной Свободы.* Подразумевается французская революция. По мнению Карамзина, Наполеон, справедливо противодействуя революции, не имел права становиться самодержавным деспотом. Здесь и далее развивается идея взаимных обязанностей царей и народов. *Аттилы, Чингисханы* и далее — перечисляются вожди варваров-завоевателей. *В венцах главы рабов сияли.* Наполеон сажал своих братьев и приближенных на престолы новообразованных королевств.

154. «Памятники отечественных муз», СПб., 1827, с. 3. *Дмитриев* И. И. — см. вступ. статью, с. 7.

155. Соч. 1820, т. 1, с. 93. *Елисавета Алексеевна* (1779—1826) — русская императрица, жена Александра I. Имя Елизаветы Алексеевны связывалось в эту эпоху с умеренной либеральной оппозицией официальному курсу. А. Н. Шебунин писал: «Культ Елизаветы Алексеевны был вообще распространен в среде близких к Пушкину и Глинке литераторов. Подкупали ее интерес к русской литературе и внимание к русским поэтам. Ее считали именно светлым исключением в царской семье» (А. Н. Шебунин, Пушкин и «Общество Елизаветы». Временник Пушкинской комиссии, М.—Л., 1936, с. 65). В 1819 г. ей посвятил свободолюбивое стихотворение А. С. Пушкин «Ответ на вызов написать стихи в честь императрицы Елизаветы Алексеевны» («На лире скромной, благородной...»), Ф. Н. Глинка — «К бюсту венценосной благотворительницы бедных сирот и несчастных». П. А. Вяземский хотел, чтобы А. Тургенев показал императрице его «Негодование», называя ее «Le seul homme de la famille» (единственный человек в семье). — «Остафьевский архив», т. 2, СПб., 1899, с. 130, 143.

156. «Листки Граций», М., 1829, с. 17. Обычная датировка, основанная на том, что Карамзин включил стихотворение в письмо к Дмитриеву от 2 января 1822 г., ошибочна. В Архиве ИРЛИ АН СССР (Пушкинском Доме) хранится автограф стихотворения, помеченный «10 октября 1820». На том же листке помета: «Эта мысль удостоилась Вашего внимания: я выразил ее в двух следующих стихах». В 1823 г. Карамзин вписал это стихотворение в альбом известной пианистки Марии Шимановской (хранится в ЦГАЛИ). В собр. соч. не включалось.

157. «Неизданные сочинения и переписка Н. М. Карамзина», ч. 1, СПб., 1862, с. 187. Обращение к императрице Елизавете Алексеевне. Автограф — ЦГАЛИ.

158. Соч. 1820, т. 1, с. 63. Автограф — ЦГАЛИ.

159. «Неизданные сочинения и переписка Н. М. Карамзина», ч. 1, СПб., 1862, с. 188. Автограф — ЦГАЛИ.

160. Там же, с. 196.

I

161. «Детское чтение», 1789, ч. 18, с. 65. Перевод из немецкого детского журнала X.-Ф. Вейсе «Kinderfreund». В собр. соч. не включалось.

II

Приписываемое Н. М. Карамзину

Н. М. Карамзин широко печатал в 1780—1790 годы свои стихотворения под псевдонимами (перечень псевдонимов см.: С. Пономарев, Материалы к библиографии литературы о Н. М. Карамзине — приложение к XLV т. записок Академии наук, № 4, СПб., 1883, с. 51—53). Многие из них он не включал потом в собрания сочинений, некоторые — сознательно, некоторые, видимо, потому, что после гибели своего архива в огне московского пожара 1812 г. сам не имел точного списка своих произведений (об этом свидетельствует то, как часто Карамзин путал в Соч. 1820 г. даты своих стихотворений). Впервые вопрос об авторстве ряда приписываемых Карамзину произведений поставил В. В. Сиповский в кн.: «Карамзин, автор „Писем русского путешественника“», СПб., 1899. А. И. Лященко в примечаниях к «Русской поэзии» под ред. С. А. Венгерова (выпуск седьмой) признал ряд атрибуций В. В. Сиповского бесспорными и перенес несколько стихотворений в основной текст. Принадлежность этих стихотворений подтверждается столь широким кругом данных, что в дальнейшем они неизменно включались в основной корпус произведений Карамзина. В разделе «Стихотворения, приписываемые Карамзину» в Соч. 1917 г. остались семь стихотворений: «Вздох», «Гроза», «На смерть девицы **», «Всеобщая молитва», «Лавиния», «К текущему столетию», «Сильфида». В. В. Виноградов установил принадлежность стих. «К текущему столетию» И. И. Дмитриеву («Материалы и исследования по истории русского литературного языка», М.—Л., 1949, с. 190—192). Вероятность авторства Карамзина для остальных стихотворений этого раздела очень велика: стихотворения «Вздох», «Гроза», «На смерть девицы **», «Всеобщая молитва», «Лавиния» опубликованы почти одно за другим в 18-й и 19-й частях «Детского чтения» (1789). Они перемежаются с бесспорно карамзинскими стихотворениями, которые также были опубликованы без подписи. О сотрудничестве в этом журнале поэтов, кроме Карамзина, сведений не имеется. К этому следует добавить, что стилистика, тематика и ритмика объединяют эти стихотворения с остальной поэзией Карамзина тех лет.

162. «Детское чтение», 1789, ч. 18, с. 80.

163. «Детское чтение», 1789, ч. 18, с. 96.

164. «Детское чтение», 1789, ч. 18, с. 108.

165. «Детское чтение», 1789, ч. 18, с. 141. *Поп* (1688—1744) — английский поэт. *Иегова* — одно из священных имен бога в Ветхом Завете.

166. «Детское чтение», 1789, с. 19, с. 138.

167. «Письма Карамзина к Дмитриеву», с. 45. Обращение Дмитриева к Карамзину с просьбой прислать ему «Сильфиду» можно рассматривать как косвенное свидетельство авторства Карамзина.

СОСТАВ ОСНОВНЫХ ПРИЖИЗНЕННЫХ СБОРНИКОВ СТИХОТВОРЕНИЙ Н. М. КАРАМЗИНА

«МОИ БЕЗДЕЛКИ», М., 1794, Ч. 2.

Волга. К соловью. К Милости. Могила. К богине здравия. К прекрасной. Раиса. Эпитафии. Молитва о дожде. Веселый час. Военная песнь. Песнь мира. Осень. Песнь божеству. Послание к Д ***. К Д *. Филлиде. На разлуку с Б **. Выздоровление. Прости. Надгробная надпись Боннету. Любезной. Странность любви. Весеннее чувство. К отечеству. Песнь Вакху. Песнь Сафина. Смерть Орфеева.

«МОИ БЕЗДЕЛКИ», М., 1797, Ч. 2

Опытная Соломонова мудрость, или Мысли, выбранные из Экклезиаста. Волга. К Милости. Могила. К богине здравия. К Прекрасной. Раиса, древняя баллада. Эпитафии. Молитва о дожде. Веселый час. Военная песнь. Песнь мира. Осень. Песнь божеству. Послание к Д ***. К Д *. К соловью. Филлиде. На разлуку с П **. Прости. Надгробная надпись Боннету. Любезной в день ее рождения. Странность любви, или Бессонница. Весеннее чувство. Надежда. На смерть кн. Г. А. Хованского. К отечеству, из «Афинского ужина». Песнь Вакху, из «Афинского ужина». Песнь Сафина, из «Афинского ужина». Смерть Орфеева, из «Афинского ужина». К бедному поэту. Отставка. Послание к А. А. П. Ответ моему приятелю, который хотел, чтобы я написал похвальную оду великой Екатерине. К ней. Две песни. Соловей, галки и вороны. Прощание. К самому себе. Песня. Время. К Мелодору, в ответ на его «Песнь любви». Хлоя. Лилея. Гектор и Андромаха, перевод из шестой книги Илиады. Соловей. Послание к женщинам. Граф Гваринос, древняя гишпанская историческая песня. Последнее слово умирающего. Любовь и дружба. Печаль и радость. Страсти и бесстрастие. Спорщик. Любовь к врагам. К неверной. К верной. Долина Иосафатова, или Долина спокойствия. На случай присяги московских жителей его императорскому величеству Павлу Первому.[1] Эпитафия. Стихи на день рождения А. А. П—ой. Ответ на стихи одной девицы. Impromptu графине Р ***. Триолет

---

[1] В 1801 г. было выпущено с титульным листом 2-го третье издание «Моих безделок», в котором это стихотворение было снято.

Лизете. Impromptu двум молодым дамам. Делиины слова. Надпись к дамской табакерке. Нестройное эхо. Надпись к портрету жестокой. К лесочку Полины. Дарования.

СТИХОТВОРЕНИЯ КАРАМЗИНА, ВКЛЮЧЕННЫЕ ИМ В АЛЬМ. «АОНИДЫ», М., 1796, КН. 1

1. Послание к А. А. П. Ответ моему приятелю. К ней. Две песни. Соловей, галки и вороны. Прощание. К самому себе. Песня. Время. К Мелодору. Хлоя. Лилея. Гектор и Андромаха. Соловей. Стихи на день рождения А. А. П. Послание к женщинам. Прибавление к последней строфе («На первый случай всем доволен Купидон. . .»).

«АОНИДЫ», М., 1797, КН. 2

К бедному поэту. Отставка. Эпитафия. Надежда. На смерть кн. Г. А. Хованского. Последние слова умирающего. К портрету Ломоносова. К неверной. К верной. Долина Иосафатова. Спорщик. Любовь к врагам. Дарования.

«АОНИДЫ», М., 1798—1799, КН. 3

К Алине, на смерть ее супруга. К Лиле. Выбор жениха. Разлука. Клятва и преступление. Хор и куплеты. Куплеты. Надпись на статую Купидона. Размышление. Экспромты. Эхо. Два сравнения. Дурной вкус. Вопросы и ответы. Характер Нисы. Покой и слава. Исправление. Непостоянство. Эпиграмма. Истина. Мыслят и не мыслят. Надгробие шарлатана. Перемена цвета. Желание. Тацит. К Шекспирову подражателю. Протей, или Несогласия стихотворца.

СОЧИНЕНИЯ КАРАМЗИНА, Т. 1, М., 1820 [1]

Опытная Соломонова мудрость, или Мысли, выбранные из Экклезиаста. Волга. К Милости. Кладбище. К богине здравия. К Прекрасной. Раиса, древняя баллада. Эпитафия. Молитва о дожде. Веселый час. Военная песнь. Песнь мира. Осень. Песнь божеству. Послание к Дмитриеву. К Д*. К соловью. Филлиде. На разлуку с П**. Прости. Надгробная надпись Боннету. Любезной, в день ее рождения. Странность любви, или Бессонница. Весеннее чувство. Надежда. На смерть кн. Г. А. Хованского. К бедному поэту. Отставка. Послание к Александру Алексеевичу Плещееву. Ответ моему приятелю, который хотел, чтобы я написал похвальную оду великой Екатерине. К ней. Две песни. Приписание к г-же N, которая хотела, чтобы я списал для нее сии две песни. Соловей, галки и вороны. Прощание. К самому себе. Песня. Время. *К портрету ее императорского величества государыни императрицы Елисаветы Алексеевны. *Государыне императрице Ма-

[1] Стихотворения, обозначенные звездочкой, отсутствовали в издании 1803 г.

рии Феодоровне в день ее рождения. К Мелодору, в ответ на его «Песнь любви». Хлоя. Лилея. Гектор и Андромаха. Послание к женщинам. Граф Гваринос, древняя гишпанская историческая песня. Последние слова умирающего. Любовь и дружба. Печаль и радость. Страсти и бесстрастие. Спорщик. Любовь к врагам. К неверной. К верной. Долина Иосафатова, или Долина спокойствия. Эпитафия. Стихи на день рождения А. А. П—ой. Триолет Алете в тот день, как ей исполнилось 14 лет. Триолет Лизете. Ответ на стихи одной девицы. Стихи графине Р. Двум молодым дамам. Делиины слова. Надпись к дамской табакерке. Нескромное эхо. Надпись к портрету жестокой. К лесочку Полины. Дарования. К Алине, на смерть ее супруга. К Лиле. Выбор жениха. Разлука. Клятва и преступление. Хор и куплеты, петые в Марфинской роще. Куплеты в честь нежной матери. Надпись на статую Купидона. Два сравнения. Дурной вкус. Вопросы и ответы. Характер Нисы. Покой и слава. Исправление. Непостоянство. Эпиграмма. Истина. Мыслят и не мыслят. Надгробие шарлатана. Перемена цвета. Желание. Тацит. К Шекспирову подражателю. Куплеты из одной сельской комедии. Протей, или Несогласия стихотворца. Его императорскому величеству Александру I, самодержцу всероссийскому на восшествие его на престол. На торжественное коронование его императорского величества Александра I, самодержца всероссийского. Меланхолия, подражание Делилю. Гимн глупцам. Филины и соловей, или Просвещение. Стихи на слова, заданные Хлоею: лист, картина, дверь. К Эмилии. Берег. К добродетели. Стихи на скоропостижную смерть Петра Афанасьевича Пельского. *Песнь воинов. *Освобождение Европы и слава Александра I.

СЛОВАРЬ МИФОЛОГИЧЕСКИХ ИМЕН

Амфион (греч.) — сын Зевса и Антиопы. Легендарный музыкант; во время строительства Фив очарованные его игрой на арфе камни сами сложились в городскую стену.

Аониды (греч.) — музы, названные по месту их почитания — Аонии Беотийской.

Аполлон (греч.) — бог солнца и искусства.

Аркадия — область в Пелопоннесе. В истории Древней Греции известна как область пастушеского земледелия с архаическими политическими порядками. В литературе XVIII в. — идеальное место жизни счастливых пастухов и пастушек.

Астрея (греч.) — дочь Зевса и Фемиды, богиня справедливости. В «Золотом веке», согласно «Метаморфозам» Овидия, обитала на земле. *Астреин век* — в переносном смысле: счастливая пора.

Ганимед (греч.) — юноша, которого Зевс, прельстившись его красотой, похитил живым на Олимп и сделал виночерпием богов.

Гиганты (греч.) — сыновья богини земли Геи, восстали против богов и были повержены Зевсом.

Гименей (греч.) — божество брака, обожествленный брачный гимн.
Грации (римск.) — три сестры-богини: радости, юности и красоты (Аглая, Талия и Евфрозина).

Данаиды (греч.) — 50 дочерей царя Даная. По приказу отца 49 из них убили своих мужей, за что были осуждены в царстве теней наполнять водой бездонную бочку.

Елена Прекрасная (греч.) — легендарная царица Спарты, жена Менелая, похищение ее Парисом вызвало Троянскую войну.

Ида — название священных для древних греков гор в Малой Азии (Троада) и на Крите.
Иксион (греч.) — царь лапифов, супруг Деи, преследовал своей любовью супругу Зевса Геру, вместо которой Зевс подослал ему облако, принявшее вид Геры.

Каллиопа — см. «музы».
Корифей — запевала в хоре греческой трагедии.
Крон (Кронос) (греч.) — бог времени, отец Зевса.

Леда (греч.) — мать Елены Прекрасной и Полидевка. Зевс, приняв вид лебедя, соединился с ней. Родившиеся от этого брака дети, согласно легенде, вылупились из яиц.

Минос (греч.) — мифический царь Крита, после смерти — судья в царстве теней.
Музы (греч.) — девять сестер-богинь, покровительниц искусств: Каллиопа, Клио, Евтерпа, Талия, Мельпомена, Терпсихора, Эрато, Полигимния, Урания.

Нарцисс (греч.) — юноша, влюбившийся в свою красоту и превращенный богами в цветок.
Нимфы (греч., римск.) — женские божества, духи источников и лесов.

Ореады (греч.) — нимфы гор.
Орфей (греч.) — легендарный певец и музыкант, сын музы Каллиопы.

Пан (греч.) — бог, покровитель стад.
Пинд (греч.) — горная цепь в Греции, одна из ее вершин, гора Парнас, где, согласно мифу, обитали Аполлон и музы.
Плутон (греч., римск.) — бог подземного мира.
Поллукс — латинское имя Полидевка, см. Леда.
Прогнеина сестра — см. Филомела.
Протей (греч.) — морское божество, мудрый старец, наделенный беспредельной способностью превращений.

Сатурн (римск.) — бог земли, отец богов, покровитель Рима.
Сатурнов век — Золотой век.

Сирены (греч.) — волшебные девы, обитающие на одном из островов Средиземного моря и завлекающие своим пением моряков к гибельным прибрежным скалам.

Терпсихора — см. «музы».
Тифон (греч.) — гигант, отец истребленных Гераклом чудовищ.

Фавны (фауны) (римск.) — лесные божества, соответствуют греческим сатирам.
Фемида (греч.) — богиня правосудия.
Филомела (греч.) — греческая царевна, превращена богами в соловья. В поэтическом языке — соловей.
Фурия — см. Эвмениды.

Церера (римск.) — богиня земли, урожая, плодородия.
Циклопы (греч.) — одноглазые гиганты, обитающие на островах Средиземного моря.
Цирцея (греч.) — богиня-искусительница с острова Эя. С ней связан ряд мифов о волшебнице или богине, домогающейся любви путешественников и богов. Наиболее известен эпизод, связанный с пребыванием на острове Одиссея.

Эвмениды (греч.) — богини-мстительницы, преследующие преступников.
Эвридика (греч.) — невеста Орфея; чтобы вернуть Эвридику к жизни, Орфей спускался в царство теней Тартар.
Эндимион — юноша, возлюбленный Дианы.
Эрев (греч.) — область в царстве теней.

Юнона (римск.) — богиня-мать, верховное божество, супруга отца богов Юпитера.
Юпитер (римск.) — бог-отец, владыка неба, соответствует древнегреческому Зевсу.

Япет (греч.) — отец Прометея.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

ОГЛАВЛЕНИЕ

СТИХОТВОРЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

I

II

ПРИПИСЫВАЕМОЕ Н. М. КАРАМЗИНУ

Карамзин Николай Михайлович

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СТИХОТВОРЕНИЙ

Л. О. изд-ва «Советский писатель», 1966, 424 стр. Тем. план вып. 1966 г., № 411

Редактор *Л. А. Николаева*

Художник *И. С. Серов.* Худож. редактор *А. Ф. Третьякова*
Техн. редактор *В. Г. Комм.* Корректор *З. Н. Петрова*

Сдано в набор 28/II 1966 г. Подписано в печать 24/V 1966 г. М 34453. Бумага $84 \times 108^{1}/_{32}$, № 1. Печ. л. $13^{1}/_{4}$ + 5 вкл. (22,78). Уч.-изд. л. 21,4. Тираж 20 000 экз. Зак. № 433. Цена 85 к.

Издательство «Советский писатель», Ленинградское отделение, Ленинград, Невский пр., 28

Ленинградская типография № 5 Главполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров СССР. Красная ул., 1/3